



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРМАНИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

HEINRICH HEINE

1797 — 1856

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
== А. БЛОКА. ==



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

ТОМ ПЯТЫЙ

ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ

ЧАСТИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ

П Е Р Е В О Д
В. ЗОРГЕНФРЕЯ.

26
М Е М У А Р Ы

П Е Р Е В О Д
П. И. ВЕЙНБЕРГА

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С
ПРЕДИСЛОВИЕМ
А. Б Л О К А.



П Е Т Е Р Б У Р Г М С М Х Х

ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ

REISEBILDER

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Заглавие „Путевые картины“ не вполне отвечает смыслу и содержанию „Reisebilder“. Гейне имел в виду не столько картины, открывавшиеся перед глазами путешественника, сколько образы, мелькающие в его сознании.

Однако, русскому переводчику приходится следовать прочно установившейся традиции не потому, чтобы ее нельзя было нарушить, но потому, что в русском языке нет короткого слова, передающего смысл немецкого „Bild“; такого слова нет и во французском языке, почему Гейне, в предисловии к французскому переводу, и просил сохранить заглавие „Reisebilder“; в подзаголовке оно передано также, как передаем его мы, — „Tableaux de voyage“.

Чем объединены эти образы, мелькающие в сознании поэта на родине, в Италии и в Англии? Только идеей свободы, стремлением к духовному, политическому и социальному освобождению. Гейне, полный освободительных идей в духе французской революции, настойчиво обсуждает здесь общественные и религиозные вопросы современности; подобно старо-немецким космополитам, он имеет в виду не нации, а, прежде всего, партии Европы; как еврей и уроженец прирейнских провинций, он особенно ненавидит бюрократию и милитаризм прусской государственности. В „Путевых картинах“ немецкая литература соприкоснулась с вопросами политики более, чем соприкасалась до Гейне.

В произведении, полном в остальных частях этнографического, личного и новеллистического содержания, напрасно было бы искать отчетливой архитектоники. Здесь беззаконие возведено в закон, и задор, не оставлявший поэта до смерти, не сдерживается ни годами, ни опытом.

Постоянные отступления, одушевление природы, рефлексия, немалая эрудиция, романтическая приподнятость и ненависть к

филистерству и совершенно неромантическая ирония, гейневская ирония во всем ее блеске *); капризнейший стиль—непрерывно развивающаяся цепь образов, один образ вызывает другой, они сплетаются и не знаешь, победит ли который-нибудь из них или оба будут изгнаны третьим, совершенно новым, который кажется сначала ничем не связанным с ними, но потом оказывается связанным неожиданно и тесно; периоды бесконечно длинные, закругленные, иронически-вычурные, которые русскому переводчику приходится порою делить, потому что они слишком несвойственны нашему языку; вслед за ними—короткие фразы, иногда даже без глаголов; большая меткость и образность определений, внезапно сменяющаяся какой-то вялостью, образами (правда, редко) неудачными и натянутыми,—вот отличительные черты стиля „Путевых картин“.

Наиболее сильное литературное влияние, какое испытал автор „Путевых картин“,—это влияние английского сентиментального писателя Лоренса Стерна **), которое отразилось на всем немецком периоде жизни поэта и отчасти захватило французский. Мы скажем о нем здесь, чтобы более к нему не возвращаться.

Гейне стал читать Стерна в оригинале в 1823 году; он ознакомился с ним также через Филдинга и Смоллетта; кроме того, Стерн, переведенный у немцев впервые в 60-х годах XVIII столетия, издавна влиял на немецкую литературу; под влиянием „Сентиментального путешествия“ и „Тристрама Шенди“ находились Якоби, Коцебу, Гешен, Гейнзе, Лессинг, Виланд, Гердер, Жан-Поль, Иммерман, даже Гете, а через них и Гейне.

Первое влияние сказалось в „Путешествии в Гарц“: подробные рассуждения о малозначущих предметах, высмеивание научного скептицизма, непринужденный тон по отношению к путевым знакомым, точные описания еды, болтовня о хозяине гостиницы. Зато совершенно несвойственны Стерну описания красот природы или горных работ, которые встречаются в „Путешествии“ Гейне. В „Идеях“—Гейне, подобно Стерну, заканчивает главу и начинает другую одной и той же фразой; как и у Гейне, у Стерна встречаются обращения „Madame“ в начале главы, целые строки многоточий и насмешки над учеными цита-

*) Об иронии Гейне и романтиков—подробнее в VII томе.

**) Этому влиянию посвящена книга: Stefan Vacano. „Heine und Sterne“ Berlin, 1907.

тами. В итальянских частях „Путевых картин“ Гейне осмеивает Шеллинга и Гегеля, как Стерн—Локка; также, как Стерн, обсуждает Гейне религиозный вопрос, сравнивая католиков с протестантами; оба одинаково относятся к знаменитым актерам своего времени; оба любят поболтать о Дон-Кихоте, видя в Сервантесе родственного мастера сатирического романа.

В остальных произведениях техническое влияние Стерна на Гейне ослабевает, остается влияние идей. В „Записках Шнабелевского“ есть еще деление на короткие главы и форма путевых записок. Во „Флорентийских ночах“ синьора Мария похожа на Марию из „Тристрама Шенди“. Следы влияния Стерна есть и в лирике.

Русская цензура сильно искажила „Путевые картины“. Вот характерные примеры: из „Путешествия в Гарц“ выбрасывался целый эпизод с юношами из Раушенвассера, казавшийся, по видимому, непристойным; по вероисповедным соображениям выбрасывались отдельные фразы и выражения, например, о согласии таблицы умножения со Священным Писанием („Гарц“), об изобретении христианства евреями („Идеи“); Бог назывался или „Юпитером“ или „языческим богом“; „подвиги Спасителя мира“ заменялись „подвигами великого человека“ („Идеи“). Политические причины заставили выкинуть из „Идей“ целый длинный период, где говорится, между прочим: „В учебниках мы читаем только: „Его Величество король и превысокая его супруга были обезглавлены“, но когда слышишь, как барабанят красный марш гильотины, особенно ясно понимаешь все это и узнаешь, почему и как“. Все эти меры, как всякая цензура, вели, разумеется, к тому, что Гейне казался гораздо страшнее, чем был на самом деле; он превращался в умах русских интеллигентов в легендарного революционера в то время, как умы одинокие и скептические думали с горечью о том, что „учено-революционная вспышка в Германии так быстро потухла в 1848 году“ потому, что и она „принадлежала литературе и исчезла, как ракета“ (Герцен, „Былое и Думы“, часть V; „Без связи“, Zu deutsch).

Французское издание „Путевых картин“ было снабжено следующим предисловием автора:

„Вопрос о том, как переводить немецких писателей на французский язык, всегда будет представлять трудности для разрешения. Следует ли опускать те или другие мысли и картины,

если они не отвечают цивилизованному вкусу французов и могут показаться им неприятным или даже смешным преувеличением, и следует ли, вообще, вводить в парижский высший свет дикое наречие со всею его зарейнской оригинальностью, фантастически расцвеченною германизмами и перегруженною слишком романтическими прикрасами? Что касается меня, я не думаю, чтобы следовало передавать дикий немецкий язык ручною французскою речью, и предстаю здесь во всем моем прирожденном варварстве, по примеру Шаррюаса, которому вы прошлым летом оказали такой благожелательный прием. И сам я тоже воин, на подобие великого Такуабе. Ныне он мертв, и его брэнная оболочка тщательно сохраняется в Ботаническом Саду, в зоологическом музее, в этом Пантеоне животного царства.

Книга эта—выставка. Входите, не бойтесь. Я не так зол, как кажусь. Я разрисовал себе лицо такими свирепыми красками лишь затем, чтобы вернее запугать своих врагов в бою. По существу, я кроток, как ягненок. Успокойтесь же и дайте мне руку. И оружие мое можете потрогать—колчан и стрелы; я притупил их острия—так привыкли поступать мы, дикари, когда приближаемся к священному месту. Говоря между нами, эти стрелы были не только заострены, но и изрядно напитаны ядом. Теперь они совершенно невинны и безопасны; вы можете позабавиться зрелищем разноцветных перьев, даже ваши дети могут воспользоваться ими в своих играх.

Оставляю татуированный язык в стороне и стану из'ясняться по-французски.

Стиль, сцепление мыслей, переходы, резкость выпадов, странности выражений, короче, весь характер немецкого подлинника воспроизведен, насколько это было возможно, в настоящем французском переводе. Вкус, изящество, приятность, грация, без всякого милосердия, принесены в жертву буквальнóй точности. В настоящем виде это немецкая книга на французском языке, не претендующая на то, чтобы понравиться французской публике, а лишь пытающаяся ознакомить эту публику с чужеземным своеобразием. Наконец, если уж мне не дано развлекать, то я хочу поучать. Именно таким способом мы, немцы, переводили французских писателей, и это послужило нам на пользу: мы усвоили от них их точку зрения, словообразование и новые обороты речи. Подобное приобретение не повредило бы и вам.

Приняв решение, прежде всего, познакомить вас с характером этой экзотической книги, я не нашел нужным представить ее вам в полном виде, прежде всего потому, что многие ее отделы, заключая в себе намеки на местные и временные обстоятельства, игру слов и другие особенности этого рода, не могли бы быть воспроизведены на французском языке; во вторых, потому что многие ее страницы, продиктованные враждебным отношением к личностям и положениям, неизвестным в этой стране, могли бы, будучи воспроизведены во французском переводе, дать повод к весьма неприятным недоразумениям. Вот почему я опустил целую часть, заключавшую в себе описание острова Нордерней и немецкой аристократии. Отдел об Англии сокращен больше чем на половину: все это относилось к внешней политике. Те же мотивы побудили меня отказаться от многих глав в Итальянской части, написанной в 1828 году.

Говоря правду, мне пришлось бы принести в жертву всю эту часть, если бы я дал волю подобным же соображениям по отношению к католической церкви. Но я не мог только удержаться от того, чтобы не опустить одну, слишком уж резкую часть, страдающую чрезмерным протестантским рвением, суровым рвением, не во вкусе жизнерадостной Франции. В Германии такое рвение было вполне у места; я, в качестве протестанта, мог наносить удары обскурантам и тартюфам вкупе, как фарисеям германским, так и саддукеям, с большею уверенностью, чем если бы я говорил, как философ. Однако, для того чтобы читатели, которые пожелали бы сравнить оригинал с переводом, не могли, основываясь на этих сокращениях, обвинить меня в оппортунизме, я объяснюсь более подробно.

Книга эта, за исключением нескольких листов, написана была перед Июльской революцией. В это время политический гнет в Германии породил всеобщую немоту; умы впали в летаргию отчаяния, и человек, осмеливавшийся все же говорить, принужден был из'ясняться с тем большею страстностью, что не верил в победу свободы, и что партия духовенства и аристократии, прежде всего, обрушивалась на него.

Я употребляю выражение „духовенство и аристократия“ только по привычке, так как постоянно пользовался этими словами в то время, когда в одиночестве выдерживал борьбу с рыцарями прошлого. Эти слова были понятны всем и, признаться, я жил еще в то время терминологией 1789 г. и располагал боль-

шим ассортиментом тирад против священников и знати, или, как я называл, против духовенства и аристократии; но с тех пор я далеко ушел по пути прогресса, а мои добрые немцы, разбуженные июльскими пушками, следовавшие по моим стопам и говорящие в настоящее время языком 1789 или даже 1793 года, так еще далеки от меня, что потеряли меня из виду и считают меня отставшим. Мне предъявлены обвинения в умеренности, в единомыслии с аристократами, и я предвижу день, когда меня упрекнут в потворстве духовенству. Факт тот, что в настоящий момент под словом аристократия я понимаю не только аристократов по рождению, но всех тех, кто, как бы ни назывался, живет на счет народа. Прекрасная формула, которою мы, как и многими другими отличными вещами, обязаны сен-симонистам; „эксплоатация одного человека другим“ оставляет далеко позади себя все разглагольствования о привилегиях рождения.

Наш старинный военный клич против „жрецов“ заменился лучшим девизом. Дело идет уже не о насильственном разрушении старой церкви, но о создании новой; мы далеки от желания уничтожить жрецов—мы сами хотим теперь сделаться жрецами.

Для Германии, без сомнения, период отрицания не кончился; она еще в начале этого периода. Во Франции, наоборот, он, повидимому, близится к концу; по крайней мере, здесь, мне кажется, следовало бы преимущественно отдаться положительным задачам и воссоздать все то доброе и прекрасное, что завещано нам прошлым.

В силу какого-то литературного суеверия, я сохранил немецкое заглавие книги. Под именем *Reisebilder* она совершила свой путь в мире (много более далекий, чем путь автора), и мне хотелось бы, чтобы и во французском издании она сохранила то же счастливое имя.

Генрих Гейне“.

Париж, 20 мая 1834 г.

В последнем французском издании было следующее предисловие:

„Предыдущее, появившееся в 1846 г. издание „Путевых картин“ значительно отличалось расположением отдельных частей и большими пропусками от немецкого подлинника. Это—изъян, который я постарался восполнить в нынешнем новом издании; здесь соблюдена хронологическая последовательность в расположении частей, как в немецком издании подлинника, и многие страницы,

первоначально выпущенные, в настоящее время включены. С другой стороны, я весьма усердно поработал над уничтожением в нескольких местах тех придатков, которые обязаны своим возникновением юношескому увлечению и теперь являются несовершенными и недостигающими цели. Уже в предисловии 1846 года я заметил, как тогда еще наиболее ярые революционные излияния были выброшены в первом французском издании книги. Так как в 1853 г. без моего ведома было выпущено новое издание этой книги, без изменений, то я, понятно, вынужден отказаться от новых, слишком заметных смягчений; ограничиваюсь тем, что с великим прискорбием помышляю о множестве глупых и безбожных мест, о ядовитых плеведах, мною посеянных в книге. Чтобы выполоть их, пришлось бы срубить весь тот духовный лес, с которым они срослись корнями, но увы! такой духовный лес не так легко срубить, как обыкновенный языческий дуб. Пусть они стоят вечно, цветущие памятники наших заблуждений! Пусть молодежь возится около них по ночам и водит игры с призрачными дриадами, сатирами и прочими языческими козлищами чувственного мира. Я молитвенно складываю руки, на подобие старых грешников, которым ничего не остается в удел, кроме раскаяния и отречения.

Считаясь с потребностями момента, я не мог соблюсти хронологический порядок во французском полном собрании своих сочинений. Оно должно было бы открыться „Путевыми картинами“. К ним хронологически примыкает книга „De la France“, которую я надеюсь, с большими пропусками и еще большими добавлениями, выпустить уже в следующем месяце. Она дополняет книгу Lutèce, относящуюся к более позднему периоду и представленную, к сожалению, широким кругам читателей в полном французском издании прежде, чем ее предшественница. Я говорю широким кругам, так как ни одно из моих произведений никогда еще не привлекало такого внимания масс. Успех книги почти испугал меня. В течение четырнадцати дней весь Париж занимался этою книгою. Четырнадцать дней. Может ли требовать большего самолюбия писателя? Мне даже жутко становится при мысли, что такие огромные успехи обычно выкупаются крупными неудачами. Я видел немало триумфаторов, которым неожиданно выливали на их украшенные лаврами головы весьма непристойную посуду“.



Гарц—горная местность в Северной Германии; большая часть ее принадлежит Пруссии (бывшему королевству Ганновер); эту местность, еще не окруженную в то время железными дорогами, обошел, почти исключительно пешком, 26-летний студент Геттингенского университета Гейне, в сентябре 1824 года. Он бродил и в Верхнем Гарце (северо-западный склон), и в Нижнем (юго-восточный), а также по Тюрингии и посетил в Веймаре Гете *).

В конце октября Гейне начал записывать свои впечатления; 30 октября почти закончил запись, но не останавливался, боясь, что не сможет легко войти сызнова в „живой энтузиазм стиля“. В конце ноября произведение было закончено, а в декабре послано дяде Гейне в Гамбурге, „чтобы доставить удовольствие ему и дамам“.

Сам Гейне о своей рукописи отзывался разное; он называл ее иногда „пестрым лоскутным рукодельем“ и говорил, что „писал из денежных и тому подобных соображений“; чаще, однако, он думал, что эта „смесь описаний природы, шуток, поэзии и замечаний в духе Вашингтона Ирвинга“ **)—„самое лучшее, что он написал за это время“; „стихи в моем „Путешествии“—совсем в новом роде и превосходны, хотя я могу ошибаться“; в конце 1825 года он писал: „Я сочинял это с особенным усердием, дал пролежать год, как подобает хорошим вещам, теперь вновь заострил и нахожу, что вещь по содержанию и легкости трактовки вполне подходит для нашего журнала“.

Журналом этим был „Gesellschafter“, издаваемый Губитцем Гейне думал о нем еще в октябре 1824 года. Потом он мечтал о „Morgenblatt'e“, наконец, решился отдать рукопись в альманах „Rheinblüthen“; сущность альманаха была ему „в высшей степени противна“, но сестра издателя, Фредерика Роберт, была необыкновенно красива, и Гейне не мог отказать ей, когда она попросила его о сотрудничестве. Он отделал рукопись, многое вычеркнул, сам отметил сатирическое описание значения балета, чтобы вычеркнуть и его, если оно покажется слишком резким, но решительно запретил делать изменения по причинам эстетическим, так как за „суб'ективный стиль“ своего произведения

*) См. биографию Гейне в I томе изд. „Всемирн. Литерат.“

**) В. Ирвинг (1783—1859) прославился путевыми заметками, изданными в 1820 году под заглавием „Sketchbook of Geoffrey Crayon“

он ответственен сам, как человек и как поэт. Альманах, однако, не появился в 1825 году; Гейне жаловался, что с ним поступили „несравненно бессовестно“, и что ему „приходится сердиться даже на красивых женщин“; в письме к Фредерике Роберт, среди слов „еще более прекрасных и милых, чем она сама“, он мимоходом вежливо просит вернуть рукопись. Еще раз отделив произведение, он посылает его Губитцу, вновь прося защиты от цензуры и предлагая выкинуть в случае нужды отрывок о балете. Следуют жалобы на медленное печатанье: „Эта сволочь больше никогда не получит от меня ни строчки“.

Наконец, в начале 1826 года, журнал вышел. Гейне увидел, что с его „Путешествием“ „обошлись позорно“, был огорчен „печально-затхлой“ обработкой и поспешил выпустить его в „приличном виде“ в первом томе „Путевых картин“, появившемся в свет в мае 1826 года.

Этот том состоял из „Возвращения на родину“, „Путешествия в Гарц“ и первой части „Северного Моря“. Во втором издании, вместо пяти последних (больших) стихотворений „Возвращения на родину“, была включена вторая часть „Северного Моря“*), прежде входившая во второй том „Путевых картин“.

Книга произвела в Германии большое впечатление, ее и хвалили, и бранили, и она была раскуплена нарасхват. Кампе в пять месяцев продал в одном Гамбурге 500 экземпляров. Безудержные дружеские похвалы расточали Леман, Фарнгаген и Мозер; но нашлись и глубоко обиженные.

Первым из них был „черный, еще не повешенный, маклер с мошенническим мануфактурно-торговым лицом“, упоминаемый в конце „Путешествия“. Это был некий Иосиф Фридлендер из Гамбурга. Из письма Гейне к Мозеру в октябре 1826 года можно узнать следующее: „Ты, вероятно, слышал, что вонючий гамбургский жид врет направо и налево, будто он меня высек. Этот паршивый пес просто пристал ко мне на улице, а я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Он едва успел ухватить меня за фалду сюртука, но толпа оттеснила его; когда же я пожаловался в полицию, он решительно отрицал свое покушение; иного я и не желал. Он говорил, что я напал на него в своих писаниях, а потом на улице, из-за старой ссоры в 1815 году, когда я еще и не бывал в Гамбурге. История была прекрасно использована подлым жуликом“.

*) См. том I („Книга Песен“) изд. „Всемир. Литер.“

Интересно отметить, что слова: „с мошенническим мануфактурно-торговым лицом“ выкинуты во французском издании.

Гораздо безобиднее было впечатление, произведенное „Путешествием“ на мнимого портняжного подмастерья, который никогда не был портным, а был купцом из Остероде, Карлом Дерне. Веселый г. Дерне послал письмо в редакцию, напечатанное в „Gesellschafter'e“; в этом письме он рассказывает, что выпил бутылочку „Serons de Salvanette“, вследствие чего был „экзальтирован“ и сыграл свою роль, видимо, очень искусно. „На полпути я встретил молодого человека, которого опишу подробно, чтобы он увидел, что я его действительно встречал: он был ростом около 5 футов 6 дюймов, лет ему было 25 — 27, волосы белокурые, глаза голубые, лицо приятное, стройная фигура, надет на нем был коричневый сюртук, желтые панталоны, полосатый жилет, черный галстук и зеленый берет, — зеленый клеенчатый мешок был у него за спиной. Вино было причиной тому, что я, едва поклонившись, спросил у путешественника о его имени, положении, куда и откуда он идет. Прохожий взглянул на меня искоса, с сардонической улыбкой, и сказал, что зовут его Перегринусом, что он космополит и путешествует на средства турецкого императора для набора рекрутов. „Вы удивляетесь?“ спросил он. Я ответил: „Добро пожаловать“ и горячо поблагодарил его. Желая отплатить ему тою же монетой, я выдал себя за портняжного подмастерья и рассказал турецкому деятелю, что возвращаюсь из Б., где распространился слух, будто молодой местный князь во время путешествия в Святую Землю был пойман турками и должен был заплатить громадный выкуп. Господин Перегринус обещал справиться об этом у султана и сказал, что имеет большое влияние на его величество... Чтобы довести начатую роль до конца, я распевал народные песни, не упуская ~~за~~веркать их текст, и, вообще, вел себя совсем в духе странствующего ремесленника“...

Гейне и Дерне шли, обмениваясь шутками о турецких разбойниках и о прочем. Перегринус, наконец, совсем замолчал. „В нем был вообще гоффмановский холод, который держал меня в отдалении от него, и, чтобы положить конец шутке, я пожаловался на усталость, сел на пень и предложил моему спутнику сделать то же. Он ответил, как я и ожидал, что ему сегодня некогда отдыхать, приподнял берет и пустился в путь, предлагая мне следовать за собою“...

Находя описание самого себя у Гейне полным юмора, г. Дерне отрицает меланхолию; „что же касается“ „вдвое большей поэтичности“, которую я приписывал кассельскому товарищу и о которой Гейне говорит, будто я разумею стихи с двойными рифмами или стансы, то, для восстановления истины, я должен заявить, что я об этом не думал, а только хотел сказать: „товарищ от природы поэт, а когда выпьет, видит все вдвойне, вследствие чего и сочиняет вдвое поэтичнее. Манера говорить, которую мне приписывает Гейне, совершенно правильна и принадлежит к исполнению мною моей роли“...

Дерне пишет, что не сердится на Гейне и прочитал его остроумное описание с удовольствием. В свою очередь, и Гейне „позабавился“ письмом Дерне. Известной народной песней о жуке на заборе, которую пел „подмастерье“, Гейне воспользовался после, в стихотворении „Настроения влюбленных“.

Из критиков приветливо встретили „Путешествие“ Иммерман и Руссо *). Иммерман говорит о неразрывном соединении „богатых и метких описаний природы, тонких наблюдений, лукавых, остроумных и едких шуток, шутовских гримас, личных выпадов, нежных ощущений и прелестных песен“. Руссо находит, что „Путешествие“, кипящее шутками и веселостью, представляет поучительное юмористическое произведение“.

Газетные критики соединили похвалы с порицаниями. „Иенская Газета“ отметила, что „в некоторых стихотворениях и в „Путешествии“ течет прекрасная струя искренней любви к природе и почитания ее Творца, поэтическое сознание и чистое, даже нежное, чувство“. Однако, обращая внимание на „чудеснейшие формы“, критик замечает, что шутки мелки и тривиальны, а сатира едва ли будет тем поприщем, на котором поэт стяжает себе лавры. Газета в Галле находит рядом с „точками зрения, поистине гениальными, и впечатлениями, поистине свежими“, слишком студенческое настроение. Например, ненависть к Геттингену можно объяснить тем *consilium abeundi*, который Гейне получил в тамошнем университете. Наконец, „Лейпцигская Газета“, расточая похвалы произведению и некоторым стихам, заключенным в нем, находит два места с „вульгарностями, первую из которых нельзя даже переписать“ (указаны страницы). Первое место: „Ну вот и пора мне, несчастной

*) Друг Гейне, впоследствии изменивший ему.

стерве, на живодерню"; второе—сравнение императорских статуй в Госларе с жареными университетскими педелями.

При жизни Гейне, первая часть „Путевых картин“ выдержала в Германии пять больших изданий (Гоффман и Кампе в Гамбурге), а „Путешествие в Гарц“ вышло еще отдельно в 1853 году. Во Франции „Путешествие в Гарц“ было первоначально переведено (с пропусками) Леве-Веймарсом и помещено в „Revue des Deux Mondes“ в 1832 г., затем вышло в неисправном виде в издании „Путевых картин“ (две части, 1834 г.). Наконец, „Путевые картины“ вышли в новом, исправленном и дополненном издании в 1858 году с предисловием Теофиля Готье.

Наш текст „Путешествия“ воспроизводит второе немецкое издание (1830 года), исправленное самим Гейне. В третье издание он тоже внес кое-какие изменения, но четвертое было вновь перепечатано со второго; так что текст его следует считать установленным самим автором. Ниже мы приводим наиболее значительные по размеру (и наиболее любопытные) варианты из журнала „Gesellschafter“ и из первого и третьего издания „Путевых картин“.

После описания сна и комнаты в Остероде, вслед за словами „голова твоя вполне комфортабельно покоится на плечах“,— стояло:

„Кроме того, висели на стене Абельяр и Элоиза несколько французских добродетелей, а именно, пустые девичьи личики, под которыми было очень каллиграфически подписано: la Prudence, la Timidité, la Pitié, и, наконец, Мадонна, такая красивая, такая милая, такая самоотверженно набожная, что мне очень хотелось разыскать модель, которая позировала художнику, и на ней жениться. Правда, едва бы я женился на этой Мадонне, я сейчас же попросил бы ее прекратить всякие отношения со святым духом, моей голове вовсе не понравилось бы получить через посредство жены сияние или какоенибудь другое украшение“.

За описанием вида на Остероде с Клаустальской дороги, после слов „отсюда, с сохранившейся половины башни, видна внушительная задняя сторона города“, стояло:

„Много и других развалин замков встречается в этой местности. Лучшая из них—Гарденберг, возле Нертена. Если даже сердце у вас, как и следует, помещается на левой стороне, либеральной, то и тут вам трудно обойтись без всякого элегиче-

ского чувства при виде этих гнезд привилегированных хищных птиц, которые оставляли в наследство своим слабым птенцам только сильный аппетит. Такое чувство ощутил я сегодня утром. Чем более я удалялся от Геттингена, тем более душа моя расплывалась, романтическое настроение опять овладело мною, и дорогою я написал следующую песню:

„Грезы старые, проснитесь!
Вздогны, сердце, растворись!
Песни счастья, слезы грусти
Дивным строем полились.

Я хочу идти меж елей,
Где ключом шумит вода,
Бродят гордые олени,
Раздается песнь дрозда.

Я хочу подняться в горы,
На отвесные скалы,
Где развалины седые
Спят в тенях рассветной мглы.

Тихо сяду, вспоминая
О красе былых времен,
О былой, цветущей славе
Закатившихся племен.

Поросла травкою площадь,
Там, где в бой вступал храбрец,
Добывавший на турнире
Победителя венец.

Плющ обвился вокруг балкона,
Там, где первая из дам
Повергала нежным взором
Победителя к ногам.

Ах! обоих победивших
Смерть с лица земли смела,—
Рыцарь с острою косою
Всех нас выбьет из седла“

В середине следующего абзаца, после слов „только немец может почувствовать такую песню — и притом до смерти хохотать и плакать“, было следующее:

„Портной спел еще не мало других народных песен, где сплошь сияли „темнокарие глаза“, выдавая южно-германское происхождение этих песен. Я знаю единственную народную песню, в которой встречаются „голубые глаза“, да и та (поме-

щенная в „Чудесном Роге“), не кажется мне подлинной. Однако, если южная Германия — родина песни, то северная — родина сказки, цветка не менее прекрасного, и я также часто встречаюсь с ним в моем странствовании. Лирика — принадлежность юга, эпос — севера. Гете — принадлежность обоих“.

За словами „такое изображение подходит более к анатомическому театру, чем к храму Божию“, в описании госларского собора Св. Стефана, следовало:

„Сведущая в искусстве жена кистера, водившая меня по церкви, показала мне еще, как особенную редкость, многоугольный, черный, гладко выстроганный, покрытый белыми цифрами кусок дерева, висящий в виде лампы посреди церкви. О, в каком ярком свете выказывается здесь дух изобретательности протестантской церкви! Ибо представьте себе! Цифры на этом куске дерева означают номера псалмов, которые обыкновенно пишутся мелом на черной доске, что действует не совсем благоприятно на эстетическое чувство; теперь же, вследствие упомянутого изобретения, они служат даже украшением церкви и с успехом заменяют так часто недостающие здесь картины Рафаэля. Такие успехи бесконечно радуют меня, потому что я, как протестант, и притом лютеранин, всегда глубоко огорчаюсь, когда католические противники начинают издеваться над голым, богозабытым видом протестантских церквей“.

На месте длинного отрывка с рассуждениями при виде луны из окна комнаты в Госларе, вместо слов: „Когда я стал старше, я заметил“... до слов „подвяжу свою дорожную суму и пушусь в путь“, было следующее:

„Под ласковым мерцанием звезд вспомнил я еще, что в детстве мне говорили: если я покажу пальцем на звезду, то могу выколоть ангелу глаз. Когда я стал старше, мне говорили: на звездах живут души умерших; при этом, я слышал много о бессмертии. В моей груди, обуреваемой столькими чувствами, стало вдруг так горячо, что я думал — географы переместили экватор и он проходит теперь через мое сердце. И странно, хотя тот, уголок в сердце, где живет любовь, давно уже сгорел, мне казалось, что я чувствую там прежний пылающий пожар, как по временам улавливаешь боль в давно ампутированном члене“.

За этим шел еще отрывок: „Среди этих философических размышлений и личных ощущений, меня неожиданно посетил гофрат Б., недавно также приехавший в Гослар. Никогда доброже-

лательное благодушие этого человека не могло произвести на меня такое глубокое впечатление, как теперь. Я уважаю его за удивительно плодотворную остроту ума, но еще более за скромность. Я нашел его необыкновенно веселым, свежим и бодрым. Бодрость эту он еще недавно доказал своим новым сочинением: „Религия разума“ — книгою, которая рационалистов так восхищает, мистиков бесит, а массу публики приводит в волнение. Я сам в настоящую минуту мистик, по причине состояния моего здоровья, ибо доктор предписал мне избегать всяких поводов к мышлению. Тем не менее, я признаю неоцененное достоинство за рационалистическими трудами Паулуса, Гурлитта, Круга, Эйхгорна, Бутерверка, Вегшайдера и др. Мне даже чрезвычайно выгодно, что эти люди стараются уничтожить столько старых зол, особенно, старый мусор наших церковных развалин, среди которого так много змей и вредных испарений. Воздух в Германии слишком густ и слишком зноен, и я часто боюсь задохнуться или быть задушенным моими любезными собратьями — мистиками в жару их любви. Поэтому я могу только благодарить добрых рационалистов за то, что они даже чересчур сильно освежают этот воздух. Ведь, в сущности, сама природа установила для рационализма границу; под воздушным насосом и у северного полюса человек не имеет возможности существовать“.

Через две с половиной фразы, после слов „по природе я не труслив“, стояло:

„И знает Бог, что я ни разу не испытывал сжимания сердца, когда светлый клинок стремился познакомиться с моим носом, или, когда ночью мне случалось заблудиться в лесу, пользующемся дурной славой, или, когда зевающий на концерте лейтенант грозил меня проглотить“.

После описания встречи с двумя дамами на Блоксберге, за словами: „я люблю такие лица, они улыбкою своею успокаивают мое мятущееся сердце“, следовало:

„Женщина эта была еще не замужем, хотя находилась в том цветущем возрасте, который дает полное право на вступление в брак. Однако, это—явление ежедневное, — именно самым красивым девушкам очень трудно найти мужа. Так было уже в древности; как известно, три грации так и остались сидеть в девках“.

В том же описании, после слов: „дочь более уделила внимания опере в театре Фениче“, стояло:

„Обе были в восторге от искусства импровизаторов. Месторождением обеих был Нюрнберг, но о древнем величии этого города они могли рассказать мне не особенно много. Милое мейстерзингерство, последние звуки которого сохранил нам добрый Вагензейль, отжило свой век, и нюрнбергские гражданки услаждаются итальянскими бессмысленными импровизациями и пением каплунов. О, святой Себальд, каким жалким патроном сделался ты теперь“.

В отрывке о берлинских театрах, после слов „всех трех, конечно, незачем выписывать из Африки“, следовало:

„В „Силе обстоятельств“ роль героя будет отдана настояш^ю ему писателю, который уже раз получил пару пощечин; в „Праматери“ роль Яромира будет играть человек, который на самом деле уже хоть раз ограбил или, по крайней мере, украл; леди Макбет изобразит женщина, которая, как требует Тик, по своей натуре, правда, очень мила, но вместе с тем отчасти знакома с кровавою картиной гнусного убийства; наконец, для изсбражения особенно пустых, глупых и грубых людей будет приглашен великий Анджели, тот великий Анджели, который так восхищает своих единоплеменников каждый раз, как поднимается во весь свой рост, высоко, высоко, „подлец от головы до ног!“

Наконец, описание брокенской книги, после слов „острота, повторяемая здесь сотнями людей“, заканчивалось так:

„Какая-то Каролина пишет, что, взбираясь на гору, промочила себе ноги. Какая-то наивная Анхен запомнила эту жалобу и лаконически записывает: „И я во время этой истории замочилась“.

Что касается литературных влияний, которым подвергалось „Путешествие“, следует указать на следующие: „Штернбальд“ Тика, „Годви“ Брентано, „Предчувствие и действительность“ Эйхендорфа и „Путевые песни“ Кернера—с их романтикой природы; „Путешествия“ Вашингтона Ирвинга—с их нежностью к обычаям и нравам простых людей *). Надо отметить еще влияние Августа Шлегеля; дань уважения к нему отдана в заключительной части.

В „Путешествии“ Гейне ярче, чем в остальных частях „Путевых картин“, выделяется описание страны и ее жителей. Весь рассказ одухотворен любовью, предмет которой, по мнению Эльсте-

*) См. Max Ebert. Der Stil der Heineschen Jugendprosa. Berlin, 1903.

ра,—Тереза Гейне, жившая в далеком Гамбурге и заменившая в душе поэта Амалию.

Одушевление предметов и отвлеченных понятий в „Путешествии“ проведено сознательно; стиль местами очень изукрашен, обилие сравнений и метафор приводит к некоторым натянутым выражениям, вроде: „нежную парочку, сидевшую под деревом, я готов был принять за экземпляр *Cornus Juris* с переплетенными руками“; или „ангелы изучают в чертах лица Бога генерал-бас“; или „долговязый рвотный порошок“; разумеется, это мелочи, которых не найдешь, однако, у писателя гениального.

А. Блок.



ПУТЕШЕСТВИЕ В ГАРЦ

DIE HARZREISE

1824

Постоянна только переменчивость;
устойчива только смерть. Каждое
биение сердца ранит нас, и жизнь бы-
ла бы сплошным исхождением кровью,
если бы не существовало поэзии. Она
дает нам то, в чем отказала природа:
золотое время, которое не ржавеет,
весну, которая не отцветает, безоблач-
ное счастье и вечную молодость.

Берне *).

*) Речь в память Жана Поля, произнесенная во Франкфуртском музее 2 де-
кабря 1825 года.

* *
*

Сюртуки, чулки из шелка,
С тонким кружевом манжеты,
Речи льстивые, об'ятыя—
Еслиб сердце вам при этом!

Еслиб, сердце в грудь вложить вам,
В сердце чувство трепеталоб,—
Ах, до смерти мне противна
Ложь любовных ваших жалоб!

Я хочу подняться в горы,
Где живут простые люди,
Где свободно веет ветер,
И легко усталой груди.

Я хочу подняться в горы,
К елям шумным и могучим,
Где поют ручьи и птицы,
И несутся гордо тучи.

Мир вам, гладкие паркеты,
Люди с гладкими сердцами!
Я хочу подняться в горы,
Чтоб смеяться там над вами.

Город Геттинген, знаменитый своими колбасами и университетом, принадлежит королю Ганноверскому и располагает 999 очагами, различными церквями, одним родовспомогательным заведением, одною обсерваториею, одним карцером, одною библиотекою и одним городским погребком, где пиво превосходно. Протекающий здесь ручей именуется «Лейна» и служит летом для купанья; года в нем очень холодна и местами столь широка, что Людеру *), в самом деле, пришлось сильно разбежаться,

*) В. Людер, впоследствии — генерал, славившийся, в бытность студентом Геттингенского университета, физическою силою.

когда он прыгал через ручей. Сам город очень хорош и представляется всего лучше, когда обернешься к нему спиной. Повидимому, город построен очень давно; по крайней мере, помнится, еще пять лет назад, когда я включен был в число студентов и вскоре затем исключен, он имел все тот же тусклый, старчески-умный вид и был переполнен ночными сторожами, шедеями, диссертациями, чаями с танцами, прачками, компендиумами, жареными голубями, гвельфскими орденами, церемониальными каретами, головками для трубок, надворными советниками, советниками юстиции, советниками, изгнанными из университетов, профаксами *) и другими штуками. Некоторые утверждают даже, будто город построен во время переселения народов, что каждая отрасль немецкого племени оставила там по одному необузданному своему отпрыску, откуда и происходят вандалы, фризы, швабы, тевтоны, саксы, тюринги и т. д., каковые и по сейчас слоняются ордами по Вендской улице, различаясь цветами шапок и трубочных кисточек; они вечно дерутся на кровавых полях Разенмюля, Ритченкрута и Бовдена **), пребывая в нравах своих и привычках среди эпохи переселения народов и управляясь частью своими вождями, именуемыми главными петухами, частью древним сводом законов, именуемым *Comment* и заслуживающим места *in legibus barbarorum*.

В общем, жители Геттингена делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов, каковые четыре сословия далеко не строго различаются между собою. Сословие скотов—преобладающее. Слишком долго пришлось бы перечислять здесь имена всех студентов и всех профессоров ординарных и не ординарных; к тому же, в данный момент, не все студенческие имена сохранились в моей памяти, а среди профессоров есть еще и вовсе не имеющие имени. Число геттингенских филистеров должно быть очень велико: их—как песку или, лучше сказать, как грязи морской; поистине, когда я утром увидел их у двери академического суда, с грязными лицами и белыми сче-

*) Профессора.

**) Деревня, в часе расстояния от Геттингена.

тами, я не мог понять, как это Бог натворил столько сволочи.

Подробности о городе Геттингене вы с приятностью прочтете в описании последнего, составленном К. Ф. Х. Марксом *). Хотя я питаю чувства святейшей признательности к автору, который был моим врачом и сделал мне много добра, я не могу без оговорок рекомендовать его труд и должен поставить ему в упрек недостаточно энергичный отпор тому ложному мнению, будто у геттингенок слишком большие ноги. Мало того, я посвятил много времени опровержению этого мнения, прослушал курс сравнительной анатомии, делал в библиотеке выписки из редчайших книг, изучал часами ноги прогуливающих по Вендской улице дам, и в глубоко ученом труде, где подводятся итоги моим занятиям, говорю: 1) о ногах вообще, 2) о ногах у древних, 3) о ногах слонов, 4) о ногах геттингенок, 5) сопоставляю все то, что уже высказано об этих ногах в Ульрихском саду, 6) рассматриваю эти ноги—в их взаимном соотношении и, при этом случае, распространяюсь об икрах, коленях и шпоч., и, наконец, 7) если найдется бумага достаточного размера, приложу несколько таблиц с гравированными на меди изображениями ног геттингенских дам.

Было раннее утро, когда я покинул Геттинген, и ученый **) покоился еще, конечно, в постели и грелся, как всегда: будто он гуляет в прекрасном саду, где на грядках растут сплошь белые, исписанные цитатами, бумажки, ласково поблескивающие на солнце; он же срывает то одну, то другую и осторожно пересаживает их на новые грядки, между тем, как соловьи услаждают его старое сердце сладостными трелями.

У Вендских ворот попались мне навстречу два местных школьника; один сказал другому: «Не желаю больше знать Теодора, он, подлец, не умел сказать вчера родительный падеж от слова *mensa*». Как ни незначительны эти слова, я должен упомянуть о них; мало того, я написал бы их на городских воротах, как девиз; ведь, мо-

*) Д-р К. Ф. Х. Маркс. „Геттинген в медицинском, физическом и историческом отношениях.“

**) К. Ф. Эйхгорн, геттингенский профессор, юрист.

лодежь насвистывает с чужого голоса, и эти слова вполне рисуют узкую, сухую, спесивую премудрость высокоученой Георгий Августы *).

В дороге повеяло свежим утренним воздухом, радостно распевали птицы, и у меня на душе стало свежо и радостно. Бодрость пришла кстат. В последнее время я не вылезал из стойла пандектов, римские казуисты заткали мой мозг серою паутиною, сердце было защемлено железными статьями самодовлеющих правовых систем, в ушах непрестанно звучало «Трибониан, Юстиниан, Гермогениан и Дуреньян», и нежную парочку, сидевшую под деревом, я готов был принять за экземпляр *corpus juris* с переплетенными руками. Дорога оживилась. Потянулись молочницы и погонщики ослов со своими серыми питомцами. За Вендою попались мне навстречу Шефер и Дорис. Это—не парочка из идиллии Гесснера **), а два упитанных университетских педеля, зорко наблюдающие по долгу службы, чтобы студенты не дрались на дуэли в Бовдене и чтобы ни одна новая идея, без обязательного и долголетнего карантина, не проникла контрабандою в Геттинген, при содействии какого-нибудь спекулирующего приват-доцента. Шефер поклонился мне вполне по-товарищески; он тоже писатель и не раз упоминал обо мне в своих полугодных писаниях: равным образом, он часто приводил ***)) меня, а, когда не заставал дома, весьма любезно писал об этом мелом на дверях моей комнаты. Время от времени проезжала одноколка, набитая студентами, покидающими город на время каникул, а то и навсегда. В таких университетских городах постоянный прилив и отлив, каждые три года возникает новое поколение студентов—вечный человеческий поток; волна одного семестра отгоняет другую, и только старые профессора стоят неколебимо и недвижно среди всеобщего движения, подобно пирамидам Египта—но только в этих университетских пирамидах не скрыто никакой премудрости.

*) Геттингенский университет.

**) Соломон Гесснер (1730—1787).—автор идиллий, имевших большой успех.

***)) Трудно переводимая игра слов. В подлиннике: „citiren“—означает и цитировать и вызывать (куда-либо).

Из Миртовой рощи, близ Раушенвассера, выехали верхом двое юношей, полных надежд. Женщина, занимающаяся там своим горизонтальным ремеслом, проводила их до проселочной дороги, похлопала привычно рукою по худым бокам лошадей, громко рассмеялась, когда один из всадников любезно угостил ее плеткою по широкому заду, и двинулась по дороге в Бовден. Юноши поскакали в Нертен, очень остроумно покрикивали и очень мило распевали россиниевскую песенку: «Кружку пива, Лиза, пива, Лиза, пива!» Звуки долго еще раздавались вдали, но нежных певцов я скоро потерял из виду, ибо они яростно тришпоривали и погоняли плетками своих коней, обладавших, казалось, медлительным, немецким характером. Нигде так не истязуют лошадей, как в Геттингене; часто, видя, как хромя кляча, вся в поту, принимает, ради корма насущного, тяжкие муки от наших раушенвассерских всадников, или тащит за собою целый воз студентов, я думал: «Бедное животное, несомненно, предки твои отведали в раю запрещенного овса».

В Нертенской корчме я вновь повстречал обоих юношей. Один угощался селедочным салатом, а другой разговаривал с желтокожею служанкою, по имени—Фузия Канина, а также «Воробышек». Он удостоил ее нескольких любезностей, в конце концов, у них пошли в ход руки. Чтобы облегчить свою сумку, я вынул оттуда синие штаны, весьма замечательные в историческом отношении, и подарил маленькому кельнеру, по имени Колибри. Буссения, старая хозяйка, вынесла мне меж тем бутерброды и попеняла, что я так редко у нее бываю: она меня очень любит.

За Нертеном солнце поднялось высоко и ярко светило в небе. Оно отнеслось ко мне сочувственно и начало нагревать мне голову, чтобы дать созреть незрелым моим мыслям. Не следовало, однако, пренебрегать и солнцем Нордгеймской корчмы; я завернул туда и нашел готовый обед. Все кушанья приготовлены были вкусно и понравились мне гораздо больше безвкусных академических угощений—высохших судаков, без признака соли, с прокисшей капустой, которыми меня потчевали в Геттингене. Нагрузив слегка свой желудок, я заметил в той же

комнате господина с двумя дамами, собиравшихся в путь. Господин был одет во все зеленое, даже в зеленых очках, бросавших на его меднокрасный нос отсвет ярко-зеленой медянки, и походил на царя Навуходоносора в последние годы его жизни, когда он, согласно преданию, питался, как зверь лесной, одним салатом. Зеленый требовал, чтобы ему рекомендовали гостиницу в Геттингене, и я посоветовал ему справиться у первого попавшегося студента об отеле Брюбах. Одна из спутниц оказалась его супругою—крупная, скучного вида особа, с багровым лицом в квадратную милю и с ямочками на щеках, похотившими на плевательницы для бога любви, с вытянутым, отвислым подбородком,—повидимому, неудачным продолжением лица—и с высоко взнесенною грудью, которая, возвышаясь среди тугих кружев и фестончатой бахромы воротников, была подобна крепости с башенками и бастионами; как все другие крепости, о коих говорит Филипп Македонский, она слабо могла противиться ослу, нагруженному золотом. Другая дама, сестра первой, являла полную противоположность своей спутнице. Если первая происходила от фараоновых тучных коров, то вторая вела свой род от тощих. Лицо—сплошной рот между двух ушей; безнадежно тощая, как Люнебургское поле, грудь; фигура—вся вываренная, как бесплатный обед для бедных богословов. Обе дамы одновременно спросили меня, останавливаются ли в Брюбахском отеле порядочные люди. Я со спокойною совестью ответил утвердительно, после чего назойливая пара отошла в сторону, и я послал им еще раз привет из окна. Ховяин солнечной юрчмы хитро ухмылялся, будучи, повидимому, осведомлен, что Брюбахским отелем именуется карцер для геттингенских студентов.

За Нордгеймом местность становится гористою, попадаются порою красивые возвышенности. По дороге встречались мне большею частью лавочники, направлявшиеся на Брауншвейгскую ярмарку, попалась навстречу также целая толпа женщин; каждая тащила на спине большое, с дом величиною, сооружение, обтянутое белым полотном. Там сидели пленные певчие птицы, непрерывно пищавшие и свистевшие, а несшие их женщины весело подпры-

гивали и болтали. Мне казалось глупым, как это одни птицы тащат других на базар.

Была черная ночь, когда я достиг Остероде. Аппетита я не чувствовал и сейчас же улегся в постель. Я устал, как собака, и заснул, как бог. Мне приснилось, что я вернулся в Геттинген, в тамошнюю библиотеку. Стоял в юридическом зале, в углу, перелистывая старые диссертации и углубился в чтение, как вдруг заметил, к своему удивлению, что наступила ночь и свесившиеся с потолка хрустальные канделябры осветили зал. Часы на ближней церкви только что пробили двенадцать, когда медленно отворилась дверь, и вошла гигантского роста горделивая женщина, в почтительном сопровождении членов и ассистентов юридического факультета. Гигантская женщина, хотя и пожилая с виду, хранила на лице своем черты строгой красоты, каждый взгляд ее обличал в ней женщину-титана, могущественную Фемиду; меч и весы она небрежно держала в одной руке, в другой руке зажат был свиток пергамента, и два молодых *Doctores juris* несли за нею шлейф ее серого потускневшего платья; справа суетливо прыгал тощий надворный советник Рустикус *), Ликург Ганновера, и декламировал что-то из своей новой законодательной импровизации; слева галантно ковылял в отличном настроении духа ее *Cavaliereservente*, тайный советник юстиции Куяциус **), отмачивая одну за другою шуточки из области права, и все до того искренно смеялись, что строгая богиня время от времени с улыбкою склонялась к нему, хлопала его по плечу пергаментным свитком и дружески шептала: «Ах, ты маленький повеса, подстригающий деревья!» ***). Все остальные стали подходить ближе, и каждый находил соответствующие замечания, улыбочку, вновь придуманную системочку, гипотезку или другого какого-нибудь недоносочка из собственной головки. В открытые двери проникло еще несколько незнакомцев, державшихся на по-

*) А. Бауэр, профессор уголовного права в Геттингене.

**) Густав Гуго, юрист-знарок римского права. Куяциус — Jacques de Cujas, французский юрист 16-го столетия.

***) Намек на комментарии Г. Гуго к тексту *Corpus juris „De arboribus caedendis“* относительно вырубки или укорочения деревьев, растущих на границах чужих владений.

добие прочих сочленов знаменитого ордена; большую частью—угловатые, назойливые парни, тотчас приступившие, с полным самодовольством, к определениям, разграничениям и препирательствам по поводу отдельных пунктиков каждого пункта пандектов. Входили все новые и новые фигуры, старые законоведы в выцветших одеждах, в длинных париках, с давно забытыми лицами, изумляясь тому, что на них, знаменитостей истекшего столетия, не обращают особого внимания; они, как и другие, каждый на свой лад, присоединялись к общей болтовне, суете и крику, обступавшим, все бессвязней и шумнее, как морской прибой, высокую богиню, пока она не потеряла терпения и не воскликнула с ужасающей, грандиозной скорбью: «Молчите! Молчите! я слышу голос дорогого мне Прометея! Злобной властью, тупым насилием прикован невинный мученик к скале, и вся ваша болтовня и все ваши споры не прохладят его ран и не разобьют его цепей!» Так воскликнула богиня, и слезы ручьем полились из ее глаз; все собрание взвыло, будто охваченное смертельным ужасом, затрепал потолок зала, книги попадали с полок, и напрасно старик Мюнхгаузен *) вылез из рамы с целью водворить порядок—кругом все яростней бесновалось и топотало—и я бросился из этого сумасшедшего дома искать спасения в исторический зал, в то благое место, где стоят друг возле друга священные изображения Бельведерского Аполлона и Венеры Медицейской, и упал к подножию богов красоты; в созерцании их, я забыл о диком неистовстве, которого избежал, глаза мои созерцали в восторге гармонию и вечную прелесть благословенных тел, спокойствие Греции охватило мою душу, и над головою моей, как благословение неба, вазвучала сладостная лира Феба Аполлона.

Проснувшись, я долго еще слышал приветливый звон: стада тянулись на пастбища—это звенели их колокольчики. Ласковое золотое солнце глядело в окно и освещало картины на стенах моей комнаты. Это были изображения из эпохи освободительной войны, правдиво рассказывав-

*) Барон Г. А. Мюнхгаузен, государственный деятель, попечитель Геттингенского университета.

шие о том, как все мы были героями; также—цены революционного суда: Людовик XVI на гильотине и тому подобные головоломные вещи, глядя на которые нельзя не благодарить Бога, что лежишь спокойно в постели, пьешь вкусный кофе, и голова твоя вполне комфортабельно поκειται на плечах.

Выпив кофе, одевшись, прочитав надписи на оконных стеклах и расплатившись в гостинице, я покинул Остероде.

В городе этом столько-то домов, столько-то жителей и в том числе столько-то душ, как подробно указывается в «Путеводителе по Гарцу» Готшалька. Прежде чем свернуть на большую дорогу, я взобрался на развалины древнего замка Остероде. Они представляют собою половину высокой, с массивными стенами, башни, будто раз'еденной раком. Дорога в Клаусталь шла опять на гору; с одного из первых холмов я еще раз взглянул вниз, в долину, откуда Остероде со своими красными крышами представляется среди зеленых сосен мох-розою. Солнце придавало всему оттенок чего-то детски милого. Отсюда, с сохранившейся половины башни, видна внушительная задняя сторона города.

Пройдя некоторое расстояние, я встретился с бродячим подмастерьем, державшим путь из Брауншвейга и передавшим мне тамошний слух: молодой герцог, на пути в обетованную страну, попался, будто бы, в плен к туркам и может быть освобожден лишь за большой выкуп. Народ все еще тятотеет, по складу мыслей, к сказочному, что так мило выражено в его «Герцоге Эрнсте» *). Рассказчик оказался портновским подмастерьем—миловидный, небольшой человечек, до того тощий, что лучи звезд могли пронизать его, как облачного духа Оссиана—в общем, чисто народная смесь веселости с меланхолией. Это сказалось особенно в забавно трогательном тоне спетой им чудесной народной песенки: «Как на заборе жук сидел; зумм, зумм!» У нас, у немцев, это прекрасно: нет сумасшедшего, которого не мог бы понять другой, еще более свихнувшийся. Только немец может почувствовать

*) Герцог Эрнст II Швабский (ум. в 1030 году), любимый герой немецких народных сказаний 12—19 столетий.

такую песню—и притом до смерти хохотать и плакать. Тут я заметил, как глубоко проникло в душу народа творчество Гете. Мой тощий спутник время от времени бормотал про себя: «Радость, страдание, и мыслям легко!» Такое извращение текста обычно у народа. Также напевал он песенку, где «Лотта над Вертера гробом скорбит». Портной расплылся от сентиментальности при словах: «Одинок плачу я у ровы, где светил нам месяц в поздний час! У ручья мои блуждают грезы, что лелеял и покоил нас». Но вскоре он проникся высокомерием и сообщил мне: «У нас, в Кассельском цехе, есть пруссак, он сам сочиняет такие же стихи; шьет неважно; коли у него в кармане заведется грош, он сейчас же чувствует жажду на два гроша, а когда наберется винного духу, не бо ему кажется синим камзолом, и он начинает стонать, как дождевой жолоб, и поет песни вдвое поэтичнее». Относительно последнего выражения, я попросил у него объяснений, но портняжка, попрыгивая на своей козлиной ноге, покрикивал только: «Вдвое поэтичнее значит вдвое поэтичнее!» Наконец, я уяснил себе, что он разумеет стихи с двойными рифмами, именно—стансы. Между тем, продолжительный путь и противный ветер утомили рыцаря иглы. Правда, время от времени, он предпринимал грандиозные попытки продолжать путь и заявлял торжественно: «Вот теперь я оседлаю дорогу!», но вслед затем, начинал жаловаться, что натер пузыри на ногах и что мир бесконечен; и, наконец, дойдя до дерева у дороги, тихо опустился, покачивая головкою, как унылая овечка хвостиком, и, скорбно улыбаясь, произнес: «Ну, вот и пора мне, несчастной стерве, на живодерню!»

Местность сделалась еще гористее, сосновый лес колыхался внизу, как зеленое море, и вверху, по голубому небу, неслись белые облака. Дикий облик местности умирался ее однообразием и простотою. Природа, подобно истинному поэту, не любит резких переходов. Облака при всей кажущейся фантастичности, сохраняют светлый или мягкий, гармонирующий с голубым небом и зеленою землею, оттенок, так что красочные тона всей местности плавно и музыкально сливаются друг с другом, и всякое созерцание природы действует умиротворяюще.

успокаивающе. Блаженной памяти Гоффман *) изобразил бы облака пестрыми. Также, подобно великому поэту, природа обладает способностью с наименьшими усилиями достигать величайших результатов. В ее распоряжении только солнце, деревья, цветы, вода и любовь. Правда, если этой любви нет в сердце у наблюдателя природы, то все должно представиться ему в дурном свете; в таком случае, солнце, оказывается, содержит столько-то миль в диаметре, деревья пригодны для отопления, цветы классифицируются по тычинкам, а вода—мокрая.

Маленький мальчик, собиравший в лесу хворост для своего больного дяди, указал мне на деревню Лербак, низенькие хижины которой с серыми крышами, тянулись по долине, в получасе ходьбы. «Там», сказал он, «живут зобастые идиоты и белые негры»,—последним именем народ окрестил альбиносов. Мальчик был в добром согласии с деревьями; он приветствовал их, как хороших знакомых и они, казалось, шелестом отвечали на его приветствия. Он насвистывал, как чирик, со всех сторон ему отвечали свистом другие птицы, и, прежде чем я мог заметить, он ускакал босыми ножонками, с пучком хвороста, в лесную чащу. Дети, подумал я, моложе нас, помнят еще, как сами были когда-то деревьями и цветами, и потому—способны понимать их; наш брат слишком для этого стар, голова его чересчур перегружена заботами, юриспруденцией, скверными стихами. При вступлении моем в Клаусталь в памяти моей живо возникло то время, когда все было иначе. Я достиг этого милого горного городка, который виден лишь, когда подойдешь к нему вплотную, в то время, когда колокол пробил двенадцать и дети весело выбежали из школы. Славные ребята, почти все краснощекие, голубоглазые, с льняными волосами, прыгали и ликовали; они пробудили во мне болезненно радостное воспоминание о той поре, когда я, таким же маленьким мальчиком, не смел до полудня подняться с деревянной скамьи глухой католической школы в Дюссельдорфе и должен был вынести немало латыни, побоев и географии, а потом так же неистово ли-

*) Э. Т. А. Гоффман, известный писатель, владевший также кистью.

ковал и веселился, когда старый францисканский колокол бил, наконец, двенадцать. Мальчики узнали по сумке, что я чужой, и гостеприимно меня приветствовали... Один рассказал мне, что у них только что был урок Закона Божия, и показал Корол Ганнов—катехизис, по которому их спрашивают про христианскую веру. Книжка оказалась прескверно напечатанною, боюсь, что символы веры должны производить на детские умы впечатление чего-то уныло-кляксапаирного; равным образом, ужасающе на меня подействовало, что таблица умножения, расходящаяся, я полагаю, с учением о св. Троице, *) напечатана в самом катехизисе, на последней странице, благодаря чему дети уже в юном возрасте могут впасть в греховные сомнения. Тут уж мы, пруссаки, много умнее, и, при свойственном нам усердию к обращению на путь истины людей, разбирающихся в арифметике, остерегаемся печатать таблицу умножения в конце катехизиса.

Я пообедал в Клаустале в гостинице «Корона». Мне подали весенний зеленый суп из петрушки, фиалково-синюю капусту, жареную телятину, величиною с Чимборассо в миниатюре, а также—особого рода копченых сельдей, называемых бюкингами, по имени изобретателя их, Вильгельма Бюкинга, умершего в 1447 году и пользовавшегося, благодаря своему изобретению, таким уважением Карла V, что последний анно 1556 ездил из Миддельбурга в Бьюфлид, в Зеландию, с единственной целью взглянуть на могилу великого человека. Как великолепно такое блюдо, когда ешь его, обладая притом соответствующими историческими сведениями! Но кофе был мне испорчен: какой-то молодой человек, прохаживаясь, подсел ко мне и начал болтать так беспардонно, что молоко на столе скисло. Это был молодой купеческий ученик, о двадцати пяти жилетах, с таким же количеством печатей, перстней, грудных булавок и т. д. Он походил на обезьяну, которая надела красную куртку и уверяет самое себя: костюм делает человека. Он знал безошибочно множество шарад, также и анекдотов, которые и сообщал, когда они менее всего подходили к случаю. Он спро-

*) Таблица умножения—по-немецки Einmaleins: единожды один—один.

сил меня, что нового в Геттингене, и я рассказал ему, что там перед отъездом моим появился декрет академического совета, запрещающий, под угрозой штрафа в три талера, обрезать собакам хвосты, ибо в горячее каникулярное время, когда бешенные собаки бегают, поджав хвосты между ног, их можно по этому признаку отличить от небешеных, что было бы невыполнимо в случае, если бы у них вовсе не было хвостов *). Пообедав, я собрался в путь, намереваясь посетить рудники, сереброплавильни и монетный двор.

В сереброплавильнях я, как часто случается, не приметил самого серебра. На монетном дворе дело пошло лучше, и мне привелось увидеть, как делаются деньги. Правда, дальше этого я никогда не шел. На мою долю выпадала в таких случаях роль наблюдателя, и думаю, если бы талеры начали падать с неба, я бы получил лишь пробоины в голове, в то время как сыны Израиля с легкостью душевной стали бы собирать серебряную манну. Со смешанным чувством почтения и опаски рассматривал я новорожденные блестящие талеры, взял в руки один, только что вышедший из-под штампа, и произнес: «Юный талер! какие судьбы тебя ожидают! сколько добра и зла сотворишь ты! как будешь ты защищать пороки и пятнать добродетель, как будут любить тебя и проклинать в будущем! каким помощником будешь ты в праздности, сводничестве, лжи и убийстве! как неустанно будешь ты ходить по рукам чистым и грязным на протяжении столетий, пока, наконец, отягченный преступлениями и усталый от греха, не успокоишься, вместе со своими присными, в лоне Авраамовом, которое расплавит тебя, очистит и преобразит для лучшей жизни!»

Два главных клаустальских рудника—«Доротея» и «Каролина»—показались мне при осмотре столь интересными, что я должен рассказать о них подробно.

В получасе ходьбы от города находятся два больших темных здания. Там вас сразу встречают рудокопы. На них темные, цвета синеватой стали, просторные блузы, спускающиеся ниже живота, такого же цвета штаны, кожаные, завязывающиеся сзади передники и зеленые фетро-

*) Дерне (см. предисловие) удостоверяет, что знает описанное лицо, которое не осталось бы довольно своим изображением еслибы когда-нибудь читало книги

вые шапочки без полей, похожие на срезанный кегельный шар. В такой же костюм, только без передника, одевают посетителя, и один из рудокопов—штейгер—засветив свою лампочку, ведет его к темному отверстию, похожему на трубу камина, опускается до уровня груди, дает указания, как держаться на лестницах и приглашает следовать за ним безбоязненно; в начале, когда не имеешь представления о горном деле, это кажется иначе. Своеобразное впечатление создается уже тем, что надо раздеться и облачиться в мрачные одежды каторжанина. Затем предстоит спускаться вниз на четвереньках, причем темное отверстие так темно, и Бог весть, когда кончится длинная лестница. Вскоре замечаешь, однако, что это не единственная, ведущая в черную бесконечность, лестница, что таких пролетов несколько—от пятнадцати до двадцати—и каждый упирается в небольшую дощатую площадку, где можно остановиться, и откуда новое отверстие ведет на новую лестницу. Сначала я спустился «Каролину». Это одна из самых грязных Каролин, какими мне пришлось видеть. Лестничные пролеты мокры от грязи. Так и спускаешься с одной лестницы на другую, а штейгер впереди неизменно уверяет, что это вовсе не опасно, следует только крепко держаться руками за перила, не смотреть вниз, не поддаваться головокружению и ни в каком случае не становиться на боковую площадку, возле которой с жужжанием тянется спусковой канат, и откуда две недели тому назад какой-то неосторожный человек полетел вниз и сломал себе, к сожалению, шею. В самом низу бессвязный шум и треск, непрестанно натыкаешься на балки и канаты; последние движутся, подымая бочки с добытою рудою или подавая квершурническую воду. Время от времени, приходится проникать в высеченные в стенах ходы, называемые штольнями, где видна руда, и где одинокий рудокоп, сидя, целыми днями откалывает от стен куски руды. Я не добрался до самого низу, там уверяют некоторые, слышно, как американцы кричат: «Hurrah Lafayette! *»). Между нами говоря, глубина, которой я достиг

*) В то время, в 1824 году, знаменитый генерал Лафайетъ находился в Соединенных Штатах, в качестве „гостя нации“.

показалась мне вполне достаточною: непрерывное жужжание и визг, жутко движутся машины, журчат подземные ключи, со всех сторон стекает вода, от земли поднимаются спертые пары, и свет рудничной лампочки все бессильнее и бледнее в окружающей ночи. Я не испытал приступов так называемого страха, но, что довольно странно, внизу, в глубине, вспомнилась мне пережитая мною в прошлом году, приблизительно в эту же пору, буря в Северном море, и не лишенной грустной привлекательности показалась картина качающегося во все стороны корабля: ветры разыгрывают свои трубные симфонии, матросы поднимают веселую возню, и вольный воздух Господень любовно обвеивает все это. Да, воздуху! В погоне за воздухом взобрался я по дюжине лестниц вверх, и мой штейгер провел меня узким и очень длинным, высеченным в горе ходом, в рудник «Доротея». Здесь свежее и веселее, лестницы чище, но зато длиннее и круче, чем в «Каролине». На душе у меня стало легче, особенно после того, как я обнаружил следы живых людей. В глубине мелькнули блуждающие огоньки, рудокопы с лопаточками появлялись внизу, говорили: «счастливо подняться!» и, приветствуемые нами в тех же выражениях, двигались мимо нас, выше; и какое-то дружески спокойное и вместе с тем мучительно загадочное напоминание чулось мне в глубоких и ясных взорах, в глубоко серьезных, побледневших и озаренных таинственным отсветом лампочек лицах юношей и стариков, проработавших целый день в своих темных и уединенных шахтах и теперь тянувшихся к свету божьего дня, к женам своим и детям.

Мой чичероне оказался честным немцем чистейшей породы. С затаенной радостью показал он мне штольню, где, во время осмотра рудника, обедал со всею своею свитою герцог Кембриджский; там все еще стоит длинный деревянный обеденный стол, с высоким стулом, высеченным из руды, на котором сидел герцог. «Этот стул останется здесь навеки», пояснил честный рудокоп и с жаром поведал мне, какие торжества были тогда устроены, как вся штольня разукрашена была огнями, цветами и зеленью, как один из рудокопов играл на цитре и пел, как

довольный герцог, такой любезный и толстый, все пил «за здоровье», и сколько рудокопов, а особенно сам рассказчик, готовы отдать жизнь за милого толстого герцога и за весь Г'нноверский дом. Я внутренне тронут каждый раз, когда наблюдаю такое верноподданническое чувство в его непосредственных проявлениях. Такое прекрасное чувство! И притом, чувство поистине немецкое. Пусть другие народы половчее, и остроумнее и приятнее, но нет народа вернее немцев. Если бы я не знал, что верность стара, как мир, я бы подумал, что она—изобретение немецкого сердца. Немецкая верность! Это не пустое, модное слово. При ваших дворах, князья германские, должно петь и петь без конца песню с верном Эккарте и злом Бургунде, повелевшем убить его детей, и все же не лишившемся верного слуги. Ваш народ—самый верный, и вы заблуждаетесь, полагая, что умный старый пес взбесился внезапно и скалит зубы на священные ваши икры.

Луч рудничной лампочки, с истинно немецкою верностью, не слишком ярко вспыхивая, в тишине и спокойствии вывел нас из лабиринта шахт и штолен. Мы поднялись наверх из спертой со всех сторон и мрачной глупбины, солнце васветило опять.—«Счастливо подняться!

Большинство рудокопов живет в Клаустале и в прилегающем к нему горном городке Целлерфельде. Я посетил некоторых из этих добрых людей, познакомился с их скромною домашнею обстановкою, прослушал несколько песен, премило распеваемых под аккомпанимент цитры их любимого инструмента, заставил рассказать мне старинные горные сказки, а также прочесть молитвы, обычные произносимые ими сообща перед спуском в темную шахту, и не раз от души помолился с ними вместе. Один старый штейгер решил даже, что мне следует остаться здесь и сделаться рудокопом; когда я, всетаки, распрощался с ними, он дал мне поручение к своему брату, живущему недалеко от Гослара, и просил много раз поцеловать его милую племянницу.

Какою бы застывшею и неподвижною в своем покое не казалась жизнь этих людей, все же это истинная, живая жизнь. Древняя, дрожащая старуха, сидевшая за печкою

против большого шкапа, просидела там, может быть, четверть века, и все ее мысли и чувства, несомненно, срослись с углами печки и с резными украшениями шкапа. И печь, и шкаф—живы, так как человек вдохнул в них часть своей души.

Лишь благодаря такой глубине созерцательной жизни, благодаря «непосредственности», возникла немецкая волшебная сказка, особенность которой в том, что не только животные и растения, но и предметы, повидимому, совершенно неодушевленные, говорят и действуют. Вдумчивому и наивному народу, в тиши и уюте его уединенных лесных и горных хижин, открылась внутренняя жизнь этих предметов, получивших, в силу необходимости, прихотливую прелесть и чисто человеческий склад мысли; и вот, мы наталкиваемся в сказках на чудесные и, вместе с тем, на совершенно понятные нам вещи: иголка с булавою уходит от портного и сбивается с дороги в темноте; соломинка и уголь переправляются через ручей и терпят крушение; лопата с метлой, стоя на лестнице, затевают спор и драку; зеркало, в ответ на вопрос, отражает в себе первую красавицу; даже капли крови говорят жутким и темным языком о тревоге и сострадании *). По тем же причинам, так бесконечно значительна наша жизнь в детские годы: в то время все для нас одинаково важно, все доступно нашему слуху и взору, все впечатления соразмерны, тогда как впоследствии мы проявляем больше преднамеренности, вникаем, главным образом, в мелочи, с напряжением обменивая чистое золото созерцания на бумажные деньги книжных определений; выигрывая в широте жизни, мы проигрываем в ее глубине. Вот мы, взрослые люди с положением, мы часто меняем квартиры, служанка ежедневно приводит в порядок и переставляет по своему усмотрению нашу мебель, очень мало нас интересующую, так как она новая и сегодня принадлежит одному, а завтра другому; даже собственное наше платье чуждо нам—едва ли мы знаем, сколько пуговиц на сюртуке, облегающем наше тело; ведь, мы меняем, как можем чаще, принадлежности одежды, и ни одна из них не соответствует личной нашей истории—внутренней и

*) Все эти сюжеты взяты из сказок братьев Гримм.

внешней; мы едва в состоянии вспомнить, каков был тот коричневый жилет, над которым в свое время так смеялись, к широким брызжам которого прикасалась, однако так ласково нежная рука возлюбленной.

Старуха, сидевшая за печкой, против большого шкапа, одета была в узорчатую юбку из вылинявшей материи—свадебный наряд ее покойной матери. Ее правнук светловолосый, остроглазый мальчик, в костюме рудокопа сидел у нее в ногах и считал цветки на ее юбке; она, пожалуй, рассказала ему немало историй об этой юбке историй серьезных и занимательных, они не так-то скоро забудутся мальчиком и часто еще будут вставать в его памяти, когда он, взрослым человеком, будет работать одной ночью в штольнях «Каролины»; он, может быть, долгое время после смерти дорогой своей бабушки, сам уже сереброволосый и угасающий старец, будет рассказывать эти истории в кругу внуков; сидя за печкою, против большого шкапа.

Ночь я провел в той же гостинице «Корона», куда прибыл, между тем, и надворный советник Б. из Геттингена. Я имел удовольствие сделать визит этому старому господину. Расписываясь в книге посетителей и перелистывая страницы за июль, я нашел, в числе прочих драгоценное имя Адальберта Шамиссо*), биографа бедного смертного Шлемиля. Хозяин рассказал мне, что господин этот пожаловал в неописуемо дурную погоду и в такую же погоду уехал.

На следующее утро я вынужден был вновь облегчить свою дорожную сумку и, выбросив за борт пару нахлебавшихся в ней сапог, вскочил на ноги и пустился в Гослару. Добрался я туда—сам не знаю как. Припоминаю только, что карабкался по горам, вверх и вниз; любовался с высоты красивыми видами на зеленые долины, шумели серебристые воды, сладостно щебетали в лесу птицы, стада позванивали колокольчиками, солнце ласково золотило зелень деревьев во всем разнообразии оттенков, а полог неба, голубоватого шелка, был так прозрачен, что взор проникал до самых глубин, в святая святых, где ангелы восседают у подножия Бога, изучая

*) Шамиссо—немецкий писатель, автор.

чертах Его лица генерал-бас. Я же продолжал переживать сновидение минувшей ночи и не в силах был его рассеять. Это была старая сказка о рыцаре, спускающемся в глубокий колодец, где спит прекрасная принцесса, зачарованная тяжким сном. Рыцарь был я сам, колодец — клаустальский рудник; вдруг зажегся яркий свет, из всех боковых щелей повылезали бодрствовавшие там карлики, они начали строить влые гримасы, замахиваться на меня короткими мечами и яростно трубить в рог, созывая все новых и новых; широкие головы их отвратительно раскачивались. Только после того, как я стал наносить удары по этим головам, и потекла кровь, я сообразил, что это были красные, волосатые шишки цветущего чертополоха, которые я сбивал палкою накануне, идя по дороге. Все они тотчас рассеялись, и я проник в роскошный светлый зал. Посредине стояла, под белым покрывалом, возлюбленная моего сердца, застывшая и неподвижная, как статуя; я поцеловал ее в уста и—клянусь Богом живым!—почувствовал благословенное веяние души ее и сладостное дрожание ее губ. Казалось мне, я услышал голос Господень: «да будет свет!» и ослепительно сверкнул луч вечного света; но в то же мгновение настала опять ночь, и все стремительно слилось в каком-то хаосе в одно сплошное, дико бушующее море. Дико бушующее море! по волнам его в смятении носились призраки умерших, белые саваны их развевались по ветру, а за ними гонялся, щелкая бичом, пестрый арлекин, и арлекин этот был я,—но вдруг из темной глубины выставили уродливые свои головы морские чудовища, они стали протягивать ко мне свои распяленные когти, и я от ужаса проснулся.

Как часто портим мы лучшие сказки! Собственно говоря, рыцарь, разыскав спящую красавицу, должен вырезать кусок ее драгоценного покрывала, и, после того, как отвагою своею он разбудит ее от зачарованного сна, и она сядет опять на золотом кресле во дворце своем, рыцарь должен подойти к ней и спросить: «Прекрасная моя принцесса, знаешь ты меня?» И она ответит: «Мой отважный рыцарь, я не внаю тебя». Тогда рыцарь показывает ей вырезанный кусок, в точности подходящий к

покрывалу, оба нежно заключают друг друга в объятия, гремят трубы, и торжественно празднуется свадьба.

В самом деле, я особенно несчастлив: мои любовные сны редко кончаются так прекрасно.

Слово Гослар звучит так отрадно, вызывает столько воспоминаний о древней Империи, что я надеялся увидеть внушительный, величавый город. Но не так бывает когда созерцаешь знаменитость вблизи. Я увидел гнездо с узкими, по большей части кривыми, как лабиринт улицами, через которые кое-где течет речонка, вероятно Гоза; город запущенный и душный, мостовые ухабистые как берлинские гекзаметры. Только древняя оправа города—остатки стен, башен и зубцов—придает ему нечто пикантное. Одна из башен, именуемая Замком, обладает столь толстыми стенами, что в них высечены целые комнаты. Площадь перед городом, на которой происходят знаменитые во всей округе состязания стрелков, представляет обширный зеленый луг, окруженный высокими горами. Рынок невелик, посредине его расположен фонтан, изливающийся в большой металлический водоем. При пожарах быют несколько раз о край его, подается далеко разносящийся звук. О происхождении водоема ничего неизвестно. Некоторые утверждают, что дьявол поставил его на рынке однажды ночью. В те времена люди были еще глупы, глуп был и чорт, и они обменивались подарками.

Госларская ратуша—выкрашенная в белую краску караулка. Соседнее с нею гильдейское здание несколько красивее. Приблизительно на середине между землей и кровлей расставлены изваяния немецких императоров: черные, как сажа, и частью позолоченные, со скипетрами в одной руке и державами—в другой; они похожи на зажаренных университетских педелей. У одного из императоров в руке, вместо скипетра, меч. Я не мог догадаться, к чему эта роскошь; между тем, она, несомненно, имеет значение, так как немец обладает замечательною привычкой—делать и при всяком деле кое о чем размышлять.

В «Руководителе» Готшалька я много кое-чего прочитал о древнем соборе и о знаменитом императорском

троне в Госларе. Но когда я пожелал осмотреть то и другое, мне сказали: собор скрыт, а императорский трон перевезен в Берлин. Мы живем в особо знаменательные времена: тысячелетние соборы срываются, а императорские троны сваливаются в чуланы.

Некоторые достопримечательности блаженной памяти собора выставлены теперь в церкви св. Стефана. Живопись по стеклу, частью великолепная, несколько скверных картин, в том числе, как говорят, один Лука Кранах, далее—деревянное Распятие и языческий алтарь из неизвестного металла, в форме продолговатого, четырехугольного ящика, поддерживаемого четырьмя кариатидами, которые, согнувшись и уперев руки над головами, корчат отчаянные, отвратительные рожи. Рядом с ними еще безотраднее вышеупомянутое деревянное Распятие. Правда, голова Христа, с настоящими волосами и шипами, с лицом, выпачканным кровью, дает мастерское изображение умирающего человека, но не богорожденного Спасителя. Лишь одно физическое страдание вложено в черты этого лица резцом художника, но не поэзией Бога. Такое изображение подходит более к анатомическому театру, чем к храму Божию.

Я расположился в гостинице неподалеку от рынка, и обед показался бы мне еще вкуснее, если бы не подсел ко мне хозяин со своим длинным, скучным лицом и ненужными вопросами; по счастью, вскоре пришло избавление в лице другого путешественника, который, тотчас же по прибытии, подвергся такому же опросу, и в том же порядке: *quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? buando?**) Незнакомец оказался человеком старым, усталым и поношенным и, как выяснилось из его разговора, исколесил всю землю, жил особенно долго в Батавии, заработал там много денег и все опять потерял, а теперь, после тридцатилетнего отсутствия, возвращался в Кведлинбург, свой родной город, «так как», пояснил он, «у моей семьи там фамильный склеп». Хозяин откровенно заметил, что для души собственно безразлично, где будет покоиться тело. «Вы можете подтвердить это документально?»—спросил приезжий, и вокруг скорбных уст его

*) Кто? что? где? каким путем? зачем? как? когда?

и поблекших глаз хитро собрались тяжелые складки. «Однако», боязливо и ободрительно добавил он, «этим я не имею в виду сказать что-либо плохое по адресу чужих могил; турки хоронят своих мертвецов еще красивее, чем мы, их кладбища—настоящие сады, они сидят там на белых, украшенных тюрбанами гробницах, в тени кипарисов, поглаживая серьезные свои бороды и спокойно покуривая свой турецкий табак из длинных турецких трубок; а у китайцев—прямо-таки приятно посмотреть, как они церемонно пляшут вокруг гробниц своих предков, молятся, распивают чай, играют на скрипках и премило украшают могилы золочеными решеточками, фарфоровыми фигурками, лоскутами шелковой материи, искусственными цветами и разноцветными фонариками—очень недурно—а далеко ли отсюда до Кведлинбурга?

Госларское кладбище не очень-то мне понравилось. Тем более, пришло мне по сердцу обворожительная кудрявая головка, приветствовавшая меня, по прибытии моем в город, улыбкою с высоты окна нижнего, несколько приподнятого этажа. Пообедав, я отправился на поиски приглянувшегося мне окна; но там теперь стояла вазочка с белыми колокольчиками. Я взобрался наверх, взял в вазы прелестные цветы и спокойно прикрепил их к шляпе, нимало не смущаясь разинутыми ртами, окаменевшими носами и вытаращенными глазами уличных прохожих, в особенности старух, взиравших на эту явную кражу. Когда, час спустя, я прошелся мимо того же дома, прелестница стояла у окна и, заметив колокольчики на моей шляпе, зарделась и откинулась назад. Теперь я ее явственнее рассмотрел красивое личико; это было нежное и тончайшее воплощение свежести летнего вечернего лунного света, соловьиной песни и аромата роз. Позднее, когда окончательно стемнело, она вышла за дверь на улицу. Я стал подходить, приблизился; она медленно отступает за порог, в темные сени—я беру ее за руку, говорю ей: «я люблю красивые цветы и поцелуи, и красота, чего мне не отдают по доброй воле»,—с этими словами я быстро поцеловал ее, а когда она попыталась скрыться, успокоительно прошептал: «завтра я уезжаю и, наверно, никогда не вернусь»; тут я почувствовал ответное т

петное прикосновение губ и пожатие ручек—и, смеясь, поспешил прочь. Да, я не могу не смеяться, вспоминая, что бессознательно повторил волшебную формулу, при помощи которой наши красные и синие мундиры побеждают женские сердца—чаще, чем при помощи своих обворожительных усов: «Завтра я уезжаю и, наверное, никогда не вернусь».

Из окна моей комнаты открывался великолепный вид на Раммельсберг. Был чудесный вечер. Ночь стремительно неслась на своем черном коне, и ветер развеивал его длинную гриву. Я стоял у окна и глядел на луну. Живет ли, в действительности, кто-нибудь на луне? Славяне утверждают, что там живет человек, по имени Хлотар и что он, выплескивая воду, достигает этим прибыли луны. В детстве я слышал, что луна—плод; когда плод созревает, Господь Бог снимает его и прячет, вместе с другими такими же полнолуниями, в большой шкаф, находящийся на том краю земли, который обшит досками. Когда я стал старше, я заметил, что мир далеко не так узок, и что дух человеческий проник во все деревянные шкапы и вскрыл врата всех семи сфер небесных исполинским ключом Петровым—идеей бессмертия. Бессмертие! Прекрасная мысль! Кто первый тебя выдумал? Был ли то нюрнбергский мещанин, думавший приятные думы, сидя в теплый летний вечер у порога своего дома в белом ночном колпаке, с глиняной трубкой в зубах: было бы недурно, если бы можно было вот так-то и перейти на жительство в вечность, не выпуская трубки изо рта и не испустив дыхания? Или это был молодой любовник, воспринявший мысль о бессмертии в объятиях возлюбленной—потому воспринявший, что он душою ее чувствовал и не мог иначе чувствовать и воспринимать? Любовь! Бессмертие! Я почувствовал внезапно такой жар в груди, что мне показалось, будто географы передвинули экватор, и он проходит теперь через мое сердце. И чувство любви начало изливаться из моего сердца, страстно иливаться—в ночную даль. Сильнее запахло цветы в саду под окном. Запах цветов—это их чувство, и, подобно тому, как сердце человеческое чувствует с большею силою в ночи, когда оно одиноко и никто не услышит, так и цветы, повиди-

мому, тая стыдливость, дожидаются наступления сумерек, чтобы всецело отдаться своим чувствам и излить их в сладостном аромате. Излейся же, чувство моего сердца! за теми горами разыщи возлюбленную снов моих! Она улеглась теперь и спит; у ног ее склонили колени ангелы, и ее сонная улыбка—молитва, которую повторяют за нею ангелы; в груди ее—небо и все блаженство небесное, и, когда она дышит, сердце мое дрожит в отдалении; солнце зашло за шелковыми ресницами очей ее; когда она откроет глаза—наступит день, и запоют птицы, стада загремят колокольчиками, и горы засветятся в своих смарагдовых одеждах, а я подвяжу свою дорожную сумку и пушусь в путь.

В ночь, проведенную мною в Госларе, случилось со мною нечто в высшей степени необыкновенное. До сих пор я без страха не могу об этом вспомнить. По природе я не труслив, но духов боюсь почти так же, как «Австрийский Наблюдатель» *). Что такое страх? Разум или чувство—его источник? На эту тему я неоднократно спорил с доктором Саулом Ашером, встречаясь с ним время от времени в Берлине, в «Café royal», где долгое время обедал. Он утверждал, что мы испытываем страх перед тем, что привнаем страшным путем выводов нашего разума. Только разум, а не чувство, является, по его мнению, силою. Я со вкусом ел и пил, а он излагал мне преимущества разума. Заканчивая свою речь, он смотрел обыкновенно на часы и заявлял: «Разум—высшее начало». Разум! когда я слышу это слово, мне каждый раз представляется доктор Саул Ашер с его абстрактными ногами, в тесном, трансцендентно-сером сюртуке, с резкими, холодными, как лед, чертами лица, которое могло бы быть оттиснуто на чертежах в учебнике геометрии. Человек этот, давно уже перешедший пятидесятилетний возраст, являл собою олицетворение прямой линии. В своем стремлении к положительному, бедняга вытравил, философствуя, из жизни все ее великолепие, все солнечные лучи, всякую веру, весь цвет, и ничто ему не осталось в удел, кроме холодной, положительной могилы.

*) Журнал, выходивший в Вене в 1810-1832 гг.

Особую неприязнь питал он к Аполлону Бельведерскому и к христианству. Против христианства он составил даже брошюру, в которой доказывал его бессмысленность и несостоятельность. Вообще, он написал множество книг, в которых разум неизменно заявляет о своем превосходстве, при чем бедняга доктор относится ко всему этому вполне серьезно и заслуживает, в данном отношении, всяческого уважения. Вся суть в том и заключается, что он строил дурацки-серьезную мину, не понимая того, что ясно всякому ребенку—именно потому, что он—ребенок. Несколько раз побывал я в гостях у разумника доктора и каждый раз встречался у него с хорошенькими девушками; разум, ведь, не исключает чувственности. Когда я как-то вновь собрался посетить его, слуга сказал мне, что господин доктор только что умер. Я почувствовал при этом не более, чем если бы он сказал: господин доктор с'ехал с квартиры.

Но возвращаясь к Гослару. «Высшее начало—разум», сказал я успокоительно сам себе, ложась в постель. Но это не помогло. Только что я прочел в «Немецких рассказах» Варнгагена фон-Энзе, захваченных мною в Клаустале, ужасающую историю о том, как дух покойной матери ночью является к сыну и предупреждает его, что отец хочет его убить. Удивительное изложение так на меня подействовало, что, во время чтения, меня пронизала ледяная дрожь. К тому же, рассказы о привидениях возбуждают еще большее чувство ужаса в путешествии, когда читаешь их ночью, в городе, в доме, в комнате, где никогда еще не бывал. Какие только ужасы не происходили здесь, на том самом месте, где я лежу?—так думается невольно. Кроме того, месяц освещал комнату так двусмысленно, по стенам двигались какие-то непрощенные тени, и, когда я приподнялся в постели, чтобы осмотреться, я увидел...

Нет ничего более жуткого, чем неожиданно увидеть самого себя в зеркале при свете луны. В тот же миг слышались удары тяжкого, как бы зевающего, колокола, и притом такие медленные и протяжные, что после двенадцатого удара прошло, казалось мне, двенадцать часов, и можно было ожидать, что колокол опять начнет бить

двенадцать. В промежутке между предпоследним и последним ударом пробили другие часы, очень быстро, как-то яростно-звонко, может быть, досадуя на медлительность своего сотоварища. Когда умолкли железные языки, один и другой, и во всем доме воцарилась мертвая тишина, мне показалось внезапно, что в коридоре, у дверей моей комнаты, что-то шлепает и шуршит, что-то в роде неровной старческой походки. Наконец, дверь отворилась, и в комнату медленно вошел покойный доктор Саул Ашер. Ледяной озноб прошел по моему телу, я задрожал, как осиновый лист, и едва решился взглянуть на привидение. Доктор был все тот же, тот же трансцендентно-серый сюртук, те же абстрактные ноги, то же математическое лицо; только лицо казалось желтее, чем прежде, рот, обычно составлявший два угла в $22\frac{1}{2}$ градуса, был сжат, и глазницы очерчены большим радиусом. Покачиваясь и опираясь, как всегда, на испанскую тросточку, он приблизился ко мне и дружески произнес, в обычном медлительном тоне: «Не бойтесь и не думайте, что перед вами призрак. Если вы полагаете, что я призрак, то это обман вашей фантазии. Что такое призрак? Дайте определение. Выведите мне условия возможности призраков. В какой разумной связи с разумом могло бы находиться подобное явление? Разум, говорю я, разум». И привидение приступило к анализу понятия разума, привело цитату из Кантовской «Критики чистого разума»: 2-я часть, 1-й отдел, 2-я книга, 3-я глава, различие между феноменами и ноуменами, сконструировало предположительную систему веры в привидения, сопоставило ряд силлогизмов и закончило логическим выводом: привидений, вообще, не бывает. Холодный пот выступил, между тем, на моей спине, зубы стучали, как кастаньеты, из малодушия я кивал головою в знак безусловного согласия, при каждой посылке призрака, утверждавшей бессмысленность страха перед привидениями; он же столь усердно демонстрировал свою мысль, что раз, по рассеянности, вынул из жилетного кармана, вместо золотых часов, пригоршню червей и, обнаружив свою ошибку, с поспешностью, в забавном испуге, засунул их обратно. «Разум выше всего» — тут часы пробили один раз, и привидение исчезло.

На другое утро я пустился в путь из Гослара, отчасти—куда глаза глядят, отчасти—с намерением разыскать брата клаустальского рудокопа. Опять прелестный, радостный воскресный день. Я всходил на холмы и горы, смотрел, как солнце пыталось разогнать туманы, весело брел по шумящим лесам, и колокольчики—цветы Гослара—звоном сопровождали мои грезы. Горы стояли в своих белых почных мантиях, еще страшивая с себя дремоту, свежий утренний ветер приводил в порядок их свешивающиеся зеленые кудри; птички совершали утреннюю молитву, луговая долина блестела, как осыпанный алмазами золотой покров, и пастух ходил по ней за своим позывающим стадом. Собственно говоря, возможно, что я заблудился. Всегда стремишься идти боковыми дорогами и тропинками, думая скорее достичь цели. На Гарце то же, что и в жизни вообще. Но всегда встречаются добрые люди, указывающие нам верный путь; они делают это очень охотно и, кроме того, находят особое удовлетворение в том, чтобы с самодовольным выражением лица, голосом громким и благосклонным пояснить, какой длинный крюк мы сделали, в какие пропасти и болота могли попасть, и какое счастье, что мы своевременно повстречали таких осведомленных о дороге людей, как они. Подобного осведомителя разыскал я недалеко от Гарцбурга. Это был упитанный обыватель Гослара, с лоснящимся, требушиного цвета, дурацки-умным лицом; он походил на человека, придумавшего скотский падеж. Мы прошли некоторое расстояние вместе, при чем он рассказывал мне всевозможные истории о привидениях; истории были бы очень недурны, если бы не били на то, что на деле здесь не было привидений, а белая фигура оказалась браконьером, стонущие звуки издавал только что родившийся кабаненок, а шорох по полу производила домашняя кошка. Только больной человек, по его объяснению, верит в привидения; что касается его самого, то он болеет редко и лишь порою страдает кожными болезнями, от которых всякий раз излечивается, глотая натошак слюну. Он обратил также мое внимание на целесообразность и пользу всего в природе. Деревья зелены потому, что зеленый цвет приятен для глаз. Я согласился с ним и добавил, что

Бог сотворил рогатый скот потому, что говяжий бульон подкрепляет человека; что ослы сотворены затем, чтобы служить людям для сравнений, а сам человек сотворен, чтобы питаться говяжьим бульоном и не быть ослом. Спутник мой пришел в восхищение, найдя во мне единомышленника, лицо его расцвело еще радостнее, и, прощаясь со мной, он совершенно растрогался.

Пока он шел со мною рядом, вся природа была как бы расколдована; но лишь только он удалился, опять заговорили деревья, зазвенели лучи солнца, заплясали луговые цветы, и голубое небо приняло в объятия зеленую землю. Да, я знаю получше: Бог создал человека, чтобы он изумлялся великолепию мира. Всякий автор, как бы он ни был велик, ищет похвал своему произведению. И в Библии—мемуарах Господних—определенно сказано, что он создал людей во славу и похвалу Себе.

После долгого блуждания по всевозможным направлениям, я добрался до жилища брата моего клаустиальского приятеля, переночевал там и прочувствовал следующее прекрасное стихотворение:

I.

На горе стоит избушка,
В ней живет шахтер седой;
Шумны темные там ели,
Светел месяц золотой.

У окна резное кресло,
Чудо-кресло, не скамья,
Кто сидит в нем, тот счастливец,
И счастливец этот—я!

На приступочке малютка
У моих уселась ног;
Глазки—звезды голубые,
Ротик—аленький цветок.

Глазки-звездочки раскрыты
Широко, как небосвод,
И лукаво к пухлым губкам
Свой лилейный пальчик жмет.

„Нет, не бойся, мать не видит:
Села с прялкою к окну,
А отец взял в руки цитру
И поет про старину“.

И малютка продолжает
Тихо в уши мне шептать;
Много тайн за это время
Довелось мне услышать.

„С той поры, как нету тетки,
Не приходится уж нам
Ездить в Гослар на гулянье,
А уж как чудесно там!

Здесь, на этом горном склоне,
Так тоскливо жить одним,
А зимою под снегами,
Как схоронены, сидим.

И при том же, я трусиха.
Как дитя, впадаю в страх,
Только вспомню злобных духов,
Промышляющих в горах“.

Точно слов своих пугаясь,
Прерывает вдруг рассказ,
И обеими руками
Закрывает звезды глаз.

Все шумнее шелест ели,
Громче треск веретена,
И в звенящих струнах цитры
Оживает старина.

„Не страшись, моя малютка,
Злые духи скрылись прочь,
Божьи ангелы на страже
Над тобою—день и ночь!“

II.

Ель протягивает пальцы
И стучится под окном,
Месяц, бледный соглядатай,
Льет сиянье в тихий дом.

Мать с отцом храпят негромко
В ближней спальне, за стеной,
Мы же время коротаем
За блаженной болтовней.

„Булто часто ты молился?
Нет, меня не проведешь—
Неужели от молитвы
На губах такая дрожь?

Эта дрожь, такая злая,
Страх наводит на меня,

Но в глазах твоих сиянье
Благодатного огня.

Сомневаюсь, чтоб ты верил,
Как священник нас учил,
Чтобы ты Отца и Сына
И Святого Духа чтил.

— Милый друг, еще ребенком,
У родимой на руках,
Верил я, что правит миром
Бог-Отец на небесах.

Тот, Кто дивно создал землю,
Человека сотворил,
Кто звездам, луне и солнцу
Их пути определил.

А когда я вырос, крошка,
Много больше я узнал
И, постигнув человека,
В Сына верить тоже стал;

В Сына Божьего, что людям
Дал любовь и чистоту
И, как водится, в награду
Пригвожден был ко кресту.

Я теперь созрел, начитан,
Видел многие края,
И в Святого Духа верю
Всей душой своею я.

Сотворил чудес Он много
И еще творить готов;
Он разрушил замки гордых,
Сокрушил ярмо рабов.

Раны лечит, обновляет
Право древней старины:
Все мы, люди, от рожденья
Благородны и равны.

Гонит он туманы злые
И рассеивает гнет,
Что вкушать любовь и радость
День и ночь нам не дает.

Сотни рыцарей отважных,
В броне панцырей и лат,
Служат Духу Всеблагому,
Волю высшую творят.

Гордо веют их знамена,
И мечи блестят у них,

Ты хотела бы, малютка,
Видеть рыцарей таких?

Так гляди ж смелей мне в очи,
Поцелуй меня! Взгляни!
Я и сам такой же рыцарь,
Рыцарь Духа, как они!"

III.

За зеленой хвоей ели
Месяц тихо прячет лик,
В нашей комнате мерцает
Догорающий ночник.

Только звезды голубые
Светят ярче в поздний час,
И пылает алый ротик,
И она ведет рассказ:

"Эти крошки—домовые
Поедают нашу снедь,
Накануне полон ящик,
Поутру—пустая клеть.

Эти крошки слижут ночью
Наши сливки с молока;
А остатки выпьет кошка
Из открытого горшка.

Да и кошка наша—ведьма,
Ночью вылезет на двор
И гуляет в дождь и вьюгу
По развалинам средь гор.

Там стоял когда-то замок,
В пышных залах яркий свет,
Дамы, рыцари и свита
Танцевали менуэт.

Но однажды злая фея
Нашептала злобных слов,
И теперь среди развалин
Гнезда филинов и сов.

Впрочем, тетка говорила:
Стоит только слово знать
И его в урочном месте
И в урочный час сказать,—

И опять из тех развалин
Стены гордые взойдут,
Дамы, рыцари и свита
Танцевать опять начнут;

Тот, кто скажет слово, станет
Обладателем всего,
Звуки трубные прославят
Светлость юную его“.

Так цветут волшебной сказкой
Алых губок лепестки,
И сверкают в глазках-звездах
Голубые огоньки.

Ниже кудри мне на пальцы
И дает им имена,
И смеется, и целует,
И смолкает вдруг она.

И с таким приветом тихим
Смотрит комната на нас;
Этот стол и шкаф, как будто,
Я уж видел много раз.

Мирно маятник болтает,
Струны цитры на стене
Еле слышно зазвенели,
И сижу я, как во сне:

„Вот урочный час и место,
Вот, когда пора сказать;
Ты, малютка, удивишься,
Как я слово мог узнать.

Лишь скажу, и ночь поблекнет
Не дождавшись до утра,
Зашумят ручьи и ели,
Вздрыгнет старая гора.

Из ущелья понесутся
Звуки, полные чудес,
Запестреет, как весною,
Из цветов веселый лес,

Листья, странные как в сказке,
Небывалые цветы,
Полны чар благоуханья
И пьянящей пестроты.

Розы красные, как пламя,
Загорятся здесь и там,
И колонны белых лилий
Вознесутся к небесам.

Звезды крупные, как солнца,
Запылают над землей, —
В чаши лилий исполненных
Свет вливая голубой.

Мы с тобой, моя малютка,
Всех изменимся сильнее;
Окружат нас шелк и бархат,
Вспыхнет золото огней.

Ты принцессой станешь гордой,
Замком делается дом—
Дамы, рыцари и свита
Пляшут весело кругом.

Все мое—и ты, и замок
В этом сказочном краю,
Славят трубы и литавры
Светлость юную мою!

Взошло солнце. Туманы рассеялись, как призраки при третьем крике петуха. Я снова взбирался на горы и спускался с гор, а передо мною плыло прекрасное солнце, освещая все новые и новые красоты. Дух гор открыто проявлял свою ко мне благосклонность; он знал, конечно, что такой, как я, человек-поэт, может перескаывать много хорошего, и в это утро дал он мне увидеть свой Гарц таким, каким его видел, конечно, не всякий. Но и меня увидел Гарц, каким меня немногие видели: на ресницах моих дрожали брильянты, столь же драгоценные, как те, что светились среди трав долины; утренняя роса любви увлажняла мои щеки, шумящие ели понимали меня, разводя свои ветви и качая ими вверх и вниз, подобно немому, выражающим радость, движением рук, а вдали что-то звучало чудесно и таинственно, будто колокол затерянной в лесу церкви. Говорят, это колокольчики стад, издающие в Гарце такие нежные, ясные и чистые звуки.

Судя по положению солнца, был полдень, когда я встретился с таким стадом, и пастух, приветливый, светловолосый юноша, сказал мне, что высокая гора, у подножия которой я стою,—старинный, знаменитый по всей земле Брокен. На много часов пути вокруг этой горы нет жилья; потому я был очень доволен, когда юноша предложил мне поехать вместе с ним. Мы уселись за завтрак-обед, состоявший из сыра и хлеба; овечки подбирали крошки, прелестные белые телята прыгали вокруг нас.

шаловливо позванивая своими колокольчиками, и их большие, довольные глаза смеялись глядя на нас. Мы погушали по-королевски; вообще, хозяин мой показался мне королем, а так как он единственный король, который дал мне хлеба, то я и хочу воспеть его по-королевски:

* * *

Пастушок — король над стадом,
Холм зеленый — гордый трон,
Над его головкой солнце
Лучезарней всех корон.

В красных бантиках барашки
Нежно ластятся к ногам,
А телята кавалеры
Гордо бродят по лугам.

Средь козлят придворной труппы
Каждый — чудо, не актер, —
А коровьи колокольцы,
Флейты птиц — оркестр и хор.

Он поет, играет нежно,
Тих и нежен дальний гул
Водонадов, стройных елей, —
И король слегка вздремнул.

В это время министерством
Управляет верный пес,
Чье сердитое рычанье
Ветер по полю разнес,

А король сквозь сон бормочет:

„Что за бремя эта власть!

„Хорошо бы к королеве

„Поскорей домой попасть!

„Головой прилечь державной

„К ней на грудь хотел бы я!

„В нежном взоре королевы

„Вся монархия моя!“

Мы дружески простились, и я весело стал взбираться в гору. Скоро вошел я в чащу высоких, до самого неба, елей, к которым питаю всяческое уважение. Дело в том, что этого рода деревьям не так-то легко расти, и в юности им пришлось немало претерпеть. Гора усеяна в этом месте большими гранитными глыбами, и большинству деревьев приходится оплетать их своими корнями, или же разрывать, с трудом находя почву для своего пропитания.

Там и сям громоздятся камни, образуя как бы ворота, а на них стоят деревья, простирая обнаженные корни над каменными воротами и достигая земли лишь у их подножия, так что они кажутся растущими в воздухе. И все-таки, они достигли громадной высоты, как будто срослись с цепко охваченными камнями, и стоят более прочно, чем их мирные товарищи, выросшие на ровном месте, на безобидной лесной почве. Так держатся в жизни те великие люди, которые, преодолев первоначальные препятствия, возмужали и укрепились. Белки карабкались по ветвям елей, а под ними разгуливали желтые олени. Глядя на это милое, благородное животное, я не могу понять, какое удовольствие находят образованные люди в том, чтобы травить его и убивать. Ведь, животное оказалось милосерднее людей и утолило томительную боль святой Женевьевы *).

Густую зелень елей чудесно пронизывали золотые лучи солнца. Древесные корни образовали естественную лестницу. Повсюду мягкие мшистые скамьи; камни поросли, на фут толщиной, красивейшими породами мха, как будто прикрыты подушками светло-зеленого бархата. Нежная прохлада и сонное бормотание ручьев. Видно, как там и сям пробивается под камнями светло-серебристая вода, орошая обнаженные корни и волокна деревьев. Склоняясь над всем этим, как бы подслушиваешь тайный рост их и спокойное биение сердца горы. Кое-где вода с большою силою вырывается из-под камней и корней, образуя маленькие водопады. Здесь хорошо присесть. Крутом такой чудесный шорох и бормотание, птицы издают отрывочные, томительно зовущие звуки, деревья шепчутся тысячью девических голосов, и тысячью девичьих глаз смотрят на тебя особенные горные цветы, протягивая широкие, забавно зазубренные листья; весенние солнечные лучи, играя, скользят там и сям, задумчивые травки рассказывают друг другу зеленые сказки, и все, как зачаровано, все становится таинственней и таинственней, оживает древняя мечта, появляется возлюбленная,—ах, как скоро она исчезает!

*) Женевьева Брабантская (VIII век) была заброшена со своим ребенком в лесу. Согласно легенде, лань кормила их шесть лет своим молоком.

Чем выше взбираешься в гору, тем ниже и приземистее становятся ели; кажется, они все больше и больше с'еживаются, наконец, остаются только кусты черники и красной смородины да торные травы. Тут уже холод чувствительнее. Удивительные группы гранитных обломков явственно заметны, поражая подчас своими размерами. Это, верно, мячи, которыми перебрасываются, играя, злые духи в Вальпургиеву ночь, когда ведьмы приезжают верхом на метлах и навозных вилах, и начинается, по рассказам нянюшки, головоломное проклятое игрище, которое можно созерцать на прекрасных иллюстрациях к Фаусту маэстро Ретцша *). Один молодой поэт, проезжая верхом из Берлина в Геттинген мимо Брокена, в ночь на первое мая, заметил даже, как несколько дам-беллетристок, усевшись в улу на горе, образовали эстетический чайный кружок, с приятностью читали вслух «Вечернюю газету», производили в мировых гениев своих поэтических козлят, прыгавших с бляением у чайного стола, и высказывали в окончательной форме свои суждения о различных явлениях немецкой литературы; но, когда они дошли до «Ратклиффа» и «Альманзора» и начали отказывать автору в набожности и христианском чувстве, волосы у молодого человека встали дыбом, отчаяние овладело им.—он пришпорил коня и ускакал прочь.

В самом деле, когда взбираешься на вершину Брокена, нельзя удержаться от воспоминания об увлекательных горных историях и, в особенности, о великой, таинственной национальной немецкой трагедии доктора Фауста. Мне все время казалось, что следом за мною взбиралось на гору чье-то копыто, и кто-то юмористически переводил дыхание. Думается мне, у самого Мефистофеля захватывает дух, когда он взбирается на свою любимую гору; это в высшей степени утомительная дорога, и я был рад, когда, наконец, увидел долгожданный дом на Брокене.

Дом этот, известный по многим снимкам, состоит всего из одного этажа и находится на вершине горы; выстроен он только в 1800 году графом Штольберг-Вернигероде, на его же счет содержится в доме гостиница. Стены пора-

*) А. М. Ретцш, автор 26 гравюр к «Фаусту» Гете.

зительной толщины, так как приняты во внимание ветер и зимняя стужа; крыша низкая, посредине ее находится вышка в форме башни; рядом с домом расположены два небольших здания, одно из которых служило в прежнее время приютом для посетителей Брокена.

При входе в Брокенский дом я испытал чувство чего-то необычного, сказочного. После долгого одинокого пути среди елей и утесов, переносишься внезапно в облачное жилище; города, горы и леса остаются внизу, а вверху находишь чужое общество удивительного подбора; оно встречает тебя, как водится в таких местах, словно жданного сотоварища, наполовину с любопытством, наполовину равнодушно. Я застал полный дом гостей, и, как подобает разумному человеку, начал уже подумывать о ночи и о неудобствах соломенного тюфяка; умирающим голосом я потребовал себе чаю, и хозяйин Брокенской гостиницы был достаточно сообразителен, чтобы понять, что перед ним больной человек, нуждающийся на ночь в порядочной постели. Таковую постель устроил он мне в своей тесной комнатке, где уже расположился молодой коммерсант, долговязый рвотный порошок в коричневом сюртуке.

В общей комнате застал я сплошной шум и движение. Студенты различных университетов. Некоторые недавно прибыли и отдыхают, другие готовятся к отъезду, завязывают свои сумки, записывают имена в книгу для посетителей и принимают от служанок букеты брокенских цветов; вот где щиплют за щеки, распевают, прыгают, резвятся, задают вопросы, отвечают; пожелания хорошей погоды, доброго пути, «на здоровье», «с Богом!» Некоторые из отъезжающих подвыпили и испытывают двойное удовольствие от красивых видов, так как пьяный видит все вдвойне.

Подкрепившись достаточно, я поднялся на вышку и застал там маленького господина с двумя дамами, молодой и постарше. Молодая дама была прекрасна. Величественная фигура, на кудрявой голове черная атласная шляпа на подобие шлема, белыми перьями играл ветер, стройный стан так плотно охвачен черным шелковым плащом, что обрисовываются благородные формы, а большие

свободные глаза спокойно смотрят в просторный и свободный мир.

Мальчиком я ни о чем не думал, кроме волшебных и сказочных историй, и всякая красавица с страусовыми перьями на голове казалась мне королевою эльфов, а если я даже замечал, что шлейф ее платья подмочен, я принимал ее за русалку. Теперь я рассуждаю иначе, зная из естественной истории, что эти символические перья получают от глупейшей птицы, а шлейф дамского платья может подмокнуть самым естественным образом. Взгляни я глазами мальчика на ту красивую даму с ее красивой позой, я бы конечно подумал: это фея гор, она только что произнесла заклятие, от которого все внизу стало чудесным. Да, в высшей степени чудесным кажется нам все при первом взгляде с Брокена вниз, все стороны нашего духа воспринимают новые впечатления, и впечатления эти, большею частью разнообразные и даже противоречивые, соединяются в нашей душе в одно большое, смутное и непонятное чувство. Если нам удастся познать природу этого чувства, то мы проникаем в характер горы. Характер этот—чисто немецкий, как в недостатках, так и в преимуществах. Брокен—немец. С немецкою основательностью открывает он нам, как в исполинской панораме, сотни городов, городков и сел, лежащих по большей части к северу, и кругом, в бесконечной дали, горы, леса, реки, равнины. Но именно поэтому все кажется резко очерченною, богато расцвеченною географическою картою, и ничто не радует глаза собственно красивыми видами; так оно и бывает с нами, немецкими компиляторами: благодаря честности, с которою мы стремимся в точности передать все, как есть, мы не в состоянии дать ничего красивого в отдельности. Что-то есть также в этой горе немецки спокойное, понятливое, терпимое; именно потому, что с нее все видно далеко и ясно. И если такая гора широко откроет свои исполинские глаза, она увидит несколько побольше, чем мы, близорукие карлики, ползающие по ней. Правда, многие пытаются утверждать, что Брокен—в высшей степени филистер, и Клаудиус напевает: «Блоксберг—филистер долговязый». Но это ошибка. Правда, лысая макушка, которую он прикрывает время от времени

облачным колпаком, придает ему оттенок чего-то филистерского; но, как и у всех других великих немцев, это происходит от чистейшей иронии. Достоверно известно даже, что Брокен переживает свои разгульные, фантастические минуты, например, в первую майскую ночь. Тогда он кидает высоко в воздух свой облачный колпак и становится, подобно другим, романтическим безумцем, в совершенно немецком духе.

Я тотчас попытался завязать разговор с красавицей: ведь наслаждение красотами природы становится полным лишь тогда, когда имеешь возможность тут же высказаться. Она не проявила блестящего ума, но оказалась вдумчивой и внимательной. Манеры поистине благородные. Я разумею не то обычное, натянутое, отрицательное благородство, в точности сознающее, о чем должно молчать, но то, редко встречающееся, свободное, положительное благородство, которое ясно подсказывает, что надо делать, и дает нам, при полной непринужденности, высшую степень уверенности. Я обнаружил, к собственному своему удивлению, обширные познания по географии, назвал любознательной красавице имена всех лежавших перед нами городов, разыскал их и показал на своей карте, раскинув ее на каменном столе посреди вышки, с физиономией настоящего доцента. Несколько городов мне не удалось найти, так как я искал больше пальцами, чем глазами, которые изучали между тем наружность прелестной дамы, находя на лице ее места много интереснее, чем «Чирке» и «Эленд» *). Лицо это принадлежало к числу тех, которые никогда не возбуждают страсти, редко очаровывают и всегда правятся. Я люблю такие лица, они улыбкою своею успокаивают мое мнущееся сердце.

Я не мог догадаться, в каких отношениях мог находиться к своим спутницам маленький господин. Это была тощая, примечательная фигура. Головка, скупно прикрытая седыми волосами, спускавшимися с низкого лба к зеленоватым стрекозиным глазам, круглый, далеко торчащий нос, а вместе с тем, рот и подбородок боязливо оттянуты

*) Деревни у подножия Брокена.

назад к ушам. Личико это казалось сделанным из той нежной желтоватой глины, из которой скульпторы лепят свои первые модели; и когда сжимались его узкие губы, вокруг щек собирались тысячи тончайших, полукруглых морщин. Маленький человек не произносил ни слова и лишь время от времени, когда старшая спутница что-то дружески ему нашептывала, улыбался, как монс, страдающий насморком.

Пожилая дама оказалась матерью младшей и тоже обладала благородными манерами. Глаза ее выражали болезненную, мечтательную задумчивость, около рта лежала складка строгой набожности, но, казалось мне, когда-то этот рот был прекрасен и много смеялся, и получил много поцелуев и много раз отвечал на них. Лицо ее походило на *Codex palimpsestus* где, сквозь невысохший, монашескою рукою вписанный, текст из отцов церкви, просвечивают наполовину стертые стихи древнегреческого эротического поэта. Обе дамы побывали в этом году со своим спутником в Италии и рассказали мне много хорошего про Рим, Флоренцию и Венецию. Мать много говорила о рафаэлевских картинах в соборе св. Петра; дочь более уделила внимания опере в театре Фениче.

Пока мы беседовали, стало смеркаться. Повеяло холодом, солнце склонилось ниже, и площадка башни наполнилась студентами, мастеровыми и несколькими почтенными горожанами, с их супругами и дочерьми, желавшими полюбоваться закатом солнца. Это величественное зрелище настраивает душу на молитвенный лад. Почти четверть часа стояли все в строгом молчании, смотря, как огненный шар постепенно опускается к западу; лица были освещены лучами вечерней зари, руки непроизвольно складывались; казалось, мы стоим тихою общиною в приделе исполинского собора, и пастырь поднимет Тело Господне, и из органа льются звуки вечного хора Палестрины **).

Стоя таким образом, погруженный в глубокую задумчивость, слышу я, как кто-то рядом со мною громко про-

*) *Codex palimpsestus* или *rescriptus*—древняя рукопись, в которой первоначальные письма стерты и поверх вписан новый текст.

**) Джованни Палестрина (1514—1594), знаменитый духовный композитор.

износит: «Как прекрасна, вообще говоря, природа!» Эти слова вырвались из переполненной груди моего товарища по комнате, молодого купца. Я вернулся, благодаря этому, к своему будничному настроению, оказался в состоянии рассказать дамам кое-что дельное о солнечном закате и спокойно проводил их в их комнату, как будто бы ничего и не произошло. Они разрешили мне побеседовать с ними еще с час. Как сама земля, разговор наш вертелся вокруг солнца. Мать высказала: солнце, погружаясь в туманы, походило на пылающую красную розу, брошенную галантным небосводом в широко раскинутый белый подвенечный плащ его возлюбленной—земли. Дочь улыбалась и говорила, что частое созерцание подобных явлений природы ослабляет впечатление от них. Мать внесла поправку в этот ложный взгляд, приведя цитату из «Путевых писем» Гете *) и спросила меня, читал ли я Вертера. Кажется, мы говорили также об ангорских кошках, этрусских вазах, турецких шаях, макаронах и о лорде Байроне, при чем пожилая дама процитировала несколько строк из его произведений, относящихся к закату солнца, очень мило лепеча и вздыхая. Я рекомендовал молодой даме, которая не понимала по-английски и желала познакомиться с этими произведениями, переводы моей прекрасной, высокоодаренной соотечественницы, баронессы Элизы фон-Гогенгаузен, при чем не преминул, согласно обыкновению своему в разговоре с дамами, распространиться о безбожии Байрона, его черством сердце, безнадежности, и еще Бог знает о чем.

Покончив с этим, я вышел еще раз прогуляться по Брокену; здесь, ведь, никогда не бывает совсем темно. Туман был негустой, и я мог различить очертания обоих холмов, из которых один зовется алтарем ведьм, а другой чортовой кафедрой. Я разрядил свои пистолеты, но эхо не отозвалось. Внезапно слышу я знакомые голоса и чувствую, как меня обнимают и целуют. Оказались земляки, покинувшие Геттинген спустя четыре дня после меня и очень изумленные тем, что нашли меня в полном одиночестве на Блоксберге. Настал черед рассказам, удивлению,

*) См. Гете «Письма из Швейцарии» 2-ая часть (Письмо от 3 октября 1779 г.)

переговорам, смеху и воспоминаниям, и душою мы перенеслись в нашу ученую Сибирь, где культура стоит на такой высоте, что медведей привязывают у гостиниц, а соболи приветствуют охотника пожеланием доброго вечера.

В общей комнате состоялся ужин. Длинный стол, и за ним два ряда голодных студентов. В начале обычный университетский разговор: дуэли, дуэли и опять дуэли. Общество составляли, главным образом, галлевцы, и главной темой беседы был поэтому Галле. Все происходящее за окнами квартиры надворного советника Шютца *) было основательно освещено и перетолковано. Потом говорили, что последний прием у Кипрского короля сошел блестяще, что он назначил своим наследником незаконного сына и взял в супруги с левой стороны Лихтенштейнскую принцессу, уволил в отставку законную свою сожительницу, растроганное министерство, в полном составе, проливало слезы, согласно предписанию. Нет нужды пояснять, что речь шла о достоинствах пива в Галле. Затем разговор коснулся двух китайцев, которых можно было видеть два года назад в Берлине, и которые теперь оказались приват-доцентами в Галле, по кафедре китайской эстетики. Пошли остроты. Предположили такой случай: немец показывает себя за деньги в Китае; по этому случаю изготовлен особый анонс, в коем мандарины Чинг-Чанг-Чунг и Хи-Ха-Хо удостоверяют, что это настоящий немец и перечисляют способности немца, состоящие, главным образом, в умении философствовать, курить табак и проявлять терпение; тут же указано, что не следует в двенадцать часов, когда происходит кормление, приводить с собою собак, так как они имеют обыкновение воровать у бедного немца лучшие куски.

Молодой бурш, недавно с'ездивший в Берлин с целью освежиться, много, но весьма односторонне рассказывал об этом городе. Он побывал у Высоцкого и в театрах; о том и о другом судил он ложно: «Юность поспешна на слова, и т. д.» Он толковал о расходах на костюмы, о скандалах в кругу актеров и актрис, и т. п. Молодой чело-

*) Х. Г. Шютц, профессор университета в Галле, известный филолог.

век не знал, что в Берлине, где внешность имеет преимущественное значение, о чем свидетельствует известное выражение «все так делают», показная сторона должна особенно пышно расцвести на подмостках, и дирекция театров должна проявлять более всего заботы о «цвете бороды, назначенной для такой-то роли», о верности костюмов, проектируемых присяжными историками и изготавливаемых портными с научною подготовкою. Это необходимо. Ведь, если бы на Марии Стюарт надет был передник времен королевы Анны, банкир Христиан Гюмпель в праве был бы жаловаться, что лишился всякой иллюзии; и если бы лорд Берлей, по рассеянности, надел штаны Генриха IV, конечно, военная советница фон-Штейнцопф, рожденная Лилиентау, весь вечер страдала бы от такого анахронизма. Эта заботливость генеральной дирекции об иллюзии распространяется, однако, не только на передники и панталоны, но и на носящие их персонажи. Так, в будущем роль Отелло должна исполняться настоящим чернокожим, которого профессор Лихтенштейн *) выписал с этою целью из Африки; в «Ненависти и раскаянии» **) Евлалию должна будет играть действительно погибшая женщина, Петра—действительно глупый мальчишка и Неизвестного—действительный тайный рогоносец,—всех трех, конечно, незачем выписывать из Африки. Если вышеупомянутый молодой человек плохо уяснил себе условия берлинского театра, то тем меньше он обратил внимания на спонтинаевскую оперу из жизни янычар, с ее трубами, слонами, литаврами и там-тамами,—всем, что служит героическим средством для укрепления воинственного духа в нашем дремлющем народе, средством, которое рекомендовалось, в качестве государственного, Платоном и Цицероном. Менее всего уразумел молодой человек дипломатическое значение балета. С трудом удалось мне доказать ему, что в ногах Гоге больше политики, чем в голове Бухгольца ***), что все его пируэты символизируют дипломатические обстоятельства, что каждое его движение имеет отношение к политике, и что, например,

*) М. Г. К. Лихтенштейн, профессор зоологии в Берлине.

**) „Ненависть к людям и раскаяние“—популярная комедия А. Коцебу (1789 г.).

***) П. Ф. Бухгольц, историк (1768—1843 г.).

он имеет в виду наш кабинет, когда, страстно пригибаясь вперед, простирает далеко руки; что он намекает на союзный сейм, вертясь до ста раз на одной ноге и не двигаясь с места; что он имеет в виду маленькие княжества, когда семенит по сцене, как будто со связанными ногами; изображает европейское равновесие, качаясь туда и сюда, как пьяный; представляет конгресс, изогнув руки и сжав их в плотный клубок; и, наконец, что он разумеет нашего непомерно великого друга на Востоке, когда, постепенно поднимаясь в высоту, застывает надолго в таком положении и вдруг пускается в устрашающие прыжки. Завеса упала с глаз молодого человека, и он понял, почему танцовщики лучше оплачиваются, чем великие поэты, почему балет служит неистощимою темою для разговоров в дипломатическом корпусе, и почему хорошенькая танцовщица нередко встречает неофициальную поддержку министра, который, конечно, дни и ночи старается втолковать ей свою политическую системку. Клянусь Аписом, велико число экзотерических посетителей театра и мало число эзотерических! Глупая публика стоит и глазеет, и удивляется прыжкам и поворотам, изучает анатомию по позам г-жи Лемьер, аплодирует антраша г-жи Рениш, болтает о грации, о гармонии и о бедрах—и никто не замечает, что письменами танца пишется перед ним грядущая история немецкого отечества.

Меж тем как разговор касался того и другого, не упущено было и полезное, и должное внимание отдано было большим блюдам, добросовестно нагруженным мясом, картофелем и т. п. Однако, кушанья были плохие; об этом я вскользь заметил своему соседу; но тот, с акцентом, выдающим швейцарца, отвечал совсем не вежливо, что нам, немцам, чуждо понятие об истинной свободе, а также—об истинной умеренности. Я пожал плечами и ответил, что истинные княжеские лакеи и поставщики вкусных вещей—всюду швейцарцы, так преимущественно и называются *), и что вообще нынешние герои швейцарской свободы, болтающие публично так много и смело о политике, кажутся мне теми зайцами, которые на ярмарочных

*) Игра слов: швейцарец и швейцар.

площадях стреляют из пистолетов, вызывая изумление детей и крестьян,—и все же остаются зайцами.

Сын Альпов не имел, конечно, злых намерений; «это был толстый человек, следовательно—добрый человек», как говорит Сервантес. Но сосед мой с другой стороны, рейфвальдец, был очень задет таким заявлением; он стал утверждать, что немецкая жизненность и простота еще не угасла, и, с треском колотя себя в грудь, осушил громадную кружку светлого пива. Швейцарец сказал: «Ну, ну!» Однако, чем успокоительнее настраивался швейцарец, тем яростней затевал ссору рейфвальдец. То был человек из эпохи, когда вши благоденствовали, а парикмахеры могли умереть с голоду. Его длинные волосы болтались, на нем был рыцарский берет, черный сюртук старо-немецкого покроя, грязная рубашка, служившая одновременно жилетом, и под нею—медальон с клочком волос, принадлежавших белому Блюхеровскому коню. С виду, это был дурак в натуральную величину. Я охотно совершаю моцион после ужина, а потому позволил себе вступить с ним в спор. По его мнению, Германию следовало разделить на тридцать три округа. Я утверждал, напротив, что их должно быть сорок восемь, ибо в этом случае можно было бы издать систематический путеводитель по Германии, а, ведь, жизнь необходимо сочетать с наукою. Мой рейфвальдский приятель оказался также немецким бардом, и поведал мне, что работает над национальной героической поэмою для прославления Германа и его битвы. Я дал ему кое-какие полезные указания для завершения эпического труда, обратив его внимание на то, что он мог бы изобразить путем соответствия между формою и содержанием, водянистыми и неровными стихами, болота и скалистые тропинки Тевтобургского леса, и что было бы особенно патриотично и тонко вложить в уста Вару и прочим римлянам сплошь одни глупости. Надеюсь, что этот искусный прием удастся ему, как и другим берлинским поэтам, до полнейшей иллюзии.

За нашим столом становилось все шумнее и развязнее, вино вытеснило пиво, задымились пуншевые чаши. Пили, чокались, пели песни. Зазвучал старинный ландфатер *)

*) Название танца.

и великолепные песни В. Мюллера, Рюккерта, Уланда и др. прекрасные мелодии Метфесселя *). Лучше всего прозвучали немецкие слова нашего Арндта: «Господь, железо сотворив, рабов создать не мыслил». А на дворе шумело, как будто старая гора подпевала, и некоторые из друзей, покачиваясь, утверждали даже, что Брокен кивает своею лысою головою, а потому наша комната трясется. Бутылки пустели, головы наполнялись. Тот рычал, этот подпевал тонким голосом, третий декламировал из «Вины», четвертый говорил по-латыни, пятый проповедывал умеренность, а шестой, взобравшись на стул, поучал: «Господа! земля—круглый вал, люди—отдельные шипы на нем, разбросанные, повидимому, бесцельно, но вал вертится, шипы цепляются то здесь, то тут, одни часто, другие редко, получается чудесная, сложная музыка, называемая всемирною историею. Итак, мы начинаем с музыки, переходим к миру и заканчиваем историей; последняя делится на положительную часть и на шпанских мух». И так далее—то со смыслом, то бессмысленно.

Симпатичный мекленбуржец погрузил нос в бокал с пуншем и блаженно вдыхал его пары; он заметил при этом, что чувствует себя, как у стойки театрального буфета в Шверине. Другой держал перед глазами рюмку с вином на подобие зрительного стекла и, казалось, внимательно рассматривал что-то сквозь нее, а красное вино лилось по его щекам в открытый рот. Грейфвальдец, внезапно воодушевясь, бросился ко мне в объятия и бесновался: «Пойми меня. я люблю, я счастлив, мне отвечают любовью и, клянусь Богом, она—образованная девушка: у нее пышный бюст, она носит белое платье и играет на фортепьяно». Швейцарец же плакал, нежно целовал мою руку и непрерывно стонал: «О Бэбели! О Бэбели!»

Среди этой суматохи, когда начали плясать тарелки и летать стаканы, я увидел сидевших за столом против меня двух юношей, прекрасных и бледных, как мраморные изваяния. Один из них походил больше на Адониса, другой на Аполлона. Вино легким, еле заметным румянцем оживляло их щеки. С выражением безграничной любви

*) А. Г. Метфессель (1784—1869), популярный автор многих песен.

смотрели они друг на друга, как будто читая в глазах, и в этих глазах что-то блеснуло, точно несколько капель света попало в них из переполненной пылающей любовью чаши, которую чистый ангел переносит с одной звезды на другую. Они говорили тихо, голосом дрожащим от тоскливой страсти: то были печальные повести, звучавшие дивною болью. «Лора тоже умерла», сказал один из них, вздохнув, и после некоторого молчания рассказал про девушку из Галле, влюбившуюся в студента. Когда студент покинул Галле, она ни с кем не стала разговаривать, мало ела, плакала день и ночь, и все время смотрела на канарейку, подаренную ей когда-то возлюбленным. «Птичка умерла, а скоро после этого умерла и Лора», так закончил он рассказ, и оба замолчали, вздыхая, как будто сердце у них разрывалось. Наконец, один произнес: «Душа моя скорбит! Пойдем вместе в темную ночь. Я хочу вдохнуть в себя воздух туч и лунные лучи. Товарищ мой по скорби! я люблю тебя, слова твои звучат, как шопот тростника, как шелест потока, они находят отзвук в сердце моем, но душа моя скорбит!»

Юноши поднялись, один из них обвил рукою шею другого, и оба покинули шумную комнату. Я последовал за ними и увидел, как они вошли в темную комнату, как один открыл, вместо окна, большой платяной шкаф, как оба остановились перед ним, страстно протянув руки, и начали говорить поочередно: «Вечание сумеречной ночи», воскликнул один, «как освежаешь ты мои щеки! как нежно играешь ты моими развевающимися кудрями! Я стою на вершине облачной горы, подо мною раскинулись в дремоте людские города и блестят голубые воды. Чу! там внизу в долине шумят ели! Там по холмам бредут туманные образы, духи отцов. О, если бы я мог вместе с вами мчаться на коне-туче сквозь бурную ночь, над волнами моря, вверх, к звездам! Но увы! я полон скорби, душа моя грустит». Другой юноша точно также простер свои руки, в страстном порыве, к платяному шкафу, слезы брызнули из его глаз, и скорбным голосом произнес он, обращаясь к брюкам желтой кожи, принимаемым им за луну: «Прекрасна ты, дочь неба! Блаженно нежное спокойствие лица твоего! Ты плывешь, полная прелести! По голубым

следам твоим текут на Востоке звезды. Видя тебя, радуются тучи и мрачные их очертания озаряются светом! Кто сравнится с тобою в небе, порождение ночи? В присутствии твоём звезды смущаются от стыда и отводят в сторону вспыхивающие зеленым блеском очи! Куда сойдешь ты со своего пути, когда под утро побледнеет лицо твоё? Есть ли у тебя, как у меня, убежище? Не живешь ли ты в тени скорбей? Сестры твои—не упали ли они с неба? Их нет больше, радостно совершавших с тобою вместе ночной путь. Да, они упали, прекрасный светоч, и ты часто скрываешься, чтобы скорбеть о них. Но настанет ночь, и ты—и ты уйдешь, покинув свои голубые пути в высоте! Тогда звезды поднимут свои зеленые очи, удивившиеся когда-то твоего присутствия, и возрадуются. Но теперь ты одета в наряд из лучей и смотришь вниз, из врат небесных. Разорвите вы, ветры, покровы туч, чтобы могла засиять дочь ночи, чтобы засветились поросшие кустами горы и море покатило бы среди блеска пенящиеся валы!»

Хорошо знакомый мне приятель, не слишком тощий,—он больше пил, чем ел, хотя проглотил и сегодня вечером, как обыкновенно, порцию говядины, достаточную для насыщения шести лейтенантов гвардии и одного невинного дитяти,—прибежал в великолепном настроении, то-есть в совершенно свинском образе; втолкнув обоих элегических друзей не слишком-то нежно в шкаф, он загромыхал по направлению к выходной двери и поднял на дворе убийственную возню. Шум в зале делался все бессвязнее и глуше. Юноши стонали в шкапу и скорбели по поводу того, что лежат разбитые, у подножия горы; благородное красное вино лилось у них горлом, они поочередно орошали им друг друга и один говорил другому: «Прощай! Я чувствую, что истекаю кровью. К чему будишь ты меня, воздух весны? Ты ласкаешь меня и говоришь: я освежаю тебя небесною влагою. Но близок час, когда я увяну, близок ураган, который развеет мои листья. Завтра придет путник, придет путник, видевший меня в красе моей, взор его будет искать меня кругом, в поле, и не найдет!» Но все покрывал знакомый бас, с богохульствами жаловавшийся перед дверьми, среди проклятий и ликования, что

на всей темной Вендской улице нет ни одного фонаря, и что не видно даже, у кого вышиблены оконные стекла.

Я много могу выпить—скромность не позволяет называть числа бутылок—и я добрался до своей спальни в довольно сносном состоянии. Молодой коммерсант лежал уже в постели, в своем белоснежном колпаке и шафранно-желтой фланелевой гигиенической куртке. Он еще не спал и пробовал завязать со мною разговор. Он был из Франкфурта-на-Майне, а потому тотчас же завел речь о том, что евреи лишены чувства красоты и благородства и продают английские товары на 25% ниже их фабричной стоимости. Мне захотелось слегка его помистифицировать, и я сказал ему, что я лунатик и заранее прошу у него извинения на случай, если помешаю ему спать. Бедняга сам признался мне на другой день, что всю ночь не спал из-за этого, опасаясь, как бы я, в состоянии сомнамбулизма, не натворил бед с пистолетами, лежавшими у моей постели. По существу, и мои дела были немногим лучше—я спал очень плохо. Дикие, наводящие страх, фантастические картины! Клавираусцуг из Дантова «Ада». В конце концов, мне пригрезилось, что я присутствую на представлении юридической оперы *Falcidia* *), текст Ганса **), из области наследственного права, музыка Спонтини. Сумасшедший сон! Римский форум был великолепно освещен. Азиний Гешен ***), восседая в кресле в качестве претора и горделиво кутаясь в складки тоги, изливался в громовых речитативах; Марк Туллий Эльверс ****), *Prima Donna legataria*, во всем обаянии нежной своей женственности, пел полную любовной неги бравурную арию *quicumque civis Romanus* *****); наруганные, словно кирпичем натертые, докладчики рычали, изображая хор несовершеннолетних; приват-доценты, одетые геньями, в трико телесного цвета, танцевали до-юстиниановский балет и украшали цветами двенадцать таблиц; среди грома и молний появился из-под земли воплощенный дух

*) Фальцидий, народный трибун, изданный в 40 г. до Р. X. *Lex Falcidia*—закон о правах наследства.

**) Э. Ганс, знаток наследственного права.

***) И. Ф. Л. Гешен (1778—1837), знаменитый профессор права в Берлине и Геттингене.

****) Х. Ф. Эльверс (1797—1858), профессор права в Геттингене.

*****) Начальные слова второй главы *Lex Falcidia*.

римского законодательства, после чего трубы, там-тамы, огненный дождь cum omni causa.

Из этой сутолоки извлек меня хозяин брокенской гостиницы, разбудивший меня, чтобы я мог посмотреть на восход солнца. На башне застал я несколько человек, они в ожидании потирали озябшие руки; другие, еще сонные, взбирались наверх. Наконец, вчерашняя тихая община оказалась в полном сборе, и молча созерцали мы, как на горизонте поднялся небольшой, ярко-красный шар. разлился зимний сумеречный свет, горы поплыли среди белоснежного моря, и виднелись только их верхушки, так что, казалось, стоишь на небольшом холме среди залитой водою равнины, и лишь кое-где выступают небольшие участки суши. Чтобы запечатлеть в словах виденное мною и прочувствованное, сочинил я следующее стихотворение:

Все светлее на востоке,
Тлеет солнце, разгораясь,
И кругом поплыли горы,
Над туманами качаясь.

Мне надеть бы скороходы,
Чтобы с ветром поравняться,
И над этими горами
К дому милой резко мчаться.

Тихо полог отодвинуть
В изголовьи у голубки,
Целовать тихонько лобик
И рубиновые губки.

И в ушко ее чуть слышно
Прошептать: пускай приснится
Сон, что мы друг друга любим
И что нам не разлучиться.

Между тем, желание позавтракать было не менее сильно, и, сказав дамам несколько любезных фраз, я поспешил вниз, чтобы выпить кофе в теплой комнате. И пора было: в желудке моем было пусто, как в госларской церкви св. Стефана. Но вместе с аравийским напитком по жилам моим пролился жаркий Восток, повеяло благоухание восточных роз, зазвучали сладостные песни, студенты превратились в верблюдов, служанки из бро-

кенского домика с их Конгревскими *) взорами,—в гурь, носы философов стали минаретами, и т. д.

Но книга, лежавшая около меня, не была Кораном. Правда, глупостей там было достаточно. Это была, так называемая, Брокенская книга, куда все путешественники, взбирающиеся на гору, заносят свои имена, а большинство из них—и мысли свои, а за недостатком таковых—свои чувства. Многие прибегают к стихотворной форме. Из этой книги видно, как ужасно, когда шайка филистеров, в подобающем случае, как например, здесь, на Брокене, решается взяться за поэзию.

Во дворце принца Паллагонийского **) не найти столько безвкусицы, сколько в этой книге; на страницах ее в особенности блещут господа акцизные чиновники с их прокисшими чувствами, конторские юноши, патетически изливающие свою душу, старо-немецкие диллетанты от революции с их общими местами и берлинские школьные учителя с их избитыми выражениями восторга. Г. Иоганн Хагель желает тоже быть писателем. Тут описывается великолепная пышность солнечного восхода; там—жалобы на дурную погоду, на обманутые ожидания, на туман, скрывший все виды. «Поднялся в тумане и спустился отуманенный»—вот острота, повторяемая здесь сотнями людей.

Книга отдает, вообще, запахом сыра, пива и табака; кажется, читаешь роман Клаурена ***).

В то время, как я пил таким образом кофе, перелистывая Брокенскую книгу, вошел швейцарец с покрасневшими щеками и, полный одушевления, рассказал мне о величественном зрелище, коим он наслаждался на башне, когда чистый, спокойный свет солнца—символ истины—боролся с ночными туманами; это было похоже на битву духов, где великаны в гнев обнажают свои длинные мечи, рыцари, в панцырях, носятся на бешеных конях, из дикого хаоса вылетают боевые колесницы, развеваю-

*) Сэр Вильям Конгрев (1772—1828), изобретатель ракет, названных его именем.

**) См. описание этого дворца в „Итальянских письмах“ Гете, — Палермо, 9 апреля 1787 г.

***) К. Г. Гейн (1771—1854) — псевд. Х. Клаурен — автор повестей, стихотворений и драм, имевших успех во времена Реставрации.

щиеся знамена и сказочные звериные образы, пока, наконец, все не смешается в безумном неистовстве, не побледнеет, тая, и не исчезнет бесследно. Я прозевал, оказывается, это демагогическое зрелище природы и, если бы дошло до расследования, я могу клятвенно заверить, что ничего не знаю, кроме вкуса хорошего жареного кофе. Ах, этот кофе был виною и тому, что я забыл о своей красавице, и вот она стоит перед дверьми, вместе с матерью и спутником, намереваясь сесть в коляску. Я едва успел добежать и уверить ее, что сегодня холодно. Казалось, она была недовольна, что я не пришел раньше; но морщины на ее прекрасном лбу разгладились, когда я подарил ей чудесный цветок, сорванный мною накануне с опасностью для жизни с отвесной скалы. Мать пожелала узнать название цветка, словно она находила неприличным, чтобы дочь ее прикрепила чужой, незнакомый цветок у себя на груди—и, правда, цветок заслуживал этого завидного места, о котором он, конечно, и не мечтал вчера, на своей одинокой высоте. Тут молчаливый спутник внезапно открыл рот, сосчитал тычинки цветка и сказал весьма сухо: «Цветок принадлежит к восьмому классу».

Я сержусь каждый раз, когда вижу, как прелестные божьи цветы делают, как людей, на касты, и притом по внешним признакам—по различию тычинок. Если уж нужны разделения, лучше следовать Теофрасту *), предлагавшему делить цветы по признакам духа, именно, по запаху. Что касается меня, то у меня в естественных науках своя система, и, в согласии с нею, я делю все на с'едобное и нес'едобное.

Таинственная природа цветов была, впрочем, вполне знакома пожилой даме, и она невольно высказала, что цветы очень радуют ее, когда растут в саду или в горшках, но что, напротив, сердце ее дрожит от тихой, полной боязливой мечтательности, боли, когда она видит сорванный цветок—ведь это, собственно, труп, и этот труп, обломанный и нежный, грустно опускает свою увядшую головку, как мертвое дитя. Дама почти испугалась мрачного оттенка собственного замечания, и я

*) Теофраст, род. в 390 г. до Р. Х.,—ученик Платона и Аристотеля, автор трудов по ботанике.

счел своим долгом рассеять его несколькими вольтеровскими стихами. Как, однако, пара французских слов способна вернуть нас к подобающему приличному настроению. Мы засмеялись, последовали поцелуи рук, милостивые улыбки, лошади заржали, и коляска, медленно и тяжело подпрыгивая, покатила под гору.

Тут и студенты стали готовиться к отъезду, дорожные сумки были подвязаны, счета, оказавшиеся, сверх всякого ожидания, умеренными, оплачены; восприимчивые служанки, со следами счастливой любви на лицах, принесли, как водится, брокенские букеты, помогли прикрепить их к шляпам и были вознаграждены за это несколькими поцелуями или грошами, и мы спустились вниз, под гору; одни, в том числе швейцарец и грейфвальдец, направились по дороге к Ширке, другие, приблизительно человек двадцать, среди них—мой земляки и я, в обществе проводника, потянулись по, так называемым, снежным ямам к Ильзенбургу.

Можно было голову сломить. Студенты из Галле маршируют быстрее австрийского ополчения. Прежде чем я опомнился, обнаженная верхушка горы, с разбросанными по ней группами камней, оказалась позади нас, и мы вступили в тот еловый лес, который я видел вчера. Солнце лило свои праздничные лучи, освещая смешно и пестро одетых буршей, бодро шагавших через заросли, то пропадавших в них, то снова появлявшихся; они переходили болотистые места по деревянным поперечинам, цеплялись на крутых спусках за висячие корни, распевали в ликующем тоне и были столь же весело приветствуемы нежно щебечущими птицами, шумящими елями, невидимо журчащими ручьями и отзвуками эхо. Когда встречаются веселая юность и прекрасная природа, они радуются друг другу взаимно.

Чем ниже спускались мы, тем ласковее журчали подземные воды; лишь там и сям, под камнями и зарослями, просвечивали они, подсматривая, казалось, осторожно, можно ли выйти на свет; наконец, небольшой поток с решимостью пробился из под земли. Тут обнаруживается обычное явление: смельчак начинает, и робкая толпа.

охваченная, к собственному изумлению, духом мужества, спешит к нему присоединиться. Множество других источников забурлило теперь из своих скрытых недр, соединилось с пробившимися вперед, и скоро они образовали немалый ручеек, сбегаящий с горы в долину бесчисленными водопадами, с причудливыми излучинами. Это—Ильза, предестная, милая Ильза. Она течет по благословенной долине Ильзы, по обе стороны которой все выше и выше вздымаются горы, заросшие, до подножия своего, большею частью буками, дубами и обыкновенным лиственным кустарником: елей и других хвойных деревьев больше нет. В «Нижнем Гарце», как именуется восточный склон Брокена, преобладают лиственные породы, в противоположность западному склону, который называется «Верхним Гарцем»; он, действительно, гораздо выше, что более благоприятствует росту хвойных деревьев. Невозможно описать, как радостно, непринужденно и грациозно низвергается Ильза с причудливых утесов, встречаемых ею на пути, так что в одном месте вода неистово взлетит кверху или разбегается в пене, в другом—льется чистою дугообразною струею, как из кувшина, сквозь трещины камней, а внизу перебегает по мелким камням, как резвая девушка. Да, предание говорит правду: Ильза—принцесса, которая, смеясь и цвеля, сбегает с горы. Как блещут при свете солнца ее нежные одежды! Как развеваются по ветру серебряные ленты на груди ее! Как искрятся и горят ее брильянты! Высокие буки стоят возле, точно ее родители, и со скрытою улыбкою любят резвостью милого ребенка; белые березы качаются, как тетушки, радуясь и, вместе с тем, опасаясь за слишком смелые прыжки; гордый дуб посматривает, как брюзга-дядюшка, которому придется за все это платить; птички в воздухе радуются ее успехам, цветы по берегам нежно шепчут: «Возьми нас с собою, возьми с собою, милая сестричка!»—но веселая девушка неудержно прыгает дальше, и вдруг хватает мечтающего поэта: на меня льется цветущий дождь звенящих лучей и лучистых звуков, я теряю голову от сплошного великолепия и слышу только сладостные, как флейта, звуки:

Зовусь я принцессой Ильзой
И в Ильзенштейне живу;
Пойдем со мной в мой замок—
К блаженству на яву.

Чело твое омою
Прозрачною волной,
Забудь про скорбные мысли,
Унылый друг мой, больной.

В объятьях рук моих белых,
На белой груди моей
Ты будешь лежать и грезить
О сказках прошлых дней.

Обниму тебя, зацелую,
Как мной зацелован был
Мой император Генрих,
Что вечным сном почил.

Не встать из мертвых мертвым,
И только живые живут;
А я цветка прекрасней,
И сердце бьется—вот тут.

Вот тут смеется сердце,
Звенит дворец средь огней,
Танцуют с принцессами принцы,
Ликует толпа пажей.

Шуршат атласные шлейфы,
И шпоры звенят у ног,
И карлики бьют в литавры,
И свищут, и трубят в рог.

Усни, как спал мой Генрих,
В объятьях нежных рук;
Ему я прикрыла уши,
Как трубный раздался звук.

Чувство бесконечного блаженства неизъяснимо, когда мир явлений сливается с нашим внутренним миром, и в пленительных арабесках сплетаются зеленые деревья, мысли, пение птиц, грусть, голубое небо, воспоминания и запах трав. Женщинам более всего знакомо это чувство, а потому, может быть, и блуждает вокруг губ их прелестная, недоверчивая улыбка, когда мы с гордостью школьников похваляемся логичностью своих поступков—как

правильно поделено у нас все на об'ективное и суб'ективное, как головы наши снабжены тысячами выдвижных ящичков: в одном—разум, в другом—ум, в третьем—острота, в четвертом—скверная острота, а в пятом—и во все ничего, то-есть идея.

Продолжая путь свой, как во сне, я почти не заметил, как мы прошли долину Ильзы и поднялись опять в гору. Подъем был крутой и трудный, у многих из нас захватывало дыхание. Но, подобно покойному кузену нашему, похороненному в Мелльне *), мы заранее представляли себе спуск с горы и были довольны. Наконец, достигли мы Ильзенштейна.

Это—громадный гранитный утес, смело и свободно поднимающийся из глубины. С трех сторон окружают его высокие, покрытые лесом горы, но четвертая, северная—открыта, и отсюда видны расположенные внизу Ильзенбург и Ильза, далеко бегущая по низинам. На верхушке утеса, имеющей форму башни, стоит высокий железный крест; кроме того, в случае нужды, там поместятся еще четыре человека.

Как природа разукрасила Ильзенштейн, в смысле местоположения и формы, фантастическою прелестью, так и народное предание окружило его розовым сиянием. Готшалк сообщает: «Говорят, здесь был очарованный замок, в котором жила богатая, прекрасная принцесса Ильза, до сей поры купающаяся каждое утро в Ильзе; и кому посчастливится увидеть ее во время, того отведет она к утесу, где ее замок, и вознаградит по-королевски». Другие передают прелестный рассказ о любви Ильзы и рыцаря Вестенберга, воспетой столь романтически одним из самых известных наших поэтов в «Вечерней Газете». Другие опять рассказывают по другому: был будто бы древне-саксонский император Генрих, проводивший истинно королевские часы с Ильзою, прекрасною феею вод, в ее очарованном замке на утесе. Писатель новейшего времени, его высокородие г. Ниман **), составивший путеводитель по Гарцу, в коем он с похвальным усердием

*) В Мелльне, близ Любека, показывают могилу Тилля Эйленшпигеля, которому народное предание приписывает бесчисленные шутовства и проделки.

**) Л. Ф. Ниман. «Путеводитель по Гарцу».

дает точные цифровые данные о высоте гор, отклонениях магнитной стрелки, задолженности городов и т. п., утверждает: «Все, что рассказывают о прекрасной принцессе Ильзе, принадлежит к области сказок». Так говорят все те, кому никогда не являлась принцесса, но мы, пользующиеся особым благоволением красавиц, знаем все лучше. Знал это и император Генрих. Не даром древне-саксонский император так тяготел к своему родному Гарцу. Стоит лишь перелистать очаровательную «Люнебургскую Хронику», где воспроизведены чудесные, от чистого сердца исполненные гравюры, изображающие этих старых, добрых государей, закованных в броню, восседающих на боевых конях с гербами, со священной императорскою короною на голове, со скипетром и мечом в мощных руках; а на их славных лицах ясно можно прочесть, как часто тосковали они по милым сердцу принцессам Гарца и по доверчиво шумящим гарцевским лесам на чужбине, может быть, в обильной лимонами и ядами Италии, куда постоянно влекло их и их преемников желание именоваться императорами римскими—истинно немецкая страсть к титулам, погубившая и императоров и Империю. Но я советую всякому, кто стоит на вершине Ильзенштейна, не думать ни об императорах, ни об Империи, ни о прекрасной Ильзе, а думать только о своих ногах. Дело в том, что, когда я стоял там, погруженный в мысли, я услышал внезапно подземную музыку очарованного замка и увидел, как горы кругом меня опрокинулись вершинами книзу, красные черепичные крыши Ильзенбурга заплясали, и зеленые деревья начали носиться в голубом воздухе, так что все позеленело и поголубело у меня перед глазами; в припадке головокружения, я несомненно упал бы в пропасть, если бы не ухватился, спасаясь, за железный крест. Никто не поставит мне, конечно, в упрёк, что я, находясь в столь бедственном положении, поступил так.

«Путешествие в Гарц»—отрывок и отрывком останется. Пестрые нити, столь красиво вплетенные с тем,

чтобы слиться в одно гармоническое целое, перерезаются внезапно, как бы ножницами непреклонной Парки. Может быть, я, в будущих своих песнях, продолжу пряжу свою, и во всей полноте скажу о том, о чем теперь скупом умолчал.

В конце концов, не все ли равно, когда и где что-либо высказано, если только это вообще высказывается. Пусть отдельные произведения остаются отрывками, лишь бы они вместе составили одно целое. В таком случае, будут пополнены те или иные недочеты, устранены неровности и смягчены излишние резкости. Быть может, так бы вышло с первыми же страницами «Путешествия в Гарц», и они произвели бы менее кислое впечатление, если бы читатель узнал, что нерасположение, которое я, в общем, питаю к Геттингену, хотя и более того, чем оно мною высказано, но далеко не столь велико, как уважение, внушаемое мне отдельными тамошними личностями. И к чему бы мне умалчивать? Я в особенности имею здесь в виду того дорогого мне человека, который еще в прежнее время принял во мне дружеское участие, внушил мне уже тогда искреннюю любовь к занятиям историей, впоследствии укрепил во мне интерес к этим занятиям и тем направил дух мой на более спокойные пути, дал благотворный исход моим жизненным чувствам и уготовал, вообще, для меня те исторические утешения, без которых я никогда бы не вынес мучительных переживаний обыденности. Я говорю о Георге Сарториусе *), великом историке и человеке, чье око—яркая звезда в наше темное время и чье обширное сердце открыто для чужих страданий и радостей, для нужд короля и нищего, для последних вздохов погибающих народов и их богов. Я не могу также не указать, что Верхний Гарц—та часть Гарца, которую я описал, вплоть до начала долины Ильзы, далеко не имеет столь радостного вида, как романтически живописный Нижний Гарц, и дикой красотой своей, своими сумрачными елями представляет с последним резкий контраст; равным образом, три долины, образуемые в Нижнем Гарце реками Ильзою, Бодою и Зелькою, прелестнейшим об-

*) Профессор в Геттингене.

разом отличаются друг от друга, если олицетворить характер каждой долины. Это—три женских образа, и не так-то легко решить, который из них прекраснее.

О милой, прелестной Ильзе, о том, как прелестно и мило она меня принимала, я поведал уже в прозе и стихах. Сумрачная красавица Бода приняла меня не столь милостиво, и, когда я впервые увидел ее в темном, как кузница, Рюбеланде, она оказалась мрачно настроенною и завернутою в свой серебристо-серый дождевой плащ. Но быстро, в порыве любви, сбросила она его, когда я достиг вершины Ростраппы, лицо ее засветилось мне навстречу лучезарным великолепием, все его черты выразили величайшую нежность, и из скованной, утесистой груди ее вырвался как бы вздох страсти, вместе с замирающими звуками скорби. Менее нежною, но более веселой, показала мне красавица Зелька, прекрасная и любезная дама, благородная красота и ясное спокойствие которой не дают места сентиментальной фамильярности; но она, все же, своею полускрытою улыбкою, говорит о шаловливом нраве; последнему и приписываю я то обстоятельство, что в долине Зельки меня постиг ряд мелких неудач: пытаюсь перепрыгнуть через ручей, я шлепнулся прямо в середину его, затем, когда я переменил намокшую обувь на туфли, одна из них исчезла, порыв ветра сорвал с меня шляпу, лесные колючки изранили мне ноги и так далее, к сожалению. Но все эти проделки я прощаю прекрасной даме, ибо она прекрасна. И теперь стоит она передо мною в воображении, во всей своей тихой прелести и, кажется мне, говорит: «Если я и смеюсь, то все же без злого умысла, и я прошу вас, воспойте меня». Величественная Бода также возникает в воспоминании моем, и темный взор ее говорит: «Ты подобен мне в гордости и страдании, и я хочу, чтобы ты полюбил меня». И красавица Ильза прибежала вприпрыжку, ворожа и чаруя лицом, станом и движениями; она совершенно похожа на прелестное существо, наполняющее блаженством мои грезы, и смотрит на меня так же, как та, с непреодолимым равнодушием и вместе с тем так проникновенно, так вечно, так глубоко правдиво... Ну, что же, я—Парис, передо мною три богини, и я вручаю яблоко прекрасной Ильзе.

Сегодня первое мая; морем жизни изливается над землею весна, деревья—в белой пене первого цвета, широко стелется всюду теплый, туманный блеск; в городе радостно блестят оконные стекла, на крышах опять вьют гнезда воробьи, по улицам бродят люди и удивляются, что воздух захватывающе хорош и что у них так чудесно на сердце; пестро одетые крестьянки предлагают букеты фиалок; дети-сироты в синих блузках, со своими милыми незаконнорожденными личиками, проходят через Девичью горку и радуются так, будто им суждено сегодня найти отца; нищий на мосту смотрит таким довольным взором, точно он выиграл в лотерею первый выигрыш; даже черного, еще неповешенного маклера, снующего там с мошенническим, мануфактурно-торговым лицом, дарит солнце своими бесконечно терпимыми лучами,—я пойду из города, за ворота.

Сегодня первое мая, и я думаю о тебе, прекрасная Ильза—или назвать мне тебя «Агнесой», ведь, имя это нравится тебе больше всего?—я думаю о тебе, и мне хотелось бы вновь смотреть, как ты, сияя, сбегашь с горы. Но больше всего хотелось бы мне стоять внизу, в долине, и принять тебя в свои объятия... Прекрасный день! Повсюду зеленый цвет, цвет надежды. Повсюду, как прелестное чудо, распускаются цветы, и опять хочет расцвести мое сердце. Это сердце тоже цветет и притом чудесно. Оно—не скромная фиалка, не смеющаяся роза, не чистая лилия или другой подобный им цветочек, радующий своею чинною прелестью сердце девушки, красующийся на красивой груди, увядая сегодня, завтра расцветая вновь. Сердце это более походит на тяжелый, причудливый цветок лесов Бразилии, который, по преданию, расцветает только раз в столетие. Помню, мальчиком я видел такой цветок. Ночью слышали мы выстрел, как из пистолета, а на утро соседские дети рассказали мне, что это распустился внезапно с таким треском их цветок—алоэ. Они провели меня в сад, и здесь увидел я к своему изумлению, что приземистое жесткое растение, с дурацки широкими, остро зазубренными листьями, о которые легко можно обрезать, теперь поднялось высоко, и над ним, как золотая корона, распустился великолепный цветок. Мы, дети,

не могли видеть так высоко, и старый ухмыляющийся Христиан, который любил нас, устроил вокруг цветка деревянный помост, мы взбирались на него, как кошки, и с любопытством любовались открытой чашей цветка, откуда с неслыханным великолепием струились, вместе с желтыми лучистыми нитями, какие-то дикие, незнакомые ароматы.

Да, Агнеса, не часто и не легко расцветает это сердце; помнится, оно цвело только раз, и это было давно, не менее, чем сто лет назад. Думается мне, как великолепно ни распустился тогда цветок, он должен был зачахнуть от недостатка света и тепла, если только не был уничтожен мрачною зимнею бурей. Но теперь что-то волнуется и растет в моей груди, и если ты услышишь вдруг выстрел—не бойся, девушка! я не застрелился, это—любовь моя разорвала свою оболочку и взметнулась в высь в лучистых песнях, в вечных дифирамбах, в полноте радостной гармонии. А если моя высокая любовь слишком высока для тебя, девушка, устройся удобнее, взойди на деревянный помост и смотри с высоты его на мое цветущее сердце.

Еще рано, солнце не совершило половины своего пути, а сердце мое благоухает уже так сильно, что в голове туманится, и я перестаю понимать, где кончается Ирония и начинается Небо; воздушное пространство одушевляю я вздохами, и сам хотел бы растечься в благодетельных атомах, в предвечности Божества; что же будет, когда наступит ночь, и звезды появятся на небе, «у тех несчастных звезд узнаешь скоро ты...»

Сегодня первое мая, сегодня последний грязный лапочник в праве быть сентиментальным, неужели же откажешь ты в том поэту?

Перевод с немецкого

В. Зоргефрея.





ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ

REISEBILDER

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Второй том „Путевых Картин“ вышел в апреле 1827 года. В него вошли: „Северное Море“ (части вторая и третья), „Идеи“ и „Письма из Берлина“. Во втором издании Гейне выбросил вторую часть „Северного Моря“ и „Письма из Берлина“, присоединив, вместо того, в конце книги песни „Новой Весны“.

Второе издание было снабжено следующим предисловием:

„Вторую часть „Северного Моря“, которая открывала собою этот том в первом издании, я включил, во втором издании, в первый том; далее, я опустил в этом новом издании дюжину страниц из „третьей части „Северного Моря“ и, наконец, здесь вовсе нет „Писем из Берлина“. Эта экономия говорит сама за себя. Я не пожелал восполнить пробел, происшедший таким образом в этом томе, путем включения части третьего тома. Этот последний, третий том „Путевых картин“ снискал уже себе успех у моих друзей в настоящем своем виде; духовное его единство обуславливается именно этим видом, а потому мне не хотелось бы пожертвовать ни одною строчкою в нем или же внести какое-либо иное изменение, хотя бы и совсем незначительное. Пробел, образовавшийся в этом, втором томе, я попытался пополнить новыми весенними стихами. Я отдаю их на суд с тем меньшею претензиею, что в Германии, как мне отлично известно, нет недостатка в лирических стихотворениях в этом роде. Кроме того, невозможно дать в этой области что-либо лучше того что создано уже старыми мастерами, в особенности Людвигом Уландом, так прелестно и грациозно воспевающим любовную страсть и веру минувшей эпохи замков и монастырей.

Правда, эти благочестивые и рыцарские тона, эти отзвуки средневековья, которым еще недавно, в период патриотической ограниченности, вторили со всех сторон, замирают в настоящее время в грохоте новейшей освободительной борьбы, в сутолоке

всеобщего европейского братания народов, под ликующе-скорбные, страстные звуки тех современных песен, которые, не измышляя гармонии чувств в католическом духе, беспощадно, по-якобински, вскрывают эти чувства в интересах истины. Интересно следить за тем, как та и другая лирическая школа заимствуют временами друг от друга крайности форм. Еще интереснее, если в сердце поэта слились оба эти рода.

Не знаю, встретили ли подобающее признание „Эрато“ барона Франца фон-Гауди и „Книга Эскизов“ Франца Куглера; обе книжечки, недавно только вышедшие, произвели на меня такое глубокое впечатление, что мне, во всяком случае, приходится особенно горячо рекомендовать их.

Я бы, может быть, высказался более обстоятельно о немецких поэтах, но внимание мое слишком отвлечено некоторыми другими современниками, занятыми в настоящее время установлением свободы и равенства в Европе.

Париж 20 июня 1831 г.

Генрих Гейне“.

В первом издании книга заключалась следующим примечанием:

„Писателю часто приходится нелегко: условия первостепенной важности требуют, чтобы книга, которую он собирается выпустить в свет, содержала больше 20 печатных листов, в то время как он своими блестящими „Идеями“ может заполнить только половину. В таком случае, в качестве балласта, приходят на помощь Ганноверское дворянство и Письма из Берлина. Может выйти и так, что во второй части „Путевых картин“ появится не все, что обещано в заключительной заметке к первой части, напр., перечень опечаток; таковой, может быть, будет помещен только в третьей части. Обращаю особое внимание друзей автора на эту заключительную заметку, на тот случай, если бы они пожелали поделиться с ним своими впечатлениями“.

Третья часть „Северного Моря“ передает впечатления и мысли, занимавшие Гейне на острове Нордерней летом 1825 и 1826 гг. Уже в 1825 г. поэт собирался описать свои купальные путешествия, но только после второй поездки, в следующем году, нашел для этого настроение и охоту. Гейне считал, что все равно, что описывать: „ведь, все есть Божий мир и достойно наблюдения, а чего я не высмотрю из вещей снаружи, то увижу внутри их“. Действительно, Гейне не долго удержался в грани-

пах темы, и сам признается, что в этом произведении говорит „обо всех вещах и еще о нескольких“. Он побуждает, кроме того, многих друзей давать ему полезные для произведения мысли, которые он введет, конечно, не выдавая их за свои. „Мне все тут может понадобиться“, пишет он Мозеру. „Отрывочные изречения о состоянии науки в Берлине, Германии или Европе—кто может их набрать легче, чем ты? И кто может пустить их в ход легче, чем я? Гегель, санскрит, доктор Ганс, сомволика, история—что за богатство тем!“ Из письма к Фарнгагену: „Также и третья часть „Северного Моря“ состоит из писем, в которых я могу сказать все, что мне угодно; это я пишу, чтобы показать вам, как мне легко во вторую часть „Путевых картин“ вплести все, что я хочу. Если у вас есть в этом направлении какое-нибудь желание, если вы хотите видеть что-либо высказанным, или одного из ваших друзей выбранным, сообщите мне, или лучше напишите сами в моем стиле; эти лоскутки я вплету в мою книгу, и вы можете положиться на мою скромность. Я решил теперь говорить все, и меня мало заботит, будет у меня врагов дюжиной больше или дюжиной меньше. Угодно ли вам внести в мои „Путевые картины“ целые отрывки, или вы хотите только прислать мне проскрипционные листки,—я весь в вашем распоряжении“. То же предложение Гейне повторяет в 1827 г., взявшись за редактирование „Политических Аппалов“.

Фарнгаген не воспользовался предложением ни в первый, ни во второй раз. Также не оказал содействия и Мозер; только Карл Иммерман прислал забронированные ксензии, составляющие окончание третьей части „Северного Моря“. Гейне воспользовался этими ксензиями в дальнейшей литературной полемике; особенно досталось драматургу фон-Ухтрицу. Мы не даем перевода этих ксений, так как они слишком злободневны и не принадлежат перу Гейне.

В III части „Северного Моря“, наряду с „образами“, проходящими в сознании поэта, есть еще точные „картины“ природы, описания мест и людей. Начинается произведение с замечательного противопоставления островитян „культурным“ людям: у первых—мало индивидуального, всеобщее духовное равенство; у вторых, напротив, полное разнообразие, чувство рода и народа проявляется мало. Попытку социального объединения в прошлом Гейне видел только в ненавистном ему влиянии католической церкви; попыткам будущего (в том числе и коммунистическим)

он не мог довериться по всему строю своего существа; поэтому, Гейне стоит на точке зрения индивидуалистической и делает свойственный ему уклончивый вывод, предпочитая всему свободу личности, „отрывочные моменты состояния, близкого к божескому на высоких ступенях духовного нашего достоинства“, и обрушиваясь на одряхлевшего римского паука, в паутину которого „попадают только бабочки и летучие мыши, но не северные орлы“.

Замечательно отношение к Наполеону, перед именем которого слабеет гейневская ирония; поэт начинает говорить о нем торжественным языком, что особенно сказалось в „Идеях“; даже столь объективные исследователи, как Эльстер, имеют потребность „извинять“ это отношение тем, что Гейне — „еврей из рейнской провинции“, и тем, что книги, на которых он основывается, — Мэйтленд, Лаказ, О'Мира и Антомарки, — дают извращенный и льстивый портрет императора. Едва ли эти „извинения“ особенно убедительны; нам кажется, что отношение Гейне к Наполеону имело более глубокие основания; не было ли оно вызвано потребностью найти живое положительное начало в той пустыне, которую сам Гейне своей иронией создал вокруг себя?

Интересно отметить также отношение соотечественников Гейне к Наполеону; вот что говорит об этом Г. Брандес: „Ни один из великих немцев конца прошлого столетия не знал национальной ненависти... Если мы обратимся к эпохе Виланда, то найдем и у него столь же восторженное поклонение Наполеону, опередившее ход исторических событий... В 1793 году Гете совершил поход во Францию, в качестве зрителя, не имея ни искры чувства национальной вражды“. Потом он „с величайшим равнодушием смотрел, как Наполеон разбивал вдребезги королевство Фридриха II...“ Гегель пишет из Иены: „Я видел императора, императора, эту мировую душу... Не только великие предшественники и наставники Гейне, но и его современники точно также поклонялись Наполеону и не питали к нему ни малейшей национальной ненависти: таким поклонником Наполеона был, между прочим, Фарнгаген фон-Энзе“.

Наш текст воспроизводит второе немецкое издание (1831 года), последнее, просмотренное поэтом. Вот наиболее значительные варианты, заимствованные из первого издания:

Вместо слов „я бы скорее признал в факте появления на свет младенцев с физиономиями курортных гостей психологиче-

ский феномен"... и т. д., были следующие: „Притом же сюда на время купаний пересадили с материка одну персону, которая должна воспринимать в себя все грехи приезжих и этим гарантировать островитянок от всех пагубных влияний. Но это мера дурная, она пригодна не для маленького острова, а, во всяком случае, для большого приморского города, где общественные лица служат как бы крепостями и громоотводами, чем гарантируется нравственность бюргерских дочерей; и мне, действительно, показывали в Гамбурге широкую женскую фигуру, которая, таким образом, закрывает полстены, а равно и длинный, тощий громоотвод женского рода, которым бывает защищена летом Большая Иоаннова улица“.

Страницей ниже, после слов: „указывая на опасность для нравов, грозящую островитянам, я не упомянул о духовной защите от нее—о их церкви“,—стояло: „Пастор—здоровенный мужчина, с большой головой, который, повидимому, не изобрел ни рационализма, ни мистицизма, и его важнейшая заслуга в том, что в его доме квартировала одна из первых красавиц здешнего мира“.

Среди рассуждений о ганноверском дворянстве, после слов „и ни один звук британского свободного гимна не слышен был в яростном ржании ганноверских коней“, стояло: „А что такое звук британской свободы—я узнал только недавно, когда в страшнейшую морскую бурю увидел несущийся на парусах английский корабль, где на палубе стояло много людей, которые с почти преступною строптивостью ревели громче волн и ветра свое старое: „Rule, Britannia, rule the waves, Britons never shall be slaves!“

Наконец, последний абзац, после фразы: „... нужно сравнить литературы наших соседей по ту сторону Рейна и Канала с нашей пустынной литературой“, читался так:

„Часто, прочтя „Morning Chronicle“ и находя в каждой его строке английский народ с его национальностью, с конскими скачками, боксом, петушиными боями, судом присяжных, парламентскими прениями и т. п., я с печальным сердцем беру в руки немецкую газету, и отыскиваю там моменты народной жизни и не нахожу ничего, кроме литературной бабьей болтовни и театральных сплетен.

„Но ничего иного и ожидать нельзя. Когда в народе подавлена всякая общественная жизнь, он всетаки ищет предметов

для общего обсуждения, и тут к услугам его в Германии являются писатели и комедьянты. Вместо конских скачек, у нас есть книжная скачка на лейпцигскую ярмарку. Вместо боксов, мы имеем мистиков и рационалистов, которые колотят друг друга в своих памфлетах до тех пор, пока первые не начнут признавать разум, а вторые не потеряют способность слуха и зрения и не впустят в свои умы веру. Вместо петушиных боев, есть у нас газеты, где горемыки, которых за то кормят, пачкают друг у друга доброе имя, между тем, как филистер радостно восклицает: „Смотри, это главный петух! Вот у того оторвали гребешок! А у этого, какой острый клюв! Этому молодому петушку следует прежде поупражнять в писании свои перья, надо его прищипорить“, и т. д. В таком же роде обладаем мы и судом присяжных, и это—кляксапапирные саксонские, литературные саксонские газеты, где каждый дурак судится себе равными по законам литературного уголовного права, которое держится теории устрашения и всякую книгу наказывает, как преступление. Если у автора ее окажется несколько ума, степень преступления увеличивается. Если же он может доказать *alibi* ума, то наказание смягчается. Конечно, при этом литературном уголовном судопроизводстве огромным недостатком является и то, что судейскому усмотрению предоставлен такой простор, тем более, что наши книжные судьи, совершенно, как Фальстаф, не обязаны представлять основания своих решений, а иногда даже они сами тайные грешники, и предвидят, что завтра будут судимы теми же, над которыми сегодня произнесли приговор. Молодость, по нашему литературному уголовному кодексу—значительно смягчающее обстоятельство, и не одного старого писателя присуждают к легкому наказанию в силу того, что признают его за ребенка. Даже добытое в последнее время опытом открытие, что молодыми людьми, в пору развития их физической зрелости, овладевает болезненная страсть к поджогам, тоже оказало влияние на эстетику, и вследствие этого стали снисходительнее судить разные огненные трагедии, напр., трагедию того пламенного юноши, который—шутка сказать!—поджег царский дворец в Персеполисе. Имеем мы—чтоб продолжать сравнения—в некоторой степени парламентские прения, и тут я имею в виду наши театральные рецензии; да и сам наш театр можно основательно назвать нижнею палатой, благодаря многому низменному, в нем процветающему,

благодаря кучам французского дерьма, которое наша публика поедает совершенно спокойно, даже если ей в тот же самый вечер дали комедию Раупаха—подобно мухе, которая, будучи согнана с горшка с медом, тотчас же садится на скверность и с наилучшим аппетитом заканчивает ею свою трапезу. Тут я намекаю главным образом на „Обращенных“ Раупаха, которых видел я прошедшею зимою в Гамбурге, в исполнении превосходнейших актеров, имевших точно такой же большой успех, как „Проказы школьников“, раздушенное дрянцо, данное в заключение того же спектакля. На нашем театре, однако, процветает не только навоз, но и яд. Действительно, когда я слышу, как в наших комедиях священнейшие обычаи и чувства выводятся таким безнравственным тоном и с такою легкомысленною уверенностью, что, в конце концов, сам привыкаешь смотреть на них, как на лишние всякого значения вещи, когда слышу я все эти лакейские объяснения в любви, сентиментальные дружеские союзы с целью совместного надувательства, веселые планы обманывания родителей или супругов, и всяческие другие стереотипные мотивы комедии—ах, тогда овладевает мною внутренний ужас и беспредельная скорбь, и с боязливой печалью смотрю я на бедные, невинные ангельские головки, которым, конечно, не без успеха, преподносятся в театре подобные вещи.

„Жалобные вздохи об упадке и испорченности немецкой комедии, вылетающие из честных сердец, критическое рвение Тика и Циммермана, которым очищение нашего театра стоит больше труда, чем Геркулесу—работа в конюшнях Авгия, потому что наши театральные конюшни приходится очищать в то время, когда быки еще находятся там, стремления высокодаровитых людей основать романтическую комедию, превосходнейшая и в высшей степени меткая сатира, какова напр. „Райская птица“ Роберта—ничто не помогает; вздохи, советы, попытки, удары бича—все это шевелит только воздух, и каждое слово, на этот счет произносимое, действительно произносится на ветер.

„Наша верхняя палата—трагедия, показывает себя в более благоприятном свете—именно в отношении кулис, декораций и костюмов. Но и тут имеется своя цель. В римском театре слоны плясали на канате и высоко прыгали; дальше, однако, человек в придумывании штук пойти не мог, и римская империя погибла,

а при этом случае погиб и римский театр. На наших сценах, трагедии также не терпят недостатка в плясках и прыжках, но и то и другое исполняется здесь самими молодыми драматургами, и так как бывали случаи, что женщины вследствие больших прыжков внезапно превращались в мужчин, то и женщина-поэт поступает в самом деле хитро, когда своими хромыми ямбами пытается делать большие александрийские прыжки.

Книга „Le Grand“ гораздо значительнее третьей части „Северного Моря“. Посвящение „Эвелине“ научно не объяснено до сих пор; Эльстер видит в Эвелине, уже упоминавшейся в „Северном Море“, — Терезу Гейне, а в „Madame“, к которой обращается поэт, мать Амалии и Терезы (?). Место действия некоторых глав, по мнению того же исследователя, — деревенский дом Соломона Гейне; терраса, река и розовые кусты описаны позже в отдельных стихотворениях.

Книга свидетельствует об очень разнообразных познаниях, какие редко встречались в то время. Гейне, называвший самого себя в шутку „самым умным человеком своего времени“, не мог почерпнуть их ни из какой энциклопедии. Дядя Соломон считал его невеждой, и поэт хотел, вероятно, опровергнуть это мнение о себе, создавшееся у гамбургских родных; им же он хотел доказать свое умение зарабатывать деньги; следы всех этих родственяных отношений Эльстер видит в „Идеях“.

Здесь можно различить отчетливо две части: личную и неличную — отношение к мировым событиям и к Наполеону.

Сначала Гейне собирался ввести в книгу „Бахарахского Раввина“, но произведение это появилось гораздо позже; тут же хотел он поместить написанные несколькими годами ранее „Мемуары о Польше“, и наконец, „Письма о Гамбурге“.

О своем произведении Гейне был очень высокого мнения. Вот отрывки из писем его к разным лицам по этому поводу: „Если мое здоровье только немного поправится, то II часть „Путевых картин“ будет самой интересной и самой удивительной книгой, какая может появиться в наше время“. „Эта часть должна быть из ряду вон выходящей книгой и наделать много шума. Я должен создать нечто сильное“. „II том будет помпезный и должен тебя удивить“. „Относительно II тома „Путевых картин“ вы можете лелеять самые смелые ожидания, т. е. можете ждать много смелого; будет ли хорошее? Это вопрос другой. Во всяком случае, вы увидите, что я говорю свободно и благородно“.

бичую все дурное, пусть даже оно в почете и обладает властью". „Ты увидишь, *le petit bonhomme vit encore*. Книга сильно на шумит, не из-за личного скандала, а из-за больших мировых вопросов, о которых она говорит. Наполеон и французская революция выведены здесь в натуральную величину".—„Было необходимо, чтобы это было написано. В наше мелкое рабское время должно было что-нибудь случиться, и я сделаю свое дело и пристыжу тех жестокосердых друзей, которые когда-то хотели сделать так много, а теперь молчат. Стоя навывтяжку во фронте, даже самые трусливые рекруты оказываются храбрыми, но настоящее мужество выказывает тот, кто стоит один". „Я стяжал этой книгой необыкновенно много приверженцев и популярность в Германии; когда выздоровею, могу сделать многое; голос мой теперь раздается далеко. Теперь ты часто будешь слышать его—посылающим громы против полицейских мыслей и притеснителей священнейших прав. Я получу совсем экстраординарную профессию в университете высокой духовности".

Книга всюду возбудила движение. Фарнгаген писал поэту: „Внимание, большое внимание привлекла ваша книга; Дюммлер и К° (*Consorten*) называют ее с точки зрения книгопродавческой хорошей, но читатели запинаются, они не знают, должны ли держать удовольствие про себя, отрекаясь от него вслух; даже друзья поступают ужасно добродетельно, как порядливые ученые и „бюргеры"—„словом (добавляет Гейне), из рабского страха все ругают".

Вскоре после пребывания в Мюнхене Гейне писал Юлиусу Кампе: „Всюду во время моего путешествия нашел я „Путевые картины" *en vogue* (в ходу), всюду энтузиазм, сетования и удивление, и я, право, никогда не думал, что я уже настолько знаменит".

Правительства Ганновера, Пруссии, Австрии, Мекленбурга и т. д. поспешили запретить книгу, вследствие чего она только выиграла в славе и спросе. Кампе пришлось, несмотря на обычай выпускать большие издания, перепечатать ее в 1831, 1843, 1851 и 1856 году. Сам Гейне не был свидетелем успеха—в день выхода книги он уехал в Лондон. Он пишет: „Меня гнал не страх, но правило мудрости, рекомендуемое не рисковать там, где нечего выиграть".

Значительных вариантов указать нельзя, что лишний раз доказывает, что книга написана вдохновенно. Что касается критиков, то они встретили вторую часть „Путевых картин" очень

разнообразно и нестройно. Интересно привести их отзывы, — они характерны для своего времени.

Берлинский „Conversations-Blatt“ выказывает жалкую робость: рецензент боится синяков; он предпочитает подобрать фалды и встать на цыпочки, чтобы не наткнуться на рискованную шутку.

„Gesellschafter“ очень многословен, но его замечания любопытны: „Читателю здесь всегда платят наличными, пусть это будет приятное удивление, веселая удовлетворенность, грандиозный под'ем, неудержимый смех или тайная злоба, сильное нетерпение, возмущенное недовольство... Нету только никакой скуки, для которой у читателя не хватает времени от избытка и быстрой смены предметов, быстрой шутки и картин. Что поражает прежде всего, это крайняя смелость, с которой книга выдвигает все личное в жизни, личное самого поэта, окружающих его друзей и врагов, в местных особенностях городов и стран; эта смелость доходит до дерзости и вряд ли когда встречалась в Германии. Рядом с этой смелостью и развязностью, которая часто в своих грубых и вольных выражениях доходит до того, что даже лучшие друзья поэта не стали бы защищать его, — такая искренность, сила и нежность восприятий, острота и величие мысли, полнота и мощь фантазии, которых не могли бы отрицать и отъявленнейшие враги. В этой второй части своей книги поэт берет новый размах. Его поэтический мир ширится, поэт охватывает общее, делается универсальным... Это подобно тому, как после сильной бури, взволновавшей океан, солнце блестящими лучами озаряет берег, покрытый обломками от последних кораблекрушений, где драгоценное перемешано с нестоющим... Талант нашего поэта действительно освещает; пусть предметы лежат в глубокой темноте, он внезапно нащупывает их своим лучами и заставляет их заблестеть хотя бы на мгновение... Содержание жизни европейца... выведено здесь на свет в виде чистого экстракта. Ирония, сатира, ужас и грубость, с которыми трактован предмет, составляют одну из частей его, как и сладость, тонкость, приятность, взаимно переплетающиеся; таким образом, грубости, от которых желали бы избавить поэта, являются для него большей необходимостью, чем можно было сначала предположить“.

После очень хвалебного отзыва о II и III части „Северного Моря“, критик говорит об „Идеях“: „II часть и составляет сердце книги... Дать о ней представление вкратце невозможно.

Несмотря на большую невоспитанность, произведение содержит глубочайшие и правдивейшие исторические картины, и Наполеон выведен в ней перед нашими глазами и душой самыми оригинальными и странными средствами, то трогательными и возвышенными, то шутливыми и полемическими. Благодаря тому, что книга посвящена даме, и тому, что в рассказе постоянно повторяется обращение Madame, все целое приобретает странную окраску; в нем история любви и история народов и мира, научные и гражданские дела с невыразимой чудесностью граничат друг с другом. Если бы мы хотели привести примеры, мы скоро потерялись бы, потому что почти каждая страница представляет изумительнейшие черты, собрание которых и дает характер книге; книга эта вместе с тем—собрание мыслей, каждая из которых, как в некоем пандемонiuме, старается занять как можно меньше места, чтобы уступить его соседу, также стремящемуся стесниться. Пусть наши критики продолжают кричать и жаловаться на скурильную внешность, от размышляющего читателя не скроется, какой проникновенный взгляд, какое сильное чувство горечи, словом, какая благородная глубокая человечность лежит здесь в основании“.

„Галлевская Газета“, жестоко бранившая I том „Путевых картин“, бранит и второй: „Встречаются, правда, и здесь трогательные и несомненно очень остроумные места, с ярким и подлинным юмором, но случается, что сатир нашего поэта не умеет скрыть своей козлиной породы; он опускается до ужаснейших вульгарностей и непристойностей, которые никоим образом не могут пленить цивилизованный дух“. Восхищение Наполеоном порицается, как и заблуждения поэта насчет христианства, а стихотворения осуждаются беспощадно.

Критик „Лейпцигской Литературной Газеты“, прежде возмущавшийся двумя фразами из „Путешествия в Гарц“, остался более доволен вторым томом Reisebilder. Он молчит о вульгарном и о плоских шутках, „потому что действительно оригинального комического и бурлескного, режущей иронии, даже смелого и возвышенного так много, что преступления против приличий и подобающих форм менее чувствительны“. Критик хвалит многие подробности. Заключивает он так: „Это произведение не смеет пропустить тот, кому дороже оригинальность, пусть и с ошибками, чем манерная подражательность“.

Интересен критик К. из „Иенской Литературной Газеты“;

он встречает книгу довольно сдержанно, хотя и не без доброжелательства. Критику почему-то не понравилось, что произведение помечено островом Нордерней. Поэту, говорит он, удалось вызвать хорошие мысли и показать себя хорошим диалектиком, который с успехом прослушал курс логики. Нападки поэта так искусны, что сразу нельзя разобрать, где он сражается всерьез, а где хочет только повеселиться. Поэту часто интереснее игра остроумия, чем простая правда, юмор его временами надуман и не всегда ясен и непринужден. Впоследствии он и сам увидит, что его вражда против филистерства и других глупостей и ненужностей, кажущихся или действительных, не есть, как ему кажется, особенность его природы, но участь возбужденной, наблюдательной и быстро судящей молодости. Когда он достигнет этого убеждения, он перестанет судить несправедливыми эпитетами милых читателей, которые, сидя в мягком кресле, в полном уюте, за трубочкой или за вязаньем чулка, хотели бы вычитать из книг о том, что происходит на белом свете... Поэтически-настроенные люди, напротив, несмотря на все несовершенства и молодость книги, должны признать в ней хорошее; юмор, несмотря на едкость, возбудит в них радость и смех, дерзость льющегося через край духа, любящего безумную критику, осветит им идеи настоящей возвышенностью, хотя бы и связанной в достаточной мере духовной анархией; часто здесь можно уже распознать настоящую живую поэзию и понимание истории, несмотря на иронию...

Был еще и глубокомысленный отзыв; критику не хватило воображения и фантазии для того, чтобы понять книгу; приятель Гейне, Людвиг Роберт, напротив, написал отзыв в духе легкой болтовни, удачно подражающей стилю „Идей“.

Кажется, манера поэта доведена в этой книге до совершенства; отсюда, главным образом, и пошел тот стиль „болтовни с надрывом“, который очень привился в русской литературе. Одно из самых ранних и ярких его отражений можно найти в беллетристических произведениях Аполлона Григорьева, в частности, в недавно открытых и замечательных „Листках из рукописи скитающегося софиста“.

А. Блок.



СЕВЕРНОЕ МОРЕ

DIE NORDSEE *)

1826

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ **)

*) Французское заглавие „L'île de Norderney“.

**) Части I и II см. I том („Книга песен“).

*„Биографические памятники“ Фарнгагена фон-Энзе, I часть, стр. 1—2 *).*

*) В „Биографических памятниках“ Фарнгагена фон-Энзе (Берлин, 1824) содержатся следующие вступительные слова к отделу „Граф Вильгельм Липпе“: „Во всех областях духовной жизни Германии наблюдается своеобразное явление: при полноте выдающихся дарований и сил, таковые неизменно встречают противодействие, в виде величайших трудностей и препятствий, и, при непомерном напряжении, им едва-едва удается порою вполне достигнуть своей цели. Тяготение к великому, способность действовать, напряженность мысли представлены здесь в изобилии, но жизнь тотчас же становится к ним во враждебные отношения, оттесняет их на более низкий уровень и ограничивает их пределами более тесными, чем это соответствует их внутреннему призванию. Как бы ни были велики сила чувства и духовная мощь отдельных лиц, чувства и дух нации, раздробленные и живущие особой жизнью в отдельных ее членах, влияют сильнее и преграждают доступ к просторным и свободным путям, которые, как мы видим, так легко открываются у других народов для каждого выдающегося человека. Наша литература, а также и политика наша изобилуют примерами такого своеобразия; деятели в этих областях, наши князья, полководцы, государственные люди, реформаторы, художники в искусстве и в жизни—все они принуждены были разменять свои величайшие дарования, предназначавшиеся для великих дел, на более мелкую монету. Даже Лютер и Фридрих Великий, созданные для работы на пользу всего отечества и обладавшие для этого всеми данными, не оказались в состоянии, при многообразии и раздробленности (страны, обнять и объединить целое, несмотря на величие их трудов“. Гейне усердно изучал книгу Фарнгагена в Нордернее, летом 1826 года.

СЕВЕРНОЕ МОРЕ.

(Писано на острове Нордерней).

Туземцы большею частью ужасающе бедны и живут рыбною ловлею, которая начинается только в следующем месяце, октябре, при бурной погоде. Многие из этих островитян служат также матросами на чужестранных купеческих кораблях и годами отсутствуют из дому, не давая о себе никаких вестей своим близким. Нередко они погибают в море. Я нашел на острове несколько бедных женщин, у которых погиб таким образом весь мужской состав их семьи, что объясняется просто—отец обыкновенно пускается в море на одном корабле со своими сыновьями.

Мореплавание представляет для этих людей большую прелесть; и всетаки, думается мне, лучше всего чувствуют они себя дома. Если даже достигают они на своих кораблях тихих южных стран, где солнце светит лучезарнее, а луна—романтичнее, то все же тамошние цветы не утолят жажды их сердца, и посреди благоухающей родины весны тоскуют они по своему песчаному острову, по своим маленьким хижинам, по пылающему очагу, у которого, плотно закутавшись в шерстяные куртки, сидят их домашние и пьют чай, только названием отличающийся от кипяченой морской воды, и болтают на таком языке, что трудно уразуметь, как они понимают друг друга.

Не столько таинственное, по существу своему, чувство любви соединяет так прочно и полно этих людей, сколько привычка, жизнь в тесной связи друг с другом, согласная с природой, непосредственность в общении между собою. Одинаковый уровень духовного развития или, лучше сказать, неразвитость, отсюда одинаковые потребности и одинаковые стремления; одинаковый опыт и образ мы-

слей, отсюда и легкая возможность понимать друг друга; и вот они сидят мирно у огня, в маленьких «хижинах», теснее прижимаются, когда становится холодней, по глазам узнают, что думает другой, читают по губам слова, прежде чем они выговорены; в памяти их хранятся все общие взаимоотношения, и одним звуком, одною гримасою, одним бессловесным телодвижением вызывают они в своей среде столько смеху, слез или торжественного настроения, сколько нам с трудом удастся возбудить путем долгих рассуждений, вдохновенных излияний и разглагольствований. Ведь, по существу, мы живем в духовном одиночестве; каждый из нас, благодаря особым приемам воспитания, или случайному, особому подбору материала для чтения, получил своеобразный склад характера; каждый из нас, в замкнутости духовной, мыслит, чувствует и действует иначе, чем другие, а потому и возникает столько недоразумений, и даже в просторных домах так трудна совместная жизнь, и повсюду нам тесно, везде мы чужие и на чужбине.

В таком состоянии общности мыслей и чувств, какое мы находим у наших островитян, жили часто целые народы в течение долгих периодов времени. Быть может, римско-христианская церковь в середине века стремилась к установлению такого единства среди всех европейских обществ и распространила свою опеку на житейские отношения, на все силы и явления, на всю физическую и нравственную природу человека. Нельзя отрицать, что в итоге получилось много спокойствия и счастья, жизнь расцветала в большом тепле и уюте, и искусства, подобно выращенным в тиши цветам, явили такое великолепие, что мы и до сих пор изумляемся им и, при всей нашей стремительности в познании, не в состоянии следовать их образцам. Но дух имеет свои вечные права, он не дает сковать себя канонами, убаюкать колокольным звоном; дух разбил свои оковы, разорвал железные помочи, на которых церковь водила его, как мать; опьяненный свободой, пронесся он по всей земле, достиг высочайших горных вершин, ликовал в избытке сил, снова припомнил давнишние сомнения, размышлял о чудесах современности и числил звезды ночные. Мы еще не сочли

звезд, не разгадали чудес, старинные сомнения возникли с могучею силою в нашей душе—счастливее ли мы, чем прежде? Мы знаем, что не легко ответить утвердительно на этот вопрос, когда он касается масс; но знаем также, что счастье, которым мы обязаны обману,—не настоящее счастье, и что в отдельные отрывочные моменты состояния, близкого к божескому, на высших ступенях духовного нашего достоинства, мы способны обрести большее счастье, чем в долгие годы прозябания на почве безжизненной, слепой веры.

Во всяком случае, владычество церкви было игом самого дурного свойства. Кто поручится нам за добрые намерения, о которых я только что говорил? Рим постоянно стремился к владычеству, и, когда пали его легионы, он разослал по провинциям свои догматы. Как гигантский паук, утвердился он в центре латинского мира и заткал его своею бесконечною паутиною. Поколения народов жили под его эгидою утратившею жизнь, принимая за близкий покров небесный то, что было на деле лишь римскою паутиною; только стремившийся в высь дух, прозревая сквозь эту паутину, чувствовал стеснение и горечь, и, когда он пытался прорваться, лукавый ткач улавливал его и высасывал из его отважного сердца кровь; и кровь эта—не слишком ли дорогая цена за призрачное счастье слепых масс? Дни духовного рабства миновали; старчески-дряхлый, сидит старый крестовый паук среди развалившихся колонн Колизея и все еще прядет свою старую паутину, но она уже некрепка и гнила, и в нее попадают только бабочки и летучие мыши, а не северные орлы.

Смешно право: когда я с такою благосклонностью начинаю распространяться о намерениях римской церкви, меня внезапно охватывает обычное протестантское усердие, приписывающее ей постоянно все самое дурное; и именно это раздвоение моей мысли во мне самом служит для меня образом рассеянности современного мышления. Мы ненавидим сегодня то, чему вчера дивились, а завтра, может быть, равнодушно посмеемся над всем этим.

С известной точки зрения все одинаково важно и одинаково ничтожно, и я вспоминаю о великих европейских

событиях, наблюдая жизнь наших бедных островитян. И они стоят на пороге нового времени, и старинные их единомыслие и простота смущены процветанием здешних морских купаний, так как ежедневно замечают они у своих гостей кое-что новое, несовместимое с их давним образом жизни. Когда по вечерам стоят они перед освещенными окнами собрания и наблюдают обхождение мужчин и дам, многозначительные взгляды, гримасы вожделения, похотливые танцы, самодовольное обжорство, корыстную игру и т. д., это не остается для них без скверных последствий, не уравниваемых тою денежною выгодною, которую дают им морские купанья. Денег этих недостаточно для вновь возникающих потребностей; в итоге, внутренняя жизнь нарушается, скверные соблазны, тяжелая скорбь. Мальчиком, я всегда чувствовал жгучее вожделение, когда мимо меня проносили прекрасно испеченные торты, предназначенные не для меня; впоследствии то же чувство мучило меня при виде обнаженных по моде красивых дам; и думается мне, бедным островитянам, находящимся еще в поре детства, часто представляются случаи для подобных ощущений, и было бы лучше, если бы обладатели прекрасных тортов и женщин больше прикрывали их. Обилие открытых напоказ деликатесов, дающих этим людям только зрительное ощущение, должно сильно возбуждать их аппетит, и, если бедные островитянки, в период беременности, прихотливо требуют всяких сладких печений и, в конце концов, производят даже на свет детей, похожих на курортных обывателей, то это объясняется просто. Здесь я отнюдь не намекаю на какие-либо безнравственные связи. Добродетель островитянок в полной мере ограждена их безобразием и особенно свойственным им рыбным запахом, которого я, по крайней мере, не выносил. Я бы скорее признал в факте появления на свет младенцев с физиономиями курортных гостей—психологический феномен и объяснил его теми материалистически-мистическими законами, которые так хорошо устанавливает Гете в своем «Избирательном сродстве».

Поразительно, как много загадочных явлений природы объясняется вышеуказанными законами. Когда я в

прошлом году прибит был морскою бурею к другому восточно-фризландскому острову, я увидел там, в одной рыбацкой хижине скверную гравюру, с надписью: «la tentation du viellard» *), изображающую старика, смущенного среди занятий появлением женщины, возникающей из облака до уровня бедер; и странно, у дочери рыбака было такое же похотливое мопсообразное лицо, как у женщины на картине. Приведу другой пример: в доме одного менялы, жена которого, управляя делом, всегда заботливо рассматривала чеканку монет, я заметил, что лица детей представляют поразительное сходство с величайшими монархами Европы, и, когда дети собирались вместе и затевали споры, казалось, что видишь маленький конгресс.

Потому-то чеканка монет—предмет, не безразличный для политических деятелей. Так как люди столь искренно любят деньги и, несомненно, любовно их созерцают, дети часто воспринимают черты владетельной особы, изображенной на монете, и на бедного государя падает подозрение в том, что он—отец своих подданных. Бурбоны имеют все основания расплавлять наполеондоры: они не желают видеть среди французов столько наполеоновских лиц. Пруссия дальше всех ушла в монетной политике: там известны способы устраивать, путем умелого примешивания меди, так, что щеки короля на вновь отчеканенной монете тотчас же становятся красными, и с некоторых пор вид у прусских детей гораздо здоровее, чем прежде, так что испытываешь истинную радость, созерцая их цветущие зильбергрошевые рожицы.

Указывая на опасность для нравов, грозящую островам, я не упомянул о духовной защите от нее—о их церкви. Каков вид церкви—я не могу в точности сообщить, так как не был там. Бог свидетель, что я хороший христианин и даже часто собираюсь посетить дом Христов, но, роковым образом, всегда встречаю к этому препятствия; находится обыкновенно болтун, задерживающий меня на пути, и, если я, наконец, достигаю дверей храма, мною вдруг овладевает смешливое настроение, и тогда я почитаю за грех входить во внутрь. В прошлое

*) „Искушение старца“.

воскресенье со мной произошло нечто в этом роде: мне вспомнилось перед церковными воротами то место гетевского Фауста, где Фауст, проходя с Мефистофелем мимо креста, спрашивает его:

„Что так спешешь, Мефисто?

Крест смутил?

Ты потупляешь взоры не на шутку“.

И Мефистофель отвечает:

„Я поддаюсь, конечно, предрассудку,—

Но все равно: мне этот вид не мил“.

Стихи эти, насколько мне известно, не напечатаны ни в одном из изданий «Фауста», и только покойный надворный советник Мориц *), ознакомившись с ними по рукописи Гете, сообщает их в своем «Филиппе Рейзере», забытом уже романе, содержащем историю самого автора, или скорее историю ста талеров, коих не имел автор, благодаря чему вся его жизнь стала цепью лишений и отречений, между тем, как желания его были в высшей степени скромны; как, например, желание отправиться в Веймар и поступить в услужение к автору «Вертера» во что бы то ни стало, лишь бы жить вблизи того, кто, из всех людей на земле, произвел на него самое сильное впечатление.

Удивительно! Уже тогда Гете вызывал такое воодушевление, и всетаки только «наше третье подрастающее поколение» в состоянии уразуметь его истинное величие.

Но это поколение дало также людей, в жилах которых сочится лишь загнившая вода и которые готовы поэтому заглушить в сердцах других людей все источники живой крови, людей с иссякнувшею способностью к восприятию, клеветующих на жизнь и стремящихся отравить другим людям все великолепие мира; они изображают его, как соблазн, созданный Лукавым для нашего искушения, на подобие того, как находчивая хозяйка оставляет, уходя из дому, открытую сахарницу с пересчитанными кусками сахара, чтобы испытать воздержанность служанки; эти

*) К. Ф. Мориц (1757—1793), автор автобиографического романа „Филипп Рейзер“, восторженный почитатель Гете. — Цитируемые стихи из так называемого „Перво-Фауста“, подлинная рукопись которого пропала, приведены нами в переводе Н. А. Холодковского.

люди собрали вокруг себя добродетельную чернь и проведут крестовый поход против великого язычника и против его обнаженных богов, которых он охотно заменил бы своими наглухо закутанными глупыми чертями.

Закутывание—высшая цель их, божественная нагота их ужасает, и у сатира всегда есть причины надеть штаны и настаивать, чтобы и Апполон надел таковые. Тогда люди называют его нравственным человеком, не подозревая, что в клауруеновской улыбке закутанного сатира больше нечистоты, чем во всей наготе вольфганговского Апполона, и что в те времена, когда человечество носило широчайшие штаны, на которые шло шестьдесят аршин материи, нравы как раз были не чище нынешних.

Однако, не поставят ли мне дамы в упрек, что я говорю «штаны» вместо «панталоны»? О, эти тонкости дамского чувства! В конце концов, одни евнухи будут иметь право писать для них, и духовные их слуги на Западе должны будут хранить ту же невинность, что телесные—на Востоке.

Здесь я припоминаю одно место из «Дневника Бертольда» *).

«Если поразмыслить как следует, то ведь все мы торчим голые под своими платьями», сказал доктор М. даме, поставившей ему в упрек несколько грубый оборот речи.

Ганноверское дворянство очень недовольно Гете и утверждает, что он распространяет неверие, а это легко может привести к ложным политическим убеждениям, между тем, как следует возвратить народ, посредством старой веры, к старинному благочестию и скромности. Также пришлось мне в последнее время выслушать много споров на тему: Гете выше Шиллера, или наоборот? Недавно я стоял за стулом дамы,—она явно, даже если посмотреть на нее сзади, насчитывала шестьдесят четыре поколения предков,—и слушал оживленные дебаты на эту тему между нею и двумя ганноверскими дворянами, которых предки изображены уже на зодиаке Дендра **),

*) М. И. Гудтвалькер, псев. Освальд, автор «Отрывков из дневника Карла Бертольда».

**) Храм Дендра, в Египте, на берегу Нила, известный изображениями обоих зодиаков.

при чем один из них, длинный, тощий, как бы налитый ртутью юноша, похожий на барометр, восхвалял шиллеровскую добродетель и чистоту, а другой, столь же долго вязый, шепелявил стихи из «Достоинства женщин» *) и улыбался при этом сладостно, как осел, погрузивший голову в бочку с сиропом и с наслаждением облизывавшийся. Оба юноши подкрепляли свои утверждения неизменным убедительным припевом: «Он выше. Он выше, поистине. Он выше. Честью уверяю вас, он выше». Дама была столь добра, что привлекла и меня к участию в эстетической беседе, и спросила: «Доктор, что вы думаете о Гете?» Я скрестил руки на груди, набожно склонил голову и проговорил: «Ла илла илла алла, вамохаме, разуль алла!»

Дама, сама того не зная, задала самый хитрый вопрос. Нельзя же спросить человека прямо: что думаешь ты о небе и земле? Как ты смотришь на человека и жизнь человеческую? Разумное ты создание или глупый чорт? Все эти деликатные вопросы заключаются в немысловатых словах: Что вы думаете о Гете? Ведь, имея перед глазами творения Гете, мы можем быстро сравнить любое суждение о нем с нашим собственным, и получим, таким образом, определенную меру для оценки всех его мыслей и чувств; так, сам того не зная, он произнес над собою приговор. Но подобно тому, как Гете, будучи общим достоянием, всем доступным, становится для нас лучшим средством познавать людей, так, в свою очередь, и мы можем лучше всего познать Гете при помощи его суждений о предметах, всем нам доступных, о которых высказались уже замечательнейшие люди. В этом отношении я охотнее всего сослался бы на «Итальянские письма» Гете; все мы знакомы с Италией из личных наблюдений или же с чужих слов, и замечаем при этом, что каждый смотрит по своему на одно и то же; один — мрачными глазами Архенгольца **), усматривающего только плохое, другой — восхищенным взором Коринны ***), видящей повсюду

*) Стихи Шиллера, начинающиеся словами: „Ehret die Frauen!“ „Уважайте женщин, они плетут и выпрямляют небесные розы в земную жизнь“.

**) И. В. Архенголец (1741—1812), историк и публицист, автор книги „Англия и Италия“.

***) „M-me de Staël“ (1766—1817), автор „Corinne en l'Italie“, где Италия описана в самом привлекательном виде.

одно великолепие, тогда как Гете, своими ясными глазами грека, видит все, темное и светлое, никогда не окрашивает предметов в цвет собственного настроения и изображает страну и людей в истинном образе—в правдивом свете, как они созданы Богом.

В этом заслуга Гете, ее признает только позднейшее время; мы, все по большей части больные, слишком глубоко погружены в наши больные, разрозненные, романтические чувствования, заимствованные, путем чтения, у всех стран и веков, чтобы видеть непосредственно, какое здоровье, единство и пластику являет Гете в своих произведениях. Он и сам так же мало замечает это: в наивном неведении своих могучих сил, он удивляется, когда ему приписывают «предметное мышление» и, желая дать нам в автобиографии критическое пособие для суждения о своих творениях, он не дает никакой меры для оценки по существу, а только сообщает факты, по которым можно судить о нем. Это вполне естественно, ведь ни одна птица не взлетит выше себя.

Позднейшие поколения откроют в Гете, помимо способности пластически созерцать, чувствовать и мыслить, многое другое, о чем мы не имеем теперь никакого представления. Творения духа вечны и постоянны, критика же переменчива, она исходит из взглядов своего времени, имеет значение только для современности, и если сама не художественна, как, например, критика Шлегеля, то не переживает своего времени. Каждая эпоха, воспринимая новые идеи, обретает новый взгляд на вещи и усматривает в старинных созданиях человеческого духа много нового. Шубарт *) видит теперь в Илиаде нечто иное, много больше, чем александрийцы; зато явятся когда-нибудь критики, которые откроют в Гете много больше, чем Шубарт.

Однако, я все-таки заболтался о Гете! Но подобные отступления весьма естественны, когда морской шум непрестанно звучит в ушах, как на этом острове, и настраивает дух наш на свой лад.

*) К. Э. Шубарт, автор „Мыслей о Гомере и его эпохе“ (1821) и „К оценке Гете в связи с родственными ему литературой и искусством“ (1820).

Дует сильный северо-восточный ветер, и ведьмы замышляют опять много злого. Здесь, ведь, есть удивительные сказания о ведьмах, умеющих заклинать бури; вообще на всех северных морях очень распространено суеверие. Моряки утверждают, что некоторые острова тайно подвластны особым ведьмам, и злой воле последних приписываются всевозможные неприятные случаи с проходящими мимо кораблями. Когда я в прошлом году проводил некоторое время на море, шкипер нашего корабля рассказал мне, что ведьмы особенно сильны на острове Уайте и стараются задержать до ночной поры каждый проходящий днем мимо острова корабль с тем, чтобы прибить его к скалам или к самому острову. В этих случаях слышно, как ведьмы носятся по воздуху и возле корабля с таким воем, что хлопотуну стоит большого труда сопротивляться им. На вопрос мой, кто такой хлопотун, рассказчик серьезно ответил: «Это добрый, невидимый покровитель—защитник кораблей, оберегающий честных и порядочных моряков от несчастий, он сам повсюду за всем наблюдает и заботится о порядке и благополучном плавании». Бравый шкипер уверил меня, заговорив в несколько более таинственном тоне, что я и сам могу услышать хлопотуна в трюме, где он старается возможно лучше разместить грузы, отчего и раздается скрип бочек и ящичков, когда вздымаются волны, и по временам трещат балки и доски; часто хлопотун постукивает и в палубной части,—это считается знаком для плотника, предупреждаемого о необходимости спешно починить поврежденное место; охотнее всего, однако, усаживается он на брамселе в знак того, что дует или близится благоприятный ветер. На мой вопрос: можно ли его видеть? я получил ответ: «Нет, он невидим, да никто и не хотел бы увидеть его; так как он показывается лишь тогда, когда нет уже никакого спасения». Правда, мой славный шкипер еще не пережил такого случая, но знал, по его словам, от других, что в таких случаях слышно, как хлопотун, сидя на брамселе, переговаривается с подвластными ему духами, а когда буря становится слишком сильною и крушение неизбежно, он усаживается у руля, показываясь тогда впервые; он исчезает, сломав руль, и те, кто его в это

страшный миг видел, находят сейчас же вслед за тем смерть в волнах.

Капитан корабля, вместе со мною слушавший рассказ, улыбается тонко, чего я не мог ожидать, судя по его суровому, ветрам и непогоде открытому лицу, и потом уверил меня, что пятьдесят, а тем более сто лет назад, вера в хлопотуна была так сильна, что за столом всегда накрывали для него прибор и на его тарелку клали лучшие куски каждого блюда, что даже и теперь поступают так на иных кораблях.

Я здесь часто туляю по берегу и вспоминаю о подобных морских преданиях. Наиболее увлекательна, конечно, история Летучего Голландца *), которого видят в бурю проносящимся с распушенными парусами, иногда он спускает лодку, чтобы передать письма на встречные корабли; с этими письмами не знают, что делать, так как они адресованы давно умершим лицам. Иной раз вспоминается мне старая и прелестная сказка о юном рыбаке, который поджидал на берегу ночной хоровод русалок и бродил потом со скрипкою по всему свету, чаруя и восхищая всех мелодиями русалочьего вальса. Эту легенду рассказал мне однажды добрый друг, когда мы в концерте, в Берлине, слушали игру такого же чародейного юноши, Феликса Мендельсона-Бартольди.

Своеобразную прелесть представляет поездка вокрут острова. При этом погода должна быть хороша, облака должны иметь необычные очертания и, кроме того, нужно лежать на палубе лицом кверху, созерцая свод небесный и имея, конечно, в сердце своем клочек неба. Тогда волны бормочут всякие чудесные вещи, всякие слова, где порхают милые сердцу воспоминания, всякие имена, звучащие в душе сладостными предчувствиями—«Эвелина!» Идут встречные корабли, и их приветствуешь, как будто старых знакомых. Только ночью немного жутко встречаться на море с чужими кораблями: воображаешь, что лучшие твои друзья, которых ты не видал целые годы, в молчании плывут мимо тебя, и ты навеки теряешь их.

Я люблю море, как свою душу. Часто даже кажется

*) Сравни. „Мемуары господина фон-Шнабелевонского“, глава VII.

мне, что море, собственно, и есть моя душа; как в море есть невидимые подводные растения, всплывающие на поверхность лишь в миг расцвета и вновь тонущие, когда отцветут, так и из глубины души моей возникают порою чудесные цветущие образы и благоухают, и светятся, и опять исчезают—«Эвелина!»

Рассказывают, что близ этого острова, где теперь одни волны, были некогда прекрасные деревни и города, но море внезапно поглотило все это, и в ясную погоду моряки видят блестящие верхушки потонувших церковных колоколен, а кое-кто слышал, ранним воскресным утром и тихий благовест. Предание это истинно; ведь, море—душа моя.

Светлый мир здесь погребен когда-то,
И встают обломки, как цветы,
Золотыми искрами заката
Отражаясь в зеркале мечты.

(В. Мюллер).

Просыпаясь, слышу я затем замирающий благовест и шепотение святых голосов—«Эвелина!»

Когда гуляешь по берегу, проходящие мимо суда представляют прекрасное зрелище. Поднимая свои ослепительно-белые паруса, они походят на проплывающих больших лебедей. Это особенно красиво, когда солнце выкатывается позади проходящего корабля, как бы озаряемого лучами исполинского сияния.

Охота на берегу, говорят, доставляет также большое удовольствие. Что касается меня, я не особенно ценю это занятие. Расположение ко всему благородному, прекрасному и доброму часто прививается человеку воспитанием, но страсть к охоте кроется в крови. Если предки в незапамятные времена стреляли диких коз, то и внуки находят удовольствие в этом унаследованном занятии. Мои предки не принадлежали к охотникам, скорее—за ними охотились, и кровь моя возмутилась бы, если бы я стал стрелять в потомков их бывших товарищей по несчастью. Да я и по опыту знаю, что мне легче измерить шаги и выстрелить затем в охотника, который желает возвращения времен, когда и люди служили целью для высоких

охот. Слава Богу, времена эти прошли. Если такому охотнику вздумается поохотиться за людьми, он должен заплатить за это, как, например, было это в случае с скороходом, которого я видел два года назад в Геттингене. Бедняга набегался в душный и жаркий воскресный день и уже порядком устал, когда несколько ганноверских молодых дворян, изучавших гуманитарные науки, предложили ему пару талеров с тем, чтобы он еще раз пробежал тот же путь обратно; и человек побежал, смертельно-бледный, в красной куртке, а за ним вплотную, в клубах пыли, галопировали откормленные благородные юноши на своих высоких конях, чьи копыта задевали порою загнанного, задыхающегося человека, и это был человек!

С целью сделать опыт и приучить получше свою кровь, отправился я вчера на охоту. Я выстрелил в нескольких чаек, летавших кругом чересчур уверенно, они не могли знать наверное, что я плохо стреляю. Я не думал попасть в них, и хотел только предупредить, чтобы в другой раз они остерегались людей с ружьями; но выстрел оказался неудачным, и я имел несчастье застрелить молодую чайку. Хорошо, что птица оказалась не старою; что бы было тогда с бедными, маленькими чайками, не оперившись, в песчаном гнезде, в дюнах, они должны были бы погибнуть с голоду без матери. Я предчувствовал заранее, что со мною случится на охоте неудача: заяц перебежал мне дорогу.

Особенное настроение овладевает мною, когда я в сумерках брожу один по берегу—за мною плоские дюны, передо мною колышется безграничное море, надо мною небо, как исполинский хрустальный купол,—тогда я кажусь сам себе ничтожным, как муравей, и все-таки душа моя ширится так беспредельно. Высокая простота окружающей природы, одновременно смиряет и возвышает меня, и притом в более сильной степени, чем какая-либо величественная обстановка других времен. Никогда ни один собор не был для меня слишком велик; моя душа, возносясь в древней титанической молитве, стремилась выше готических колонн и всегда пыталась пробиться сквозь своды. На вершине Ростраппа смелые группы колоссальных скал сильно подействовали на меня при пер-

вом взгляде; но впечатление было непродолжительное. Душа моя была захвачена врасплох, но не пленена, огромные каменные массы стали на глазах моих уменьшаться; в конце концов, они показались мне ничтожными обломками разрушенного гигантского дворца, где, может быть, и поместилась бы с удобством моя душа.

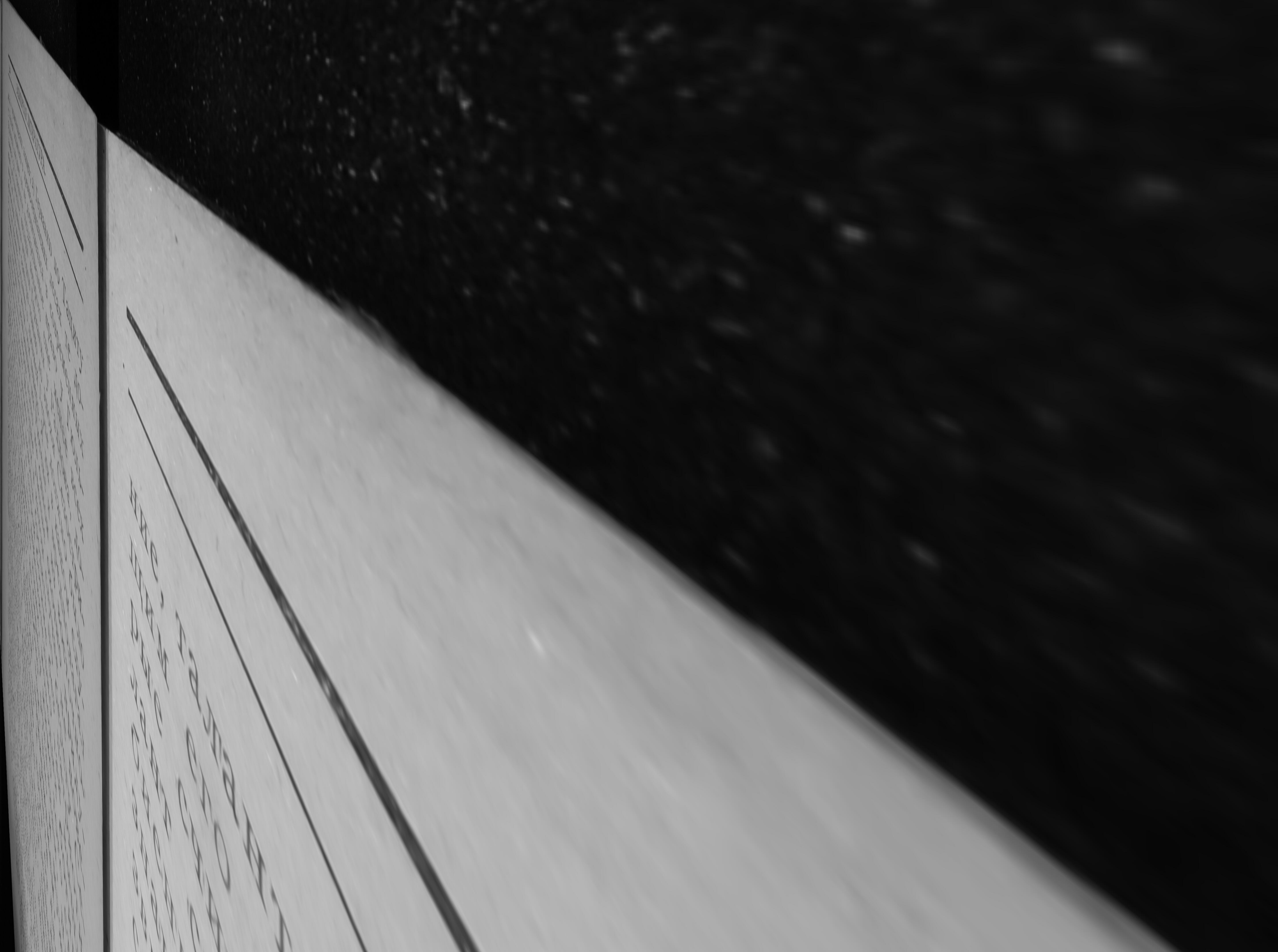
Пусть это кажется смешным, но я не скрою, что неприязненные отношения между телом и душою доставляют мне некоторые мучения; здесь, у моря, среди великолепной природы, мне становится это порою особенно ясным, и я часто раздумываю о метемпсихозе. Кто постигает величественную иронию Божию, вызывающую обыкновенно различные противоречия между душою и телом? Кто может знать, в каком портном живет душа Платона, в каком школьном учителе—душа Цезаря? Кто знает, помещается ли душа Григория VII в теле папы и не чувствует ли он себя лучше под ласками тысячи женских ручек, чем в пурпуровой рясе, в celibате? И наоборот: сколько душ правоверных мусульман времен Али обитает теперь, может быть, в наших анти-эллинских кабинетах? Души двух разбойников, распятых рядом со Спасителем, сидят теперь, может быть, в толстых консисторских жидовках и пламенно ратуют во имя правоверных учений. Душа Чингисхана обитает, может быть, в рецензенте, который ежедневно, сам того не зная, казнит саблею души верноподданных башкиров и калмыков в критическом журнале. Кто знает? Кто знает? Душа Пифагора переселилась, может быть, в бедного кандидата, проваливающегося на экзамене по неумению доказать пифагорову теорему, а господа экзаменаторы вмещают души тех быков, которых Пифагор принес в жертву вечным богам, радуясь открытию своей теоремы. Индусы не так глупы, как полагают наши миссионеры, они почитают животных, подозревая в них человеческие души; если они учреждают госпитали для больных обезьян, вроде наших академий, то возможно, ведь, что в обезьянах живут души великих ученых, а у нас, между тем, совершенно очевидно, что у некоторых великих ученых—обезьяньи души.

Если бы кто-нибудь, обладающий знанием всего прошедшего, мог взглянуть сверху на дела человеческие

Когда я ночью, бродя у моря, прислушиваюсь к пению волн, и во мне пробуждаются всякие предчувствия и воспоминания, мне кажется, что когда-то я так смотрел сверху вниз и в припадке головокружительного страха упал на землю; что глаза мои обладали такою телескопическою остротою зрения, что я созерцал светила в натуральную величину в их небесном течении, и был ослеплен всем этим блестящим круговоротом; словно из тысячелетней глубины приходят тогда ко мне всевозможные мысли, мысли древней мудрости, но они так туманны, что мне не понять их значения. Знаю только, что все наши многоумные познания, стремления, достижения представляются какому-нибудь высшему духу столь же малыми и ничтожными, каким казался мне тот паук, которого я часто наблюдал в Геттингенской библиотеке. Он сидел на фолианте всемирной истории и усердно занимался пряжею, он так философски-уверенно смотрел на окружающее и обладал вполне геттингенским ученым невежеством, он, казалось, гордился своими математическими познаниями, своею искусною пряжею, своими уединенными размышлениями и все-таки ничего не знал о чудесах, заключенных в книге, на которой он родился и провел всю свою жизнь, и на которой умрет, если доктор Л. не стонит его, подкравшись. А кто такой этот подкрадывающийся доктор Л.? Может быть, душа его когда-нибудь принадлежала такому же пауку, и теперь он сторожит фолианты, на которых некогда сидел, и, если он и читает, то не постигает их истинного содержания.

Что происходило когда-то на той земле, где я теперь брожу? Некий, купавшийся здесь проректор утверждал, что тут совершались некогда служения Герте или лучше сказать, Форсете, о чем так таинственно говорит Тацит. Только не ошиблись ли осведомители, со слов коих ведет рассказ Тацит, и не приняли ли они купальную каретку за священную колесницу богини?

В 1819 году, когда в Бонне, в одном и том же семестре, я слушал, четыре курса, излагавшие, главным образом, германские древности самых ранних времен, а именно: 1) историю немецкого языка у Шлегеля, который почти три месяца подряд развивал самые причудливые типо-



Handwritten text in cursive script, likely a list or index, partially obscured by a dark diagonal band. The text is arranged in two columns, with the left column being more legible than the right.



мать в остальной Германии, где примеру Англии приписывается слишком уж большое влияние. В этом Ганновере только и видишь родословные деревья с привязанными к ним конями *), от множества деревьев страна остается во мраке, и, при всем обилии коней, не двигается вперед. Нет, сквозь эту ганноверскую дворянскую чащу никогда не проникали солнечные лучи британской свободы, и ни один звук британского свободного тимна не слышен был в яростном ржании ганноверских коней.

Всеобщие жалобы на ганноверскую дворянскую спесь касаются, главным образом, прелестной молодежи, принадлежащей к семействам, правящим Ганновером, или пытающимся править им. Но эти благородные юноши скоро освободились бы от изъянов своего нрава или, лучше сказать, от своей безнравственности, если бы они тоже потолкались немного по свету, или получили бы лучшее воспитание. Правда, их посылают в Геттинген, но там они держатся своим кружком и говорят только о собственных собаках, лошадях и предках, мало знакомятся с новейшею историею, а если и слышат что-нибудь о ней, то мысли их отвлечены в то время видом графского стола; будучи эмблемой Геттингена, он предназначен лишь для высокородных студентов. Поистине, путем лучшего воспитания ганноверской дворянской молодежи, можно было бы избежать многих жалоб. Но молодые становятся такими же, как старики. То же безумие: будто они — цвет земли, в то время как мы, остальные, — лишь трава; та же глупость: пытаться прикрыть собственную негодность заслугами предков; то же неведение насчет сомнительности этих заслуг — ведь, очень немногие из них помнят, что князья лишь изредка удостоивали чести возведения в дворянство своих верных и добродетельных слуг, и очень часто — сводников, льстецов и тому подобных фаворитов-мошенников. Лишь очень немногие из них, гордых своим дворянством, могут определенно указать, что сделали их предки, и они ссылаются лишь на то, что их имя упоминается в «Турнирной книге»

*) Герб Ганновера представлял скачущего коня.

Рюкснера *); если они и могут доказать, что предки их, в качестве рыцарей-крестоносцев, были при взятии Иерусалима, пусть, прежде чем делать благоприятные для себя выводы, они докажут также, что эти рыцари честно сражались, что под их железными латами не было подкладки из желтой трусости, и что под красным крестом их билось сердце честного человека. Если бы не существовало Илиады и остался лишь список имен героев, бывших под Троею, и если бы имена их сохранились в лице потомков,—как чванились бы своим дворянством потомки Терсита! О чистоте крови я даже и говорить не хочу: философы и конюхи держатся на этот счет совершенно особых мнений.

Упреки мои касаются, главным образом, плохого воспитания ганноверского дворянства и с ранних пор внушаемых ему нелепых идей о важности некоторых форм, достигаемых дрессировкою. О, как часто приходилось смеяться, когда я замечал, какое значение придается этим формам; как будто так трудно изучить это представительство, эти представления, эти улыбки без слов, эти слова без мыслей, и все это дворянское искусство, которому добрый мещанин изумляется, как чуду морскому, и которым любой французский танцмейстер владеет лучше, чем немецкий дворянин, с трудом постигающий это искусство в обламывающей медведей Лютеции с тем, чтобы преподавать его дома своим потомкам с немецкою основательностью и тяжеловесностью. Это напоминает мне басню о медведе, который танцевал на базарах, убежал от вожатого, вернулся в лес к собратьям и стал хвастать—какое трудное искусство танцы, и как далеко пошел он в этом деле,—и, действительно, бедные звери не могли не дивиться тем образцам искусства, которые он представил **). Эта нация, как называет их Веертер, составляла высшее общество, блиставшее в этом году здесь в воде и на берегу, и все это были сплошь милые, милые люди, и все они хорошо играли.

*) Г. Рюкснер „Турнирная книга. О начале, причинах, происхождении и возникновении турниров в священной Римской Империи Германского народа“ (1556 г.), содержит, в числе других, данные о происхождении дворянских родов.

**) Сравни.—Атта Троль, гл. IV.

Были здесь и владетельные особы, и я должен признать, что они были скромнее в своих претензиях, чем более мелкое дворянство. Но я оставляю открытым вопрос, происходит ли эта скромность из сердечных качеств высоких особ, или же она вызвана их внешним положением. То, что я говорю, относится только к медиатизированным немецким князьям. С этими людьми недавно поступили весьма несправедливо, отняв у них верховную власть, на которую они имеют такие же права, как и более крупные князья, если только не быть того мнения, что все неспособное удержаться собственными силами не имеет права на существование. Но для раздробленной на мелкие части Германии оказалось благодеянием то обстоятельство, что вся эта компания миниатюрных деспотов принуждена была отказаться от власти. Страшно подумать, какое множество таких особ должны мы, немцы, кормить. Если даже все эти медиатизированные не держат в руке скипетра, то все же они держат ложку, нож и вилку, и притом отнюдь не едят овса, да и овес обошелся бы дорого. Я думаю, Америка когда-нибудь облегчит нам немного это княжеское бремя. Рано или поздно, президенты тамошних свободных штатов превратятся в государей, тогда этим господам понадобятся супруги, обладающие наследственными качествами, и они будут рады, если мы предоставим им наших принцесс, и на каждые шесть взятых принцесс дадим седьмую бесплатно, а затем и князьки наши могут пристроиться к их дочерям,—потому что медиатизированные князья поступили весьма политично, выговорив себе, по крайней мере, право родового равенства; они ценят свои родословные столь же высоко, как арабы—родословные своих коней, и по тем же побуждениям: они знают, что Германия всегда была большим, на подобие конного, княжеским заводом, который должен снабжать все соседние царствующие дома необходимыми им матками и производителями.

На всех водах освящено привычкою давнее право, в силу которого уехавшие гости подвергаются со стороны оставшихся довольно резкой критике, и, оставшись здесь последним, я в полной мере использовал это право.

Но теперь на острове так пустынно, что я кажусь себе

Наполеоном на Св. Елене. Разница та, что я нашел себе развлечение, которого ему недоставало. Именно, я занят здесь личностью самого великого императора. Один молодой англичанин снабдил меня только что вышедшею книгою Мэйтленда *). Этот моряк рассказывает, каким образом и при каких обстоятельствах Наполеон сдался ему, и как он держал себя на «Беллерофоне», пока, по приказу английского министерства, не был водворен на «Нортемберленд». Из книги ясно, как день, что император, с романтической уверенностью в британском великодушии, желая дать миру отдохнуть, обратился к англичанам скорее, как гость, чем, как пленник. Это было ошибкою, которую не совершил бы никто, и всего менее Веллингтон. Но история назовет эту ошибку столь прекрасной, столь возвышенной, столь величественной, что для нее потребно больше душевного величия, чем способны мы проявить во всех наших громких делах.

Причина, по которой капитан Мэйтленд выпустил в свет свою книгу, заключается, повидимому, в нравственной потребности самоочищения, свойственной всякому честному человеку, замешанному волею злого рока в двусмысленное дело. Самая же книга представляет неопценимый вклад в историю пленения Наполеона, и история эта, являясь последним актом его жизни, чудесным образом разрешает все загадки, заключенные в предыдущих актах, и, как подобает истинной трагедии, потрясает души, очищает их и дает примирение. Различие в характерах четырех главных повествователей, излагающих историю этого плена, выражающееся особенно в стиле и общем взгляде, уясняется вполне правильно при сопоставлении.

Мэйтленд, холодный, как буря, английский моряк, излагает события непредубежденно и точно, как будто заносит явления природы, в морской журнал; Лаказ **), энтузиаст-камергер, в каждой написанной им строчке простирается у ног императора, не как русский раб, а как свободный француз, невольно склоняющий колени в

*) Сэр Ф. Л. Мэйтленд (1776—1839)—командовал в 1815 г. кораблем „Беллерофон“ и опубликовал подробности пребывания на этом корабле Наполеона.

**) Marquis de Las Cases (1765—1842)—добровольно сопровождал Наполеона в изгнание и опубликовал книгу „Memorial de S-te Hélène“ (1823—1824).

изумлении перед неслыханным величием героя и сиянием славы. О'Мира *), врач, хотя и родившийся в Ирландии, но истый англичанин и, в качестве такового, некогда врач императора, признавший теперь верховные права падшего величия, пишет свободно, без прикрас, в соответствии с фактами, почти в лапидарном стиле; и напротив, не стилем, а стилетом представляется колкая, пронизывающая манера французского врача Антомарки **), итальянского уроженца, сознательно упивающегося скорбью и поэзией своей страны.

Оба народа, бритты и французы, выставили с каждой стороны по два человека обыкновенного ума, неподкупленных правящими кругами, и эти судьи судили императора и выносили приговор: вечная жизнь, вечное ему изумление, вечное сожаление!

Много великих людей прошло уже по земле, здесь и там остались пламенные следы их, и в священные часы являются они душе нашей в затуманенных образах; но равный им по величию человек видит своих предшественников еще явственнее; по отдельным искрам их земных светящихся следов познает он скрытые дела их, по единственному сохранившемуся слову постигает все тайники их сердца; и так, в таинственном общении, живут великие люди всех времен: на пространстве тысячелетий подают они друг другу знаки, и взором, полным значения, глядят друг на друга, взоры их встречаются на могилах погибших поколений, разделивших их, и они понимают друг друга. Для нас же малых, неспособных к такому тесному общению с великими людьми прошлого, которых лишь изредка созерцаем мы по следам их и по туманным образам,—для нас в высшей степени ценно узнать о великом человеке столько, чтобы без труда воспринять душою его образ с жизненной ясностью и этим расширить пределы своей души. Таков Наполеон Бонапарте. Мы знаем о нем, о жизни его и о его стремлениях больше, чем о других великих людях земли, и ежедневно узнаем больше и больше. Мы видим, как засыпанное изображение бога

*) O'Meara (1770—1836)—врач Наполеона на о-ве Св. Елены до 1818 г., автор книги: *"Napoleon in exile, or a voice from St. Helena"*.

**) Francesco Antommarchi (1780—1838) был, после удаления О'Мира, врачом Наполеона. Автор книги *"Les derniers moments de Napoléon"*.

постепенно откапывается, и с каждой отброшенной лопатою земли растет наше радостное изумление перед точностью и великолешием благородных форм, выходящих наружу; а те молнии, которые мечут враги, стремясь разрушить великий образ, лишь озаряют его еще большим блеском. Нечто подобное произошло с разоблачениями г-жи де-Сталь *), которая, при всей своей резкости, высказывает, в конце концов, лишь то, что император не был, как все люди, и что дух его не поддается измерению обычными мерами.

Такой именно дух имеет в виду Кант, говоря, что мы можем представить себе разум не умозрительный, как наш, а внутренне-постигающий, который идет от общего, от созерцания целого, как такового, к частному, то-есть, от целого к части. И действительно, то, что мы познаем путем медленных аналитических размышлений и ряда долгих последовательных заключений, этот дух созерцал и глубоко постигал в один момент. Отсюда и талант его — понимать современность и настоящее, сообразоваться с их духом и постоянно пользоваться ими, никого не оскорбляя.

Но, так как дух времени был не чисто революционный, а слагался из совокупности двух течений, революционного и контр-революционного, то Наполеон никогда не действовал ни в революционном, ни в контр-революционном духе, но всегда в духе обоих течений, обоих начал, обоих стремлений, которые объединились в нем; при том, он всегда действовал естественно, просто, величаво, без судорожной резкости, с мягким спокойствием. Поэтому он не вел мелких интриг, и удары его были основаны на искусстве понимать массы и руководить ими. К запутанным, долгим интригам склонны мелкие, аналитические умы, умы же целостные, интуитивные, напротив, каким-то удивительно гениальным образом умеют соединять все представляемые им настоящим средства так, чтобы быстро использовать их в своих целях. Первые часто терпят неудачу, ибо никакая человеческая мудрость не в состоянии предусмотреть всех случайностей жизни,

*) M-me de Staël была выслана Наполеоном из Парижа и провела 10 лет в изгнании. Ей принадлежит книга „Dix années d'exile“.

и жизненные отношения недолговечны и непостоянны; последним же—людям интуиции—их планы удаются с особою легкостью, так как им необходимо только правильно учесть настоящее и действовать затем так быстро, чтобы движение волн житейских не успело произвести какого-нибудь внезапного непредвиденного изменения.

Счастлирое совпадение—Наполеон жил как раз во времена особенно восприимчивые к истории, к расследованиям в ее области и к воспроизведению прошлого. Поэтому, благодаря мемуарам современников, лишь немногие частности о Наполеоне ускользнут от нас, и число исторических книг, изображающих его в большей или меньшей связи с остальным миром, растет с каждым днем. Вот почему известие о предстоящем выходе книги, принадлежащей перу Вальтер-Скотта, заставляет ждать ее с живейшим любопытством.

Все почитатели Скотта должны трепетать за него; ведь, такая книга легко может стать русским походом для той славы, которую он с трудом приобрел рядом исторических романов, тронувших сердце Европы более темой, чем поэтической силою. Тема эта—не одни сплошные элегические жалобы по поводу народного величия Шотландии, постепенно утесняемой чужими нравами, чужим владычеством и образом мыслей; в ней—великая скорбь о потере национальных особенностей, гибнущих во всеобщности новой культуры, скорбь, живущая теперь в сердцах всех народов. Ведь национальные воспоминания заложены в груди человеческой глубже, чем думают обыкновенно. Стоит только дерзнуть выкопать из земли старинные статуи, и в одну ночь расцветет и старинная любовь с ее цветами. Я выражаюсь не фигурально, но имею в виду факт: когда Беллок *), несколько лет тому назад выкопал из земли в Мексике древне-языческую каменную статую, он на следующий день увидел, что за ночь она украшена цветами; а ведь Испания огнем и мечом истребила древнюю веру мексиканцев, и в продолжение трех столетий разрыхляла и вспахивала их умы и засеивала их христианством. Такие цветы цветут и в произве-

*) „W. Bullock: Шесть месяцев в Мексике или Заметка о современном состоянии Испании“.

дениях Вальтер-Скотта; сами по себе, произведения эти пробуждают старые чувства; как некогда в Гренаде мужчины и женщины с воплями бросились из домов, когда на улицах раздалась песня о выступлении мавританского короля, вследствие чего на песню наложен был запрет под страхом смертной казни, так и тон, преобладающий в творениях Скотта, болезненно потряс весь мир. Тон этот находит отзвук в сердцах нашего дворянства, на глазах которого рушатся его замки и гербы; звучит он в сердце горожанина, скромный и старинный уют которого вытесняется широко распространяющимися, безрадостными модными течениями; отдается он в католических соборах, откуда бежит вера, и в раввинских синагогах, откуда бегут даже и верующие; он звучит по всей земле, до банановых рощ Индостана, где вздыхающий брамин предвидит смерть своих богов, разрушение древнего мирового уклада и полную победу англичан.

Этот тон, сильнейший из всех, какие способна издать исполинская арфа шотландского барда, не подходит, однако, к царственной песне о Наполеоне, новом человеке, человеке нового времени, человеке, так блистательно отражающем новое время, что мы почти ослеплены им и уже не в состоянии помнить об угасшем прошлом, о его поблекшем великолепии. Следует, повидимому, ожидать, что Скотт, сообразно со своею склонностью, выставит на первый план вышеуказанный стойкий элемент в характере Наполеона, контр-революционную сторону его духа, тогда как другие писатели признают в нем лишь революционное начало. С этой последней стороны изобразил бы его Байрон, который являл во всех своих устремлениях противоположность Скотту и, вместо того, чтобы, подобно ему, оплакивать падение старых форм, чувствует себя досадливо стесненным даже и теми, которые еще устояли; он готов разметать их своим революционным смехом и зубоскальством, негодуя, отравляет ядом своих мелодий священнейшие цветы жизни и, подобно безумному Арлекину, вонзает себе в сердце кинжал, чтобы хлынувшею оттуда черною кровью для забавы обрызгать господ и дам.

Право, в этот миг я живо чувствую, что я не поклонник, лучше сказать, не единомышленник Байрона, кровь

моя не так уж меланхолически-черна, горечь моя истекает из желчных орешков моих чернил, и, если во мне есть яд, то он—только противоядие; противоядие от змей, которые столь грозно таятся в развалинах старых соборов и замков. Из всех великих писателей, конечно, Байрон действует на меня при чтении наиболее болезненно, между тем как Скотт, напротив, каждым своим творением радует сердце, успокаивает и укрепляет. Меня радуют даже и подражания ему, как например, у В. Алексиса *), Брониковского **) и Купера ***); первый из них в романическом «Валладморе» ближе всех подходит к своему образцу и обнаруживает в позднейших произведениях такое богатство образов и мысли, что, при своей поэтической самобытности, пользуясь только формами Скотта, мог бы, я думаю, рядом исторических повестей воскресить в нашей душе драгоценнейшие моменты немецкой истории.

Но истинному гению невозможно указать определенные пути, они—вне всякого критического расчета, и пусть высказанное мною предубеждение к Вальтер-Скоттовской истории Наполеона останется только невинною игрою мысли. «Предубеждение» здесь—самое общее выражение. Лишь одно можно сказать определенно: книга будет читаться с восхода до заката, и мы, немцы, переведем ее.

Мы перевели и Сегюра ****). Не правда ли, это—красивая эпическая поэма? Мы, немцы, тоже сочиняем эпические поэмы, но герои их существуют только в нашем воображении. Напротив, герои французского эпоса—действительные герои, совершившие большие подвиги и перенесшие большие страдания, чем в состоянии придумать мы на своих чердаках.

А ведь у нас много фантазии, а у французов—мало; может быть, Господь Бог пришел на помощь французам

*) В. Геринг—W. Alexis—(1797—1876) издал под именем Вальтер-Скотта романы „Валладмор“ и „Замок Авалон“.

**) А. А. Ф. фон-Опельн-Брониковский (1783—1834)—немецкий романист, поляк по происхождению, автор повестей из польской истории, в стиле Вальтер-Скотта.

***) Д. Ф. Купер (1789—1854)—знаменитый американский писатель, автор „Кожаного чулка“.

****) П. Ф. граф Сегюр (1780—1873)—французский генерал и военный писатель автор „Histoire de Napoleon et de la grande Armée pendant 1812.“

инным путем, и стоит только рассказать, что видели они и проделали в последние тридцать лет, как у них является такая литература, взятая из жизни, какой не создал еще ни один народ, ни одна эпоха. Эти мемуары государственных людей, солдат и благородных женщин, ежедневно появляющиеся во Франции, образуют цикл легенд, которых хватит потомству для размышлений и песен, и средоточием которых является, подобно гигантскому дереву, жизнь великого императора. Сегюровская история русского похода—это песнь, французская народная песнь, принадлежащая к тому же циклу легенд; по тону своему и материалу она подобна и равна эпическим произведениям всех времен. Поколение героев, вызванное к жизни из недр Франции магическими словами «свобода и равенство», прошло, как в триумфальном шествии, по всей земле, опьяненное славою и вемое самим богом славы; оно приводит в ужас и возвеличивает, оно танцует, наконец, свой буйный воинственный танец на ледяных полях Севера, но лед подламывается, и сыны огня и свободы погибают от стужи и от рук рабов.

Такие опасения или пророчества о гибели героического мира общи, по основному тону и содержанию, эпическим поэмам всех народов. На скалах Эллы и других индийских священных гротов предвестия этих катастроф начертаны гигантскими иероглифами, ключ к которым находится в «Магабгарате»; Север воссоздал картину гибели богов в словах, крепостью не уступающих камням, в своей «Эдде»; «Песнь о Нибелунгах» поет ту же трагическую гибель, и последняя ее часть имеет особенное сходство с Сегюровскими описаниями пожара Москвы; Роландова песня о Ронсевальской битве, слова которой забыты, но самая легенда не умерла и еще недавно вызвана к жизни одним из величайших отечественных поэтов, Иммерманом, представляет ту же поэму бедствия; даже песнь об Илионе прекраснее всего возвеличивает старую тему, и все же она не великолепней и не мучительней французской народной песни, в которой Сегюр воспел гибель своего исторического мира. Да, это истинный эпос, героическая молодежь Франции — прекрасный герой, преждевременно погибающий, подобный

тому, о ком читали мы в песнях о гибели Бальдура, Зигфрида, Роланда и Ахилла, павших точно также, благодаря несчастью и измене; героев, которым мы удивлялись в Илиаде, мы вновь находим в песне Сегюра, мы видим, как они совещаются, ссорятся, дерутся, как некогда перед Скейскими воротами; и если мантия короля Неаполитанского *) слишком уж по модному пестра, то боевая его отвага и дерзость столь же велики, как у Пелида; Гектором, по кротости и мужеству, представляется нам принц Евгений; благородный рыцарь **) Ней сражается, как Аякс; Бертъе ***)—Нестор без мудрости; в Даву, Дарю, Коленкуре ****) и т. д. живут души Менелая, Одиссея, Диомеда. Только одному императору нет равного, в его голове—Олимп всей поэмы; по внешнему царственному величию, я сравню его с Агамемноном, потому что его, как и большую часть его великих боевых сподвижников, ожидала трагическая судьба, и потому, что его Орест *****) еще жив.

Подобно творениями Скотта, Сегюровский эпос пленяет наше сердце тоном. Но тон этот не пробуждает любви к безвозвратно минувшему; тон, на который настраивает современность, тон, который вдохновляет нас во имя современности.

Мы, немцы, в самом деле, настоящие Петеры Шлемили. Мы и в последнее время много видели, много вынесли, например, расквартирование и дворянскую спесь; мы проливали благороднейшую нашу кровь, например, для Англии, которая и теперь еще выплачивает ежегодно приличные суммы прежним владельцам оторванных немецких рук и ног; в малых делах мы так много сделали, что, если подсчитать все, получатся величайшие подвиги, например, в Тироле; и мы многое потеряли, например, титул Священной Римской Империи — и все-таки, при всех наших потерях, жертвах и лишениях, несчастиях и

*) Иоахим Мюрат, зять Наполеона, король Неаполитанский.

**) Герцог Евгений Лейхтенбергский.

***) Ней, Бертъе—военачальники в армии Наполеона.

****) Даву, Дарю—военачальники в армии Наполеона. Коленкур (1772—1827)—посол Наполеона в Петербурге, сопровождал Наполеона в обратном пути во Францию.

*****) Орест—сын Наполеона, герцог Рейхсгадтский, умер в 1832 г.

подвигах, литература наша не воздвигла ни одного из памятников славы, какие, подобно вечным трофеям, ежедневно возводятся нашими соседями. Наши лейпцигские ярмарки мало выиграли от битвы при Лейпциге. Я слышал, что один уроженец Готы собирается воспеть ее в эпической форме; но так как он еще не знает, принадлежит ли он к 100,000 душ, которые достанутся Гильдбурггаузену, или к 150,000, которые достанутся Мейнингену, или к 160,000, которые достанутся Альтенбургу, то он и не может начать своей поэмы, иначе ему пришлось бы начать так: «Воспой, о бессмертная душа, Гильдбурггаузенская душа, Мейнингенская душа, или также и Альтенбургская душа—все равно,—воспой спасение греховной Германии». Это духовное торгашество в самом сердце Германии и ее кровавая растерзанность подавляют всякое гордое чувство, а, тем более, гордое слово; лучшие наши подвиги становятся смешными, потому что глупо кончаются, и, пока мы хмуро укутываемся в пурпурный плащ, окрашенный кровью наших героев, является политический шут и нахлобучивает нам на голову колпак с погремушками.

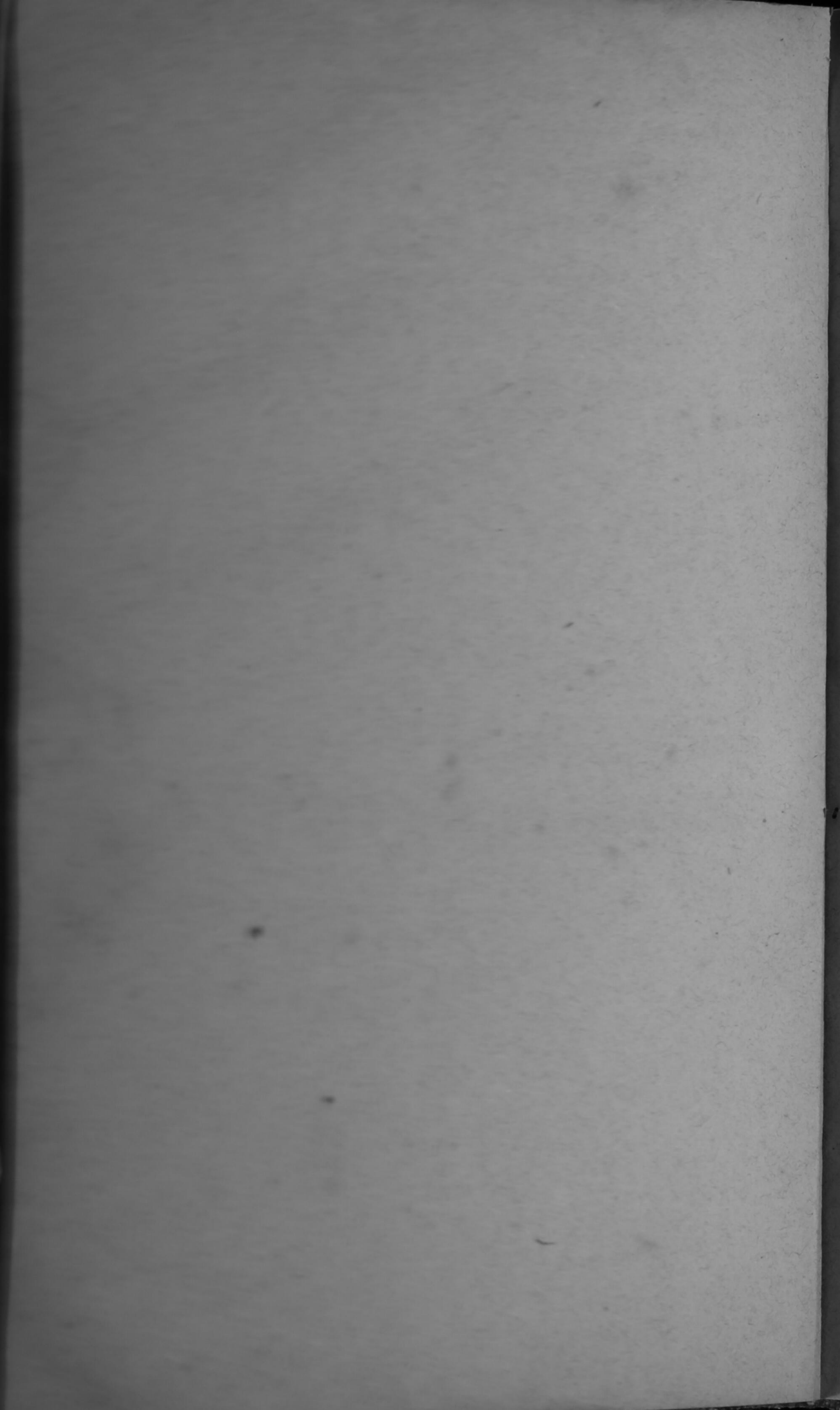
Именно для того, чтобы понять скудость и ничтожество нашей пустячной жизни, нужно сравнить литературы наших соседей по ту сторону Рейна и канала с нашей пустячной литературой. Впоследствии я распространюсь подробнее на эту тему о литературной нищете Германии... *).

Перевод с немецкого

В. Зорненфрея.



*) Следуют слова, относящиеся к ксениям Иммермана и сами ксении (см. предисловие)



ИДЕИ.—КНИГА LE GRAND
IDEEN.—DAS BUCH LE GRAND*)

1826

*) Французское заглавие: „Le tambour Le Grand“.

Трона нашего оплот,
Первенствующий в народе
Эриндунов славный род
Устоит, на зло природе.

В. Мюллер, „Вина“.

ЭВЕЛИНЕ

*посвящает эти страницы
в знак дружбы и любви*

Автор.

И Д Е И.

Глава I.

Она была любезна его сердцу, и он любил ее; но он не был любезен, и она не любила его.

(Старая пьеса).

Madame, знаете вы эту старую пьесу? Это совершенно необыкновенная пьеса, только чуть-чуть уж слишком меланхолическая. Когда-то я играл в ней главную роль, и все дамы плакали, лишь одна, единственная, не плакала, ни одной, хотя бы единственной слезы не пролила она, и в этом именно и заключалась соль пьесы, собственно, катастрофа.

О, эта единственная слеза! до сих пор мучит она меня в моих воспоминаниях; сатана, когда желает погубить мою душу, нашептывает мне в ухо песню об этой непролитой слезе, роковую песню с еще более роковой мелодией—ах, только в аду можно слышать эту мелодию!

Жизнь небесную вы можете себе представить, Madame тем более, что вы замужем. Там забавляются самым великолепным образом, там к услугам вашим всевозможные удовольствия, жизнь проходит среди сплошной радости и веселья, точно также, как живет Господу Богу во Франции. Едят с утра до вечера, и кухня не хуже, чем у Ягора *), жареные гуси летают с соусниками в клювах и чувствуют себя польщенными, если их кушают, блестящие от масла торты растут на свободе, как подсолнечники, всюду ручки бульона и шампанского, всюду деревья с развевающимися салфетками; там едят, вытирают рот

*) Ресторан в Берлине.

и опять едят, не расстраивая себе желудка, поют псалмы, или забавляются с прелестными, нежными ангелочками, или же ходят гулять по зеленому аллилуйному лугу; при том, белые, развевающиеся одежды сидят так удобно, и ничто не нарушает чувства блаженства, ни скорбь, ни дурное настроение; мало того, если даже кто-нибудь наступит случайно другому на мозоль и воскликнет «*excusez!*» то этот другой лишь улыбнется просветленно и скажет: *posture*, твоя не тяжела, брат мой, даже, *au contraire*, сердце мое исполняется от этого лишь еще большим небесным блаженством.

Но об аде, *Madame*, вы не имеете никакого понятия. Из всех чертей знаком вам, может быть, самый мелкий, Вельзевульчик Амур, благовоспитанный крупье преисподней, а самую преисподнюю знаете вы только из «Дон-Жуана», и она вам кажется недостаточно жаркою для этого согревателя женщин, подающего дурной пример, хотя наши достохвальные театральные дирекции пускают при этих случаях в ход столько световых эффектов, огненного дождя, порошу и канифоли, сколько может пожелать для преисподней только добрый христианин.

Между тем, в аду гораздо хуже, чем полагают наши театральные директора, и, если бы они знали это, они бы не ставили столько скверных пьес; в аду адски жарко, и когда однажды, в жаркую летнюю пору, я побывал в нем, я нашел, что там невыносимо. Вы не имеете никакого понятия об аде, *Madame*. Мы получаем оттуда мало официальных сообщений. Что бедные души в преисподней обязаны перечитывать целые дни все скверные проповеди, какие печатаются здесь, наверху,—это клевета. Так уж плохо дело в аду не обстоит, таких утонченных мук никогда не выдумать сатане. Но изображение дантовского ада, напротив, слишком мягко, в общем—чересчур поэтично. Ад показался мне какою-то большой мещанской кухней, с бесконечно длинной плитой, на которой установлены были в три ряда чугунные котлы, и в них сидели и жарились осужденные на проклятие. В одном ряду сидели грешники христиане и,—кто мне поверит!—число их было не так уже мало, и черти с особым усердием разводили под ними огонь. В другом ряду сидели евреи, бес-

прерывно кричавшие; черти время от времени дразнили их; так, вышло очень забавно, когда толстый ростовщик, отдуваясь, стал жаловаться на чрезмерный жар, и один из чертенят вылил ему на голову несколько ведер холодной воды, чтобы тот увидел, что крещение—благодеяние истинно освежающее. В третьем ряду сидели язычники, которые, подобно евреям, не могут удостоиться блаженства и должны вечно гореть. Я слышал, как один из них, которому дюжий чорт подложил новых угольев, закричал из глубины котла недовольным голосом: «Пощади меня, я был Сократ, мудрейший из смертных, учил правде и справедливости и пожертвовал жизнью во имя добродетели». Но глупый, неуклюжий чорт, не прерывая работы, промычал: «Э, что там! все язычники должны жариться, для одного человека мы не станем делать исключения!»—Уверяю вас, Madame, жара была ужасающая, крики, вздохи, стоны, кваканье, хныканье, визги—и среди всех этих раздражающих душу звуков явственно раздавалась роковая мелодия песни о непролитой слезе.

Глава II.

Она была любезна его сердцу, и он любил ее; но он не был любезен, и она не любила его.

(Старая пьеса).

Madame, старая пьеса—трагедия, хотя героя в ней не убивают, и сам он себя не убивает. Глаза героини прекрасны,—ах, как прекрасны. Madame, вы чувствуете запах фиалки?—так прекрасны, и, однако, так пронизывают, что, подобно стеклянным кинжалам, вонзились мне в сердце и, конечно, прошли насквозь, и все же эти предательские убийственные глаза не умертвили меня. Голос героини также прекрасен,—Madame, вы не слышали, как сейчас щелкнул соловей?—прекрасный, бархатный голос, сладостное сплетение солнечных тонов, и душа моя была им захвачена, она стала задыхаться и мучиться. Сам я—с вами, говорит граф Гангский, и действие происходит в Венеции—сам я в то время наскучил уже такими муками и подумывал положить конец игре еще в первом акте, и

выстрелом сорвать дурацкий колпак вместе с головою; и я отправился в галантерейный магазин на *Via Bugstah* *), где на выставке в ящике нашел пару прекрасных пистолетов—я еще хорошо помню все это,—рядом было разложено много интересных игрушек из перламутра и золота, железные сердца на золотых цепочках, фарфоровые чашки с нежными надписями, табакерки для нюхательного табаку с красивыми картинками, например, с божественною историею о Сусанне, с лебединою песнею Леды, с похищением сабинянок, с Лукрецией, толстою добродетельною особою с обнаженною грудью, куда она и вонзает слишком поздно кинжал, с блаженной памяти Бетман **), *la belle ferronnière*,—сплошь соблазнительные лица, но я все-таки купил пистолеты, почти не торгуясь, потом купил пуль, потом пороху, потом отправился в погреб сеньора N N и велел подать себе устриц и стакан рейнвейну.

Есть я не мог, а пить—еще менее. Горячие слезы капали в стакан, и в стакане видел я дорогую родину, голубой священный Ганг, вечносветящиеся Гималаи, гигантские банановые леса; по их широким, тенистым дорожкам спокойно бродили умные слоны и одетые в белое пилигримы, особенные причудливые цветы глядели на меня, с таинственным зовом, золотые чудесные птицы восторженно носились в воздухе, мерцающие лучи солнца и бессмысленно радостные голоса смеющихся обезьян нежно поддразнивали меня, из далеких пагод доносились молитвы жрецов, и среди этих звуков слышался жалобнотомный голос Делийской султанши—в своих крытых коврах покоях бурно носилась она с одного конца в другой, разорвала свое серебряное покрывало, опрокинула на-земь черную рабыню с павлиньим опахалом, плакала, шумела, кричала—я не мог понять ее, погреб сеньора N N находился в 3000 милях от Делийского гарема, к тому же, прекрасная султанша умерла уже 3000 лет тому назад,—и я жадно пил вино, светлое, благостное вино, и все-таки на душе моей становилось все темнее и печальнее—я был

*) Улица в Гамбурге.

**) Фредерика-Августа-Конрадина Бетман (1760—1814)—одна из самых выдающихся актрис своего времени.

приговорен к смерти.

Когда я поднялся по лестнице из глубины погреба, я услышал звуки колокола, призывающего к покаянию, человеческая толпа двигалась мимо меня; я уже остановился на углу Strada San Giovanni *) и произнес следующий монолог **):

В старинных сказках—замки золотые,
Под звуки арф красавицы там пляшут,
Сверкают яркие одежды слуг,
Благоухают розы и жасмины.
Но стоит слово вымолвить одно,
И в миг исчезнет все великолепье,
Останутся развалины в пыли
И карканье болотных птиц в трясине.
Так я одним своим единым словом
Цветущий мир расколдовал в мгновенье,
И он недвижим, холоден и вял,
Подобно телу мертвого владыки,
Чьи щеки покрывает слой румян
И в руки вложен скипетр величавый,
А губы вянут блеклой желтизной,—
Забыли их, как щеки, нарумянить,
И мыши нагло возятся у носа,
Над скипетром владыки издеваясь.

Всюду, вообще, принято, Madame, произносить монолог перед тем, как застрелиться. Большинство пользуется при этом случае гамлетовским «Быть или не быть». Это хорошее место, и я бы тоже охотно процитировал его здесь, но никто сам себе не враг, и если кто-нибудь, подобно мне, сам писал трагедии, где встречаются такие речи «под занавес жизни», как, например, бессмертный «Альманзор», то весьма естественно, что люди отдадут предпочтение своим собственным словам, хотя бы и перед шекспировскими. Во всяком случае, такие речи—прием весьма полезный; благодаря им, выигрывается по крайней мере время.—И вышло так, что я несколько задержался на углу Strada San Giovanni—и, когда стоял там, обреченный, присужденный к смерти, я увидел внезапно ее!

*) Улица в Гамбурге (Johannisstrasse).

**) Из «Альманзора», трагедии Г. Гейне.

На ней было голубое шелковое платье и розово-красная шляпа, глаза ее взглянули на меня так нежно, торжествуя над смертью и даруя жизнь. Madame, вы знаете, конечно, из римской истории, что весталки в древнем Риме, встречая на своем пути преступника, ведомого на смертную казнь, имели право помиловать его, и бедняга оставался в живых. Одним своим взглядом она спасла меня от смерти, и я стоял перед нею, как возродившийся к жизни, как ослепленный солнечным сиянием ее красоты, и она прошла дальше—и оставила меня в живых.

Глава III.

И она оставила меня в живых, и я живу, а это—главное.

Пусть другим достается счастье—знать, что возлюбленная украшает их могилу цветами и орошает ее слезами верности. О женщины! ненавидьте меня, смейтесь надо мною, отвергайте меня! но не отнимайте у меня жизни. Жизнь чересчур уж забавна и сладостна; мир столь прелестно запутан; это сон опьяненного вином бога, украдкою, à la française удалившегося с пирушки богов и прилегшего уснуть на одинокой звезде; он и сам не знает, что вызывает к жизни все свои сны, и сновидения его то безумно пестры, то гармонически разумны—Илиада, Платон, Марафонская битва, Моисей, Венера Медицейская, Страсбургский собор, французская революция, Гегель, пароходы и т. д.—все это отдельные счастливые мысли в творческом сне бога,—но это длится недолго, бог просыпается, трет заспанные глаза и улыбается—и мир наш рассеялся в ничто, он даже не существовал.

Как бы то ни было, я живу. Если даже я только тень чьего-то сновидения, то все-таки это лучше холодного, черного, пустого небытия смерти. Жизнь—высшее из благ, и худшее зло—смерть. Пусть гвардейские лейтенанты из Берлина издеваются и называют трусостью то, что принц Гамбургский в ужасе отшатывается при виде своего открытого гроба,—у Генриха Клейста столько же мужества, сколько у него затянутых коллег с выпяченной грудью, и,

к сожалению, он это доказал. Но все сильные люди любят жизнь. Эгмонт Гете неохотно расстается «с милой привычкою к существованию и деятельности». Эдвин Иммермана тянется к жизни «как ребенок к материнской груди», и как ни тяжело ему жить чужой милостью, все же он умолял о пощаде:

„Ведь жизнь, дыханье—высшее из благ“.

Когда Одиссей встречается в подземном царстве Ахилла, во главе мертвых героев и превозносит доблесть его среди живых и почести, доставшиеся ему среди мертвых, Ахилл отвечает:

„В смерти тебе не утешить меня, Одиссей благородный.
„Лучше простым мне поденщиком в поле усердно работать,
„Лучше нуждаться, лишенному крова и предков наследства,
„Чем повелителем быть над несчастной толпою умерших *).

Когда майор Дюван вызвал на поединок на пистолетах великого Израэля Леве и сказал ему: «Если вы не согласны, господин Леве, то вы—собака», этот последний отвечал: «Я предпочитаю быть живою собакою, чем мертвым львом!» **) и он был прав.—Я достаточно дрался на дуэлях, Madame, чтобы иметь право сказать: «Слава Богу, я жив!» В жилах моих кипит красная жизнь, под моими ногами трепещет земля, пламенея любовью, я обнимаю деревья и мраморные изваяния, и они оживают в моих объятиях. Каждая женщина для меня—целый мир, доставшийся мне в дар, я утопаю в мелодиях ее лица, и один единственный взгляд моих глаз может дать мне больше счастья, чем другим—все их органы на протяжении всей их жизни. Каждый миг для меня бесконечность; я не меряю времени брабантским или укороченным гамбургским аршином, и не требую от духовных лиц обещаний второй жизни, ибо и в этой жизни могу пережить довольно, живя в прошедшем жизнью предков, отвоевывая себе вечность в царстве минувшего.

И я жив! Биение великого пульса природы отдается в моей груди, и, когда я ликую, тысячекратное эхо отве-

*) Одиссея, п. 11, ст. 488—491.

**) Игра слов: „Löwe“—фамилия, в переводе—„лев“.

чает мне. Я слышу пение тысячи соловьев. Весна послала их разбудить землю от утренней дремоты, и земля содрогается от блаженства, цветы ее—гимны, которые она шлет в восторге навстречу солнцу,—солнце движется слишком медленно, мне хочется бичом ускорить бег его огненных коней. Но когда оно, шипя, опускается в море, и необъятная ночь нисходит с ее необъятными, страстными очами, о, тогда пронизывает меня истинный восторг, веяние вечера приникает к моему бурно-бьющемуся сердцу, подобно вкрадчивой ласковой девушке, звезды живают мне, и я возношусь и рею над ограниченной землей и ограниченными мыслями человеческими.

Глава IV.

Но придет некогда день, и пламя в моих жилах погаснет, в груди моей поселится зима, ее белые хлопья скудно прикроют мне голову, ее туманы застелят мой двор. В обветренных непогодами могилах лежат мои друзья, один остался я, как одинокий колос, забытый жнецом, новое поколение выросло с новыми мыслями, полный изумления прислушиваюсь я к новым именам и новым песням, старые имена забыты, и сам я забыт; может быть, меня еще уважают немногие, но большинство осмеивает, и никто не любит. Ко мне подсакивают краснощекие мальчики, подносят к моим дрожащим рукам старую арфу и, смеясь, говорят: «Ты долго молчал, старый лентяй, спой нам опять песню о грезах своей юности».

Я опять берусь за арфу, пробуждаются старые восторги и старые муки, туманы рассеиваются, слезы выступают опять на мертвых глазах, в груди вновь рождается весна, сладостно-скорбные тона дрожат на струнах арфы, опять я вижу голубую реку и мраморные дворцы, и прекрасные лица женщин и девушек—и пою песню о цветах Бренды.

Это будет моя последняя песня, звезды будут смотреть на меня, как в ночи моей юности, влюбленное сияние месяца зальет поцелуями мои щеки, издалека донесутся призрачные хоры погибших соловьев, глаза мои

сомкнутся в опьянении дремоты, душа отзвучит, как струны арфы,—как благоухают цветы Бренды!

Дерево осенит мою гробницу. Я хотел бы, чтобы это была пальма, но пальмы не растут на севере. Вероятно, это будет липа, и летним вечером под нею будут сидеть и нежничать влюбленные; чижик, притаившийся в ветвях, замолчал, и моя липа печально шумит над головами счастливых, столь счастливых, что им некогда даже прочесть надпись на белой надгробной плите. Лишь после, когда влюбленный потеряет подругу, он вернется к знакомой липе и вздохнет, и заплачет, будет долго рассматривать надгробную плиту и прочтет на ней надпись:— «Он любил цветы Бренды».

Глава V.

Madame, я солгал вам. Я не граф Гангский. Никогда в жизни не видал я ни священной реки, ни цветов лотоса, отражающихся в ее тихих водах. Никогда не лежал я, презя, под индийскими пальмами, никогда не склонялся молитвенно перед алмазной статуей Джагернаута *), который, однако, легко мог помочь мне. Я бывал в Калькутте, не более, чем калькуттское жаркое, с'еденное мною вчера за обедом. Но я родом из Индостана, и потому чувствую себя так привольно в обширных лесах, воспетых Вальмики **), героические страдания божественного Рамы трогают мое сердце знакомою скорбью, из цветущих песен Калидасы ***) расцветают сладостные воспоминания, и, когда несколько лет назад одна любезная дама в Берлине показала мне красивые картины, вывезенные из Индии ее отцом, который долго был там губернатором,—тонко очерченные, хранящие священное спокойствие лица показались мне такими знакомыми, и я как бы созерцал галерею собственных предков.

Франц Бопп ****). Madame,— вы, конечно, читали его

*) Священное место в Бенгалии, в Индии, куда ежегодно стекаются паломники.

**) Автор „Рамаяны“, индийской эпической поэмы. Рама—ее герой.

***) Величайший поэт Индии, автор „Сакунталы“.

****) Фр. Бопп (1791—1857)— выдающийся языковед, основатель сравнительного языковедения.

«Налус» и «Системы спряжения санскритского языка» — сообщил мне некоторые данные о моих предках, и я теперь знаю точно, что я произошел из головы Браммы, а не из его мозолей; подозреваю даже, что вся «Магабхарата» с ее 200.000 стихами есть лишь аллегорическое любовное письмо, писанное моим прапрадедом моей прапрабабушке. О, они очень любили друг друга, души их обменивались поцелуями, они глазами посылали друг другу поцелуи, оба они были слиты в один поцелуй.

Очарованный соловей сидит на красном коралловом дереве среди тихого океана и поет песню о любви моих предков, жемчужины с любопытством выглядывают из своих ракушек, чудесные водяные цветы вздрагивают от скорби, умные морские улитки с пестрыми фарфоровыми башенками на спине подползают ближе, стыдливо алеют морские розы, желтые, колючие морские звезды, тысячецветные стеклянные головастики движутся, тянутся. — все это кипит и внемлет.

Однако Madame, соловьиная песня слишком длинна, для того, чтобы воспроизвести ее здесь, она необъятна, как мир, одно посвящение Анангасу, богу любви, так пространно, как все романы Вальтер-Скотта, вместе взятые; к ней относится то место из Аристофана, которое в переводе гласит:

„Тиотио, тиотио, тиотинкс,
„Тототото, тототото, тототинкс“

(Фоссовский перевод) *).

Нет, я не родился в Индии; свет солнца увидал я на берегах той прекрасной реки, где на зеленых горных склонах растет само безумие, осенью оно собирается, выжимается, наливается в бочки и отправляется за границу. Правда, вчера за столом я слышал, как некто произнес глупость, которая анно 1811 еще была заключена в винограднике, росшей, как я сам видел, на Иоганнисберге. Но не мало этого безумия остается и в самой стране, люди там такие же, как везде: они рождаются, едят, пьют, спят, смеются, плачут, клеветают, беспокойно заботятся о про-

*) В Аристофановских „Штипах“ слова перебиваются этими звуками, изображающими пение соловья. Аристофан переведен известным филологом Фоссом.

должении своего рода, стараются казаться не тем, что они есть, и делать то, к чему неспособны, бреются не прежде, чем у них вырастут бороды, и часто обрастают бородою прежде, чем войдут в разум, а когда входят в разум, то вновь опьяняются белым и красным безумием. Mon Dieu! если бы во мне было столько веры, чтобы двигать горами, Иоганнисберг был бы той горою, которую я заставил бы всюду следовать за собой. Но так как вера моя не столь сильна, то мне должна помочь фантазия, и она переносит меня самого к прекрасному Рейну.

О, там есть прекрасная страна, полная прелести и солнечного сияния! В голубых волнах отражаются гористые берега с развалинами замков, лесами и старинными городами. Там, летним вечером, сидят у домов своих горожане, они пьют из больших кружек и дружески болтают о том, что вино, слава Богу, будет удачное, что суды должны быть непременно гласными, а г-жа Мария Антуанета гильотинирована ни за что, ни про что, что акциз сильно удорожил табак, что все люди равны и, что Геррес *)—ловкий парень.

Я никогда не интересовался подобными разговорами, предпочитал сидеть с девушками у сводчатых окон и смеялся, когда они смеялись, позволял хлестать себя цветами по лицу и притворялся сердитым до тех пор, пока они не поверят мне своих тайн или не расскажут каких-нибудь других важных историй. Прекрасная Гертруда до безумия радовалась, когда я подсаживался к ней; девушка эта была—как пылающая роза, и когда она однажды бросилась мне на шею, мне казалось, она сторит и изойдет благоуханиями в моих объятиях. Прекрасная Катарина растекалась в звенящей кротости, говоря со мною, и глаза ее синели так чисто и глубоко, как никогда не бывает у людей и у животных, лишь изредка—у цветов; как приятно было смотреться в них, думая при этом о многом сладостном. Но прекрасная Гедвига любила меня; когда я подходил к ней, она опускала голову, так что черные локоны падали на порозовевшее лицо и блестящие глаза светились, как звезды на темном небе. Ее стыдли-

*) Я. Н. фон-Геррес (1776—1848) — публицист и ученый.

вые уста не произносили ни слова, и я тоже не мог вымолвить ничего. Я покашливал, а она дрожала. Несколько раз она просила меня, через сестру свою, не взбираться так быстро на горы и не купаться в Рейне, когда я набегался до поту или только что пил. Я подслушал однажды ее благоговейную молитву перед статуэткою Богоматери, стоявшею, в золотых блестках, с зажженными перед нею свечами, в нише в сенях; я слышал ясно, как она просила Божию Матерь: запретить ему взбираться на горы, пить и купаться. Я бы непременно влюбился в эту прекрасную девушку, если бы она была ко мне равнодушнее; но я был равнодушен к ней, так как знал, что она меня любит. *Madame*, кто ищет моей влюбленности, должен обращаться со мною *en canaille*.

Прекрасная Иоганна была кузиною трех сестер, и я охотно к ней подсаживался. Она знала чудеснейшие легенды, и когда своею белою рукою указывала она в окно на горы, где происходило все то, о чем она рассказывала, я чувствовал себя зачарованным,—старинные рыцари явственно поднимались из развалин замков и рубили друг на друге железные одежды. Лорелей опять стояла на вершине горы и пела там, наверху, свою сладостно-губительную песнь, и Рейн шумел так осмысленно, спокойно, но вместе с тем так дразняще-жутко, и прекрасная Иоганна смотрела на меня так особенно, так таинственно, так загадочно-печально, как будто сама она принадлежала к сказочному миру, о котором рассказывала. Это была стройная, бледная девушка, смертельно-больная, она была задумчива, глаза ее были ясны, как сама истина, губы скромно сжаты, черты лица заключали в себе историю чего-то большого, но это была священная история, может быть, легенда любви. Я не знаю, и никогда не имел мужества спросить. Когда я долго смотрел на нее, я становился спокоен и весел, тихий воскресный день вставал, казалось, в моем сердце, и ангелы совершали там богослужение.

В такие прекрасные часы я рассказывал ей истории моего детства, и она всегда внимательно прислушивалась, и странно! когда я не мог вспомнить имен, она напоминала мне их. Когда я в таких случаях удивленно спра-

шивал, откуда известны ей имена, она с улыбкою отвечала, что узнала их от птиц, вивших гнезда под ее окном—и пыталась даже уверить меня, что это те самые птицы, которых я в детстве покупал на карманные деньги у жестокосердых деревенских мальчишек и выпускал потом на свободу. Однако, мне думается, она знала все потому, что была бледна и, действительно, скоро умерла. Она знала и то, когда умрет, и высказывала желание, чтобы я накануне покинул Андернах. На прощание она подала мне обе руки—то были бледные, прекрасные руки, чистые, как тело Господне,—и сказала: ты—добрый, и когда станешь злым, вспомни вновь о маленькой, мертвой Веронике.

Неужели и это имя открыли ей болтливые птицы? В часы воспоминаний я часто ломал себе голову и не мог вспомнить этого милого имени.

Теперь, когда я храню его в памяти, кажется мне, что в памяти моей опять расцвело раннее детство, и я снова—дита и играю с другими детьми на замковой площади в Дюссельдорфе на Рейне.

Глава VI.

Да, Madame, я родился там, и определенно отмечаю это обстоятельство на случай, если, после смерти моей, семь городов—Шильда, Кревинкель, Польквиц, Дюлкен, Геттинген и Шеппенштедт—будут спорить о чести называться моею родиною. Дюссельдорф—город на Рейне, там живут шестнадцать тысяч человек и, кроме того, многие сотни тысяч людей лежат там погребенные. Среди них имеются и такие, о которых мать моя говорит, что лучше было бы им остаться в живых, например, мой дед и мой дядя, старик фон-Гельдерн и молодой фон-Гельдерн, бывшие оба столь знаменитыми врачами, спасшие от смерти стольких людей и все-таки не сумевшие избежать смерти. И скромная Урсула, носившая меня в детстве на руках, тоже погребена там, и на могиле ее растет розовый куст—она так любила при жизни запах роз, и все ее сердце благоухало розами и добротой. И старый, умный кано-

ник тоже погребен там. Господи, каким жалким казался он, когда я в последний раз его видел! Он состоял только из духа и пластырей, и все-таки занимался наукою дни и ночи, как будто беспокоился о том, что черви не найдут достаточного количества идей у него в голове. И маленький Вильгельм лежит там, и в этом я виноват. Мы были школьными товарищами в монастыре францисканцев, играли в том месте его, где меж каменных стен течет Дюссель, и я сказал: «Вильгельм, вытащи кошечку, которая упала в воду»,—и он весело вскочил на доску, перекинутую через ручей, вытащил кошечку из воды, но сам упал туда, и когда его извлекли, он был мокры и мертв. Кошечка жила еще долго.

Город Дюссельдорф прекрасен, и, когда вспоминаешь о нем издали, и, если случайно родился там, на душе становится чудесно. Я там родился и чувствую, будто сейчас должен вернуться домой. И когда я говорю «вернуться домой», то думаю об улице Болькера и доме, где я родился. Этот дом некогда будет достопримечательностью, и я велел передать старушке, его владелице, чтобы она ни за что не продавала его. Она, ведь, за весь дом едва выручит ту сумму чаевых денег, которые получит от знатных англичанок в зеленых вуалях служанка, показывающая им комнату, где я узрел дневной свет, и темный угол, куда меня ставил отец, когда я поедал виноград, а также коричневые двери, на которых мать учила меня писать мелом—ах, Боже! Madame, если я стану знаменитым писателем,—бедной матери моей стоило это достаточных усилий.

Но теперь слава моя дремлет еще в мраморолонных Каррары, бумажные лавры, которыми увенчали мне чело, не распространили еще своего аромата по всему свету, и если теперь знатные англичанки в зеленых вуалях являются в Дюссельдорф, то они оставляют пока без осмотра знаменитый дом, а направляются к базарной площади и осматривают стоящую посреди ее черную колоссальную конную статую. Она должна изображать курфюрста Яна-Вильгельма *). На нем черный панцырь, низко свешив-

*) Курфюрст Иоганн-Вильгельм Пфальцский, которому обязан Дюссельдорф своим возникновением.

вающийся парик с длинными локонами—мальчиком слышал я легенду о том, что художник, отливавший статую, с ужасом заметил во время отливки, что металла для нее не хватит; тогда сбежались горожане и принесли ему свои серебряные ложки, чтобы закончить отливку—и вот, я часами стоял перед конной статуей и ломал себе голову: сколько могло быть в ней серебряных ложек и сколько пирожков с яблоками можно было закупить на это серебро. Пирожки с яблоками составляли в то время предмет моей страсти—теперь это—любовь, истина, свобода и раковый суп—и как раз недалеко от статуи курфюрста, на углу у театра, стоял обыкновенно парень удивительного сложения, с саблеобразными ногами, в белом переднике, с прекрасною корзинкою, полною сладостно дымящихся пирожков, которые он умел расхваливать дискантом, уничтожавшим всякое сопротивление. «Пирожки с яблоками, совершенно свежие, только что из печки, пахнут деликатно». Поистине, когда в позднейшие годы Искуситель являлся на моем пути, он говорил именно таким дискантом, и я не оставался бы у сеньоры Джульетты по двенадцати часов подряд, если бы она не усвоила этого сладостного, ароматического яблочно-пирожного тона. И поистине, никогда бы не соблазняли меня так пирожки с яблоками, если бы косолапый Герман не прикрывал их столь таинственно своим белым передником; ах, эти передники, которые—но они окончательно сбивают меня с намеченного пути, ведь, я говорил о конной статуе, в теле которой столько серебряных ложек и вовсе нет супу, и которая представляет курфюрста Яна-Вильгельма.

Говорят, это был бравый господин, большой любитель искусства, и сам очень искусный. Он основал картинную галерею в Дюссельдорфе, а на тамошней обсерватории еще показывают деревянный кубок, вырезанный им самим с большим искусством в свободные часы—их было у него двадцать четыре в сутки.

В то время князья не были такими мучениками, как теперь, и венец прочно держался на головах их, а на ночь они надевали сверх него колпак и спали спокойно, у ног их спокойно спали народы и, просыпаясь утром, гово-

рили: «С добрым утром, отец!», на что те отвечали: «С добрым утром, милые дети!». Но внезапно это изменилось; когда в одно прекрасное утро мы проснулись в Дюссельдорфе и хотели произнести «С добрым утром, отец», оказалось, что отец уехал, и по всему городу царила тупая угнетенность, во всем чувствовалось какое-то погребальное настроение, люди молча пробирались на рынок и читали длинную бумажную афишу на дверях ратуши. Погода была пасмурная, но тощий портной Килиан все-таки стоял в своей нанковой блузе, которую носил в другое время лишь дома; серые шерстяные чулки спустились вниз настолько, что выглядывали голые ноги, и узкие губы его дрожали, пока он бормотал про себя содержание прибитого к двери плаката. Старый пфальцский инвалид читал несколько громче, и при некоторых словах светлая слеза скатывалась на его седые, почтенные усы. Я стоял рядом, плакал вместе с ним и спрашивал: «О чем мы плачем?» И он ответил: «Курфюрст изъявляет благодарность». Затем он читал дальше, и, при словах «за выказанную верноподданническую преданность» и «освобождает вас от вашей присяги», начинал плакать еще сильнее. Странно видеть, когда внезапно начинает плакать такой старый мужчина в поношенной военной форме, с израненным солдатским лицом. В то время, как мы читали, на ратуше был убран герб курфюрста, все приняло такой устрашающе пустынный облик, казалось, ожидается солнечное затмение, господа городские советники ходили с таким отставным видом и так медленно, даже всемогущий уличный надзиратель похож был на человека, которому нечего приказывать, и стоял так мирно-равнодушно, несмотря на то, что сумасшедший Алоизий стал опять на одну ногу и с дурацкою гримасою гнусавил имена французских генералов, а пьяный, кривой Гумперц валялся в канаве и пел—«Ça ira, ça ira!»

А я пошел домой, плакал и скорбел: «Курфюрст изъявляет благодарность». Мать уговаривала меня, но я знал, что знал, и не дал уговорить себя, с плачем улегся в постель и во сне увидел, что пришел конец свету, прекрасные цветущие сады и зеленые луга убраны были с земли и скатаны, как ковры, уличный надзиратель взобрался по

высокой лестнице и снял с неба солнце, портной Килиан стоял тут же и говорил про себя: «Надо сходить домой и одеться получше, ведь, я умер, и сегодня должны быть мои похороны»,—и становилось все темнее и темнее, скудно мерцали вверху звезды, но и они попадали, как осенью желтые листья, понемногу исчезли люди, и я, бедный ребенок, боязливо блуждал взад и вперед; наконец, я остановился у ивового плетня какого-то опустевшего крестьянского двора и увидел человека, рывшего землю лопатой; рядом с ним стояла безобразная, злобная женщина, державшая в фартуке что-то вроде отрубленной человеческой головы,—это была луна; женщина с боязливою озабоченностью уложила луну в открытую яму, а за мною стоял пфальцский инвалид и, всхлипывая, читал по складам: «Курфюрст изъясняет благодарность».

Когда я проснулся, солнце светило в окно, как обыкновенно, на улице бил барабан; когда я вошел в комнату пожелать доброго утра отцу, сидевшему в белом пудермантеле, я услышал, как юркий парикмахер рассказывал ему, во время причесывания, во всех подробностях о том, что сегодня в ратуше присягали новому великому герцогу Иоахиму *), что этот последний принадлежит к лучшей фамилии и взял в жены сестру императора Наполеона; в самом деле, он очень представительен, его прекрасные черные волосы все в локонах; в ближайшее время должен состояться его везд и, несомненно, он очень понравится женщинам. Меж тем, барабанный бой на улице продолжался; я вышел за ворота и увидал вступающие в город французские войска. Этот ликующий народ—дитя Славы, с пением и музыкою исходивший мир,—серьезно-веселые лица гренадеров, медвежьи шапки, трехцветные кокарды, сверкающие штыки вольтижеров, полных веселья и *point d'honneur* и необъятного, затканного серебром тамбур-мажора, который мог достать булавою с позолоченною головкою до первого этажа, а глазами до второго, где сидели тогда красивые девушки. Я радовался, что у нас будет постой,—мать не радовалась—и я поспешил на базарную площадь. Теперь там

*) 25 марта 1805 г. зять Наполеона, Иоахим Мюрат, вступил в Дюссельдорф и 26 марта принял присягу.

все было совершенно иначе. Казалось, мир заново перекрашен: на ратуше висел новый герб, железная решетка балкона завешена была шитым бархатным ковром, французские гренадеры стояли на почетной страже, старые господа городские советники натянули на себя новые физиономии, надели свои воскресные сюртуки, посматривали друг на друга по французской манере и говорили *Bonjour!*, из всех окон глазели дамы, любопытные горожане и блестящие солдаты наполняли площадь; мы с другими мальчиками взобрались на курфюрстова коня и оттуда смотрели вниз, на пеструю базарную сутолоку.

Соседский Питтер и длинный Курц чуть не сломали при этом случае шею, и это было бы хорошо, так как один из них потом убежал от родителей, пошел в солдаты, дезертировал и был расстрелян в Майнце, а другой занялся впоследствии географическими исследованиями в чужих карманах, стал вследствие этого действительным членом одного общественного исправительного заведения, разорвал железные оковы, привязывавшие его к этому заведению и к отечеству, счастливо перебрался через пролив и умер в Лондоне от чересчур узкого галстука, затянувшегося вокруг шеи, когда королевский чиновник вышиб у него из под ноги доску.

Длинный Курц сообщил нам, что уроков сегодня не будет по случаю присяги. Мы долго ждали, пока она кончится. Наконец, балкон наполнился и застрел господами, знаменами, трубами, и господин бургомистр в своем знаменитом красном сюртуке произнес речь несколько растянутую, как резина или вязаный ночной колпак, в который бросили камень—только не философский камень; некоторые обороты его речи я явственно расслышал, например, что нас хотят осчастливить—при последних словах зазвучали трубы, склонились знамена, ударил барабан и раздались крики «виват!». И я, тоже крича «виват!», крепко держался за старого курфюрста. Да и следовало, так как у меня началось порядочное головокружение, мне казалось уже, что люди стоят на головах, и мир перевернулся; голова курфюрста в длинном парике кивала и шептала: «Держись крепче за меня!», и только пушеч-

ные залпы, раздавшиеся с вала, отрезвили меня; я медленно слез с курфюрстова коня.

Возвращаясь домой, я опять увидел, как сумасшедший Алоизий танцевал на одной ноге, бормоча имена французских генералов, и как хромой Гумперц валялся, пьяный, в канаве и рычал: *Ça iга, ça iга!*—и я сказал матери: «Нас хотят осчастливить и потому сегодня нет уроков».

Глава VII.

На другой день мир опять оказался в порядке, уроки шли также, как прежде, и вновь, как прежде, началось заучивание наизусть римских царей, исторических дат, *nomina na im, verba irregularia* *), греческий, еврейский, география, немецкий язык, вычисления в уме,—Боже, до сих пор голова идет у меня кругом,—все это надо было выучить наизусть. И кое-что из этого впоследствии мне пригодилось. Ведь, если бы я не знал наизусть имен римских царей, то потом мне было бы совершенно безразлично, доказал ли Нибур **), или не доказал, что они действительно никогда не существовали. И если бы я не знал хронологических дат,—как бы я впоследствии ориентировался в обширном Берлине, где дома похожи друг на друга, как две капли воды, или, как два гренадера один на другого, и где нельзя найти своих знакомых, если не помнишь их домовых номеров; с каждым из своих знакомых я связывал в уме какое-либо историческое событие, которого дата совпадала с номером их дома, так что я легко мог его вспомнить, припоминая дату события; потому и обратно, при виде знакомых, мне всегда приходило на ум историческое событие. Так, например, встречаясь со своим портным, я тотчас же вспоминал о Марафонской битве; если встречался мне принаряженный банкир Христиан Гумпель, я начинал думать о разрушении Иерусалима; когда видел я моего сильно

*) Слова, оканчивающиеся на *im*, неправильные глаголы.

**) Знаменитый историк Б. Г. Нибур (1776—1831) доказывает в своей „Римской истории“ что повествование Ливия о римских царях основано в значительной степени на легендарном материале.

залезшего в долги португальского друга, то припоминал бегство Магомета; видя члена университетского суда, известного своей строгостью и справедливостью, я думал о смерти Амана *); видя Вадцека **), думал я о Клеопатре. Ах, Боже правый, бедняга теперь умер, слезные мешечки высохли, и можно сказать вместе с Гамлетом: «если взять все в целом, это была старая баба, каких у нас еще будет много!». Как сказано, хронологические даты именно потому необходимы; я знаю людей, которые, имея в голове лишь две-три исторические даты, умели найти в Берлине пужные им дома и теперь стали ординарными профессорами. Но мне в школе пришлось помучиться с обилием цифр. Со счетом, в собственном смысле, дело шло еще хуже. Лучше всего я понимая вычитание, где существует очень практичное основное правило: «Четыре из трех вычестъ нельзя, нужно занять единицу»,—но я советую всем занимать в таких случаях на несколько грошей больше; ведь, нельзя знать...

Что касается латинского, то вы понятия не имеете, Madame, до чего это запутанная наука. У римлян, наверное, не осталось бы времени для завоевания мира, если бы им пришлось изучать сначала латынь. Эти счастливицы еще в колыбели знали, какие имена в винительном падеже оканчиваются на *im*. Я же, напротив, должен был учить эти имена наизусть в поте лица своего; но все же хорошо, что я их знаю. Ведь если бы, например, 20 июля 1825 года, когда я в публичном собрании, в зале Геттингенского университета, защищал диссертацию на латинском языке—Madame, стоило труда послушать ее—если бы я сказал *sinapem*, вместо *sinapim*, то, может быть, присутствовавшие фуксы заметили бы это, и я навлек бы на себя вечный позор. *Vis, buris, sitis, tussis, cucumis, amussis, canpabis, sinapis*, — слова эти, имеющие такое значение в мире, достигают этого тем, что, принадлежа к определенному классу, все же составляют исключение; потому-то я очень уважаю их, и то обстоятельство, что они у меня постоянно наготове, на случай, если внезапно понадо-

*) Аман был казнен (Кн. Эсфирь, гл. 7).

**) Вероятно, Ф. Д. Ф. Вадек (1762—1823)—педагог и народный писатель.

бятся, доставляет мне много внутреннего спокойствия и утешения в скорбные часы моей жизни. Но, *Madame*, *verba irregularia*—они отличаются от *verba regularia* тем, что за них достается еще больше розот,—ужасающе трудны. В душном сводчатом коридоре францисканского монастыря, недалеко от классной комнаты, висело большое Распятие серого дерева—мрачный образ, до сих пор посещающий меня иной раз в моих ночных сновидениях и печально взирающий на меня своими неподвижными, кровавыми глазами—перед этим образом часто стоял я и молился: «О, несчастный Бог, тоже претерпевший муки, если только есть какая-нибудь возможность, помоги мне удержать в памяти *verba irregularia*».

О греческом я и говорить не хочу: я чересчур сержусь в таких случаях. Средневековые монахи были не совсем уж неправы, утверждая, что греческий язык—изобретение дьявола. Богу известны страдания, которые я из-за него претерпел. С еврейским дело шло лучше, так как я всегда чувствовал большое расположение к евреям, хоть они и по сейчас распинают мое доброе имя; но все же я не мог пойти в еврейском так далеко, как мои карманные часы, имевшие много интимных сношений с закладчиками и приобревшие, вследствие того, некоторые иудейские навыки—например, по субботам они не ходили; они также научились священному языку и впоследствии занимались его грамматическими формами; я часто слышал с изумлением в бессонные ночи, как они непрерывно трещали: каталь, катальта, катальта—киттель, киттальта, киттальта—покат, покадети—пикат—пик—пик *).

В то же время я гораздо больше смыслил в немецком языке, а он не так уж ребячески легок. Ведь мы, бедные немцы, достаточно измученные постоями, воинскими повинностями, прямыми налогами и тысячами других поборов, мы обзавелись еще Аделунгом **) и изводим друг друга винительным и дательным. В значительной степени научил меня немецкому языку старый ректор Шаль-

*) Еврейские глагольные формы.

**) И. К. Аделунг (1732—1806)—знарок немецкого языка, автор книг по немецкой грамматике.

мейер, славный человек духовного звания, еще в детстве принявший во мне участие. Но кое-чему в том же роде я научился и от профессора Шрамма *), человека, который написал книгу о вечном мире, и в классах которого школьники больше всего дрались.

Написав все это в один прием и увлекшись различными воспоминаниями, я незаметно заболтался о старых школьных историях, и теперь, Madame, пользуюсь этим случаем, чтобы объяснить, что не моя вина, если я слишком плохо изучил географию и впоследствии не мог ориентироваться на земле. В то время французы перепутали все границы, что ни день, то страны окрашивались на карте в новую краску, синие стали вдруг зелеными, а некоторые сделались даже кроваво-красными; население, распределенное по учебникам, так перепуталось и перемешалось, что сам чорт не разыскал бы, кого следует; продукты местного производства также изменились: цикорий и свекла росли там, где в другое время видели только зайцев и гоняющихся за ними местных молодых дворян; изменились и характеры народов, немцы стали стоворчливее, французы перестали говорить комплименты, англичане не бросали денег в окно, венецианцы стали недостаточно хитрыми, среди князей произошел ряд повышений, старые короли получили новые мундиры, новые королевства пеклись и находили сбыт, как свежие булки, другие же государи, наоборот, были выгнаны из своих владений и принуждены были добывать себе хлеб иным путем, а потому некоторые из них заблаговременно занялись ремеслами, например, изготовлением сургуча, и, Madame, я заканчиваю, наконец, этот период, у меня захватывает дыхание—коротко говоря, в такие времена не далеко уйдешь в географии.

В этом отношении, естественная история лучше: в ее области не может произойти столько перемен, и она располагает определенными изображениями обезьян, кенгуру, зебр, носорогов, и т. д. Так как изображения эти остались у меня в памяти, то в дальнейшем часто слу-

*) И. Шрамм, — профессор естественного и народного права в Дюссельдорфе автор книги „Заметки по вопросу о всеобщем мире“ (1815).

чалось, что некоторые люди казались мне при первом взгляде старыми знакомыми.

С мифологией дело также шло хорошо. Сборище богов, столь весело правивших в голем виде вселенною, доставляло мне истинное удовольствие. Не думаю, чтобы в древнем Риме какой-нибудь школьник лучше меня изучил основные части своего катехизиса, например, любовные похождения Венеры. Говоря откровенно, раз уж мы вынуждены были так основательно знакомиться со старыми богами, следовало нам и сохранить их, и нет нам особой выгоды от нашего ново-римского триединства или, тем более, от нашего иудейского единобожия. Быть может, та мифология не была по существу так безнравственна, как ее описывают; так, например, весьма пристойна мысль Гомера дать супруга многогрешной Венере.

Но лучше всего обстояли мои дела во французском классе аббата д'Ольнуа, француза-эмигранта, написавшего множество грамматик, носившего рыжий парик и резво прыгавшего при изложении своего *Art poétique* и своей *Histoire allemande*. Во всей гимназии он был единственным преподавателем немецкой истории. Однако, и французский язык имел свои трудности, и для изучения его необходимы частые постои, много барабанного боя, много *apprendre par coeur*, и, прежде всего, не следует быть *bête allemande*. Дело не обошлось без кислых слов, и я помню еще так же хорошо, как если бы это случилось вчера, что претерпел много неприятностей от *la religion*. Раз шесть, пожалуй, спрашивали меня: «Henri, как по-французски вера?» И раз шесть, и все слезливее, отвечал я: «*Le crédit*»*. На седьмой раз, бешеный экзаминатор с багрово-красным лицом, закричал: «*La religion*», и посыпались удары, а товарищи мои смеялись. Madame, с той поры я не могу слышать слова *religion* без того, чтобы спина моя не бледнела от страха, а щеки не краснели от стыда. И, признаться, *le crédit* больше принес мне в жизни пользы, чем *la religion*. В эту минуту я вспоминаю, что должен еще пять талеров трактирщику «Льва» в Болонье—и, поистине, я принимаю на себя обязательство дополнительного долга еще в пять

*) Игра слов: вера—религия и вера—в кредит.

галеров трактирщику «Льва», если мне не придется больше никогда в этой жизни слышать слова *la religion*.

Parbleu, Madame, я далеко пошел во французском языке! Мне знаком не только *patois*, но и принятый у дворян язык французских бонн. Еще недавно в одном важном обществе я понял почти половину разговора двух немецких графинь, из них каждая насчитывала свыше шестидесяти четырех лет и стольких же предков. Да что! в *Café Royal* в Берлине я слышал однажды, как *Monsieur Ганс-Михель Мартенс* *) беседовал по-французски, и понял каждое слово, хотя в речи не было никакого смысла. Надо разуметь дух языка, а его лучше всего изучать по барабанному бою. *Parbleu!* как благодарен я французскому барабанщику, который так долго квартировал у нас и был похож на чорта, а сердцем был так ангельски добр и так отлично барабанил!

Это была маленькая, подвижная фигура, с черными, наводящими страх усами, из-под которых упрямо высовывались красные губы, а огненные глаза стреляли во все стороны.

Я, маленький мальчик, виснул на нем, как репейник, и помогал ему чистить яркие пуговицы и белить мелом жилет—*Monsieur Le Grand* не прочь был нравиться—я следовал за ним на караулы, на сборы, на парады—это был сплошной блеск оружия и веселья—*les jours de fête sont passés*. *Monsieur Le Grand* знал лишь несколько отрывочных слов по-немецки, только основные выражения—хлеб, поцелуй, честь,—но умел очень хорошо объясняться при помощи барабана: например, когда я недоумевал, что значит слово «*liberté*», он барабанил Марсельезу, и я понимал его. Когда я не знал значения слова «*égalité*», он барабанил марш «*Ça ira, ça ira! les aristocrates à la lanterne!*», и я понимал его. Когда я не знал, что значит «*bêtise*», он барабанил Дессаусский марш, который, мы, немцы, как подтверждает и Гете, барабанили в Шампаньи, и я понимал его. Как-то он захотел объяснить мне слово «*d'Allemagne*», и стал барабанить ту примитивную, старую мелодию, которую часто слы-

*) Вероятно, К. фон-Мартенс.

пишь в базарные дни, как аккомпанимент танцующим собакам, а именно дум-дум-дум *), я рассердился, но понял его.

Подобным же образом учил он меня новейшей истории. Правда, я не понимал слов, произносимых им, но так как, разговаривая, он непрестанно барабанил, я знал, что он хочет сказать. По существу, это лучший учебный прием. История взятия Бастилии, Тюльери и т. д. становится вполне понятной лишь тогда, когда знаешь, как при этих обстоятельствах барабанили. В наших школьных учебниках читаем только: «Их сиятельства, бароны и графы и их высокие супруги были обезглавлены; их светлости, герцоги и принцы и их высокие супруги были обезглавлены; его величество король и превысокая его супруга были обезглавлены»—но, когда слышишь, как барабанят красный марш гильотины, то особенно ясно понимаешь все это и узнаешь, почему и как. Madame, это удивительный марш! Он пронизал дрожью мои члены, когда я впервые услышал его; и я был рад, что забыл его—становясь старше, забываешь такие вещи; молодому человеку приходится теперь запоминать много другого—вист, бостон, родословные таблицы, решения союзного совета, драматургию, литургию—и, правда, сколько я ни тер себе лоб, я долгое время не мог вспомнить эту поразительную мелодию. Но подумайте, Madame! Спужу я недавно за столом среди целого зверинца графов, принцев, принцесс, камергеров, гофмаршалов, гофшенков, обергофмейстеров, хранителей придворного серебра, гофмейстерин и—как еще называются эти знатные прислужники,—а прислужники, им подвластные, сновали за их стульями и подсовывали им полные тарелки;—я же обойденный и незамечаемый никем, праздно сидел без всякого занятия, скатывая хлебные шарики, и от скуки барабанил пальцем по столу—и, к ужасу моему, стал барабанить вдруг красный, давно забытый марш гильотины.

И что произошло? Madame, эти люди не позволят поме-

*) Dum—созвучно с dumm, что значит—дурак.

мои ноги, я не поставлю вам в упрек, если бы вы, в немой вашей наивности, высказались еще определеннее при помощи пинков. Как могу я, ученик Le Grand, слушать, как бранят императора? Императора! императора! великого императора!

Когда я думаю о великом императоре, в памяти моей встает вновь золотой, зеленый летний день, возникает, вся в цвету, длинная липовая аллея, на густых ветвях сидят, распевая, соловьи, шумит фонтан, на круглых клумбах растут цветы, мечтательно покачивая своими прелестными головками—я был с ними в чудесном общении, покрашенные тюльпаны кланялись мне спесиво-снисходительно, болезненно-нервные лилии кивали с нежною грустью, пьяно красные розы смеялись уже издали, встречая меня, ночные фиалки вздыхали—с миртами и лаврами я не водил еще тогда знакомства, так как они не привлекали ярким цветом, но с резедою, с которою у меня теперь такие неладья, я был особенно близок. Я говорю о придворном саде в Дюссельдорфе, где я часто лежал на траве и почтительно слушал, как Monsieur Le Grand рассказывал мне о военных подвигах великого императора и отбивал при этом на барабане марши, которые исполнялись во время этих подвигов, так что я живо все видел и слышал. Я видел переход через Симплон—император впереди, а за ним карабкаются вверх brave гренадеры, вспугнутые птицы поднимают крик и вдали гремят глетчеры—я видел императора, со знаменем в руках, на мосту в Лоди, я видел императора в сером плаще при Маренго—я видел императора на коне в сражении у пирамид—сплошь мамелюки и пороховой дым—я видел императора в битве при Аустерлице—у! как свистели пули на ледяной равнине!—я видел, я слышал битву при Иене—дум-дум-дум—я видел, я слышал битву при Эйлау, при Ваграме — — — нет, я едва мог все это выдержать! Monsieur Le Grand барабанил так, что едва не лопалась моя собственная барабанная перепонка.

Глава VIII.

Но что было со мною, когда я увидел его самого, собственными, высокоосчастливленными глазами, его самого, осанна! императора! *)

Это произошло в аллее придворного сада в Дюссельдорфе. Пробираясь сквозь глазающую толпу, я думал о подвигах и сражениях, о которых барабанил мне Monsieur Le Grand, сердце мое отбивало генеральный марш—и все же, в это самое время я вспомнил распоряжение полиции, запрещающее, под угрозой штрафа в пять талеров, ездить верхом по середине аллеи. Император со своею свитою ехал верхом прямо посередине аллеи, деревья в страхе наклонялись вперед, когда он проезжал, солнечные лучи с дрожью боязливого любопытства просвечивали сквозь зелень, и вверху, в голубом небе, явственно плыла золотая звезда. На императоре был простой зеленый мундир и маленькая историческая шляпа. Он ехал на белом коньке, и конек выступал с таким гордым спокойствием, так уверенно, так необыкновенно—будь я тогда прусским кронпринцем, я бы позавидовал этому коньку. Небрежно, почти свесившись, сидел император, одною рукою высоко держа повод и другою благодушно похлопывая по шее лошади. Это была солнечно-мраморная рука, могучая рука, одна из тех двух рук, которые смирили многоголовое чудовище анархии и внесли порядок в розни народов—и ею он благодушно хлопал по шее лошади. И лицо его было того цвета, который встречается у мраморных статуй, греческих и римских, черты его отличались теми же благородными пропорциями, как у древних, и на лице этом было написано: «Да не будет у тебя иных богов, кроме меня». Улыбка, согревающая и успокаивающая каждое сердце, играла на его губах—и все же, все знали, что достаточно этим губам свистнуть—*et la Prusse n'existait plus* **); достаточно этим губам свистнуть—и вся поповская компания отзвонит навсегда; достаточно этим губам свистнуть—и вся священная рим-

*) В 1811—1812 гг.

**) II Пруссия перестала существовать.

ская империя затанцует. И эти губы улыбались, и глаза улыбались тоже. Глаза эти были ясны, как небо, они могли читать в сердцах людей, они быстро, сразу проникали во все дела мирские, которые мы познаем лишь в их постепенности, видим только их расцвеченные тени. Лоб не отличался такою ясностью: на нем бродили отсветы будущих битв, и порою что-то вздрагивало на этом лбу—то были творческие мысли, великие мысли-скороходы, с их помощью дух императора незримо пробегал по вселенной—и, думается мне, каждая из этих мыслей дала бы любому немецкому писателю довольно материала на всю жизнь. Император спокойно ехал посередине аллеи, ни один полицейский не препятствовал, ему, за ним, на фыркающих конях, гордо ехала, в золоте и украшениях, свита, трещали барабаны, звучали трубы, рядом со мною вертелся сумасшедший Алоизий и гнусавил имена его генералов, невдалеке рычал пьяный Гумперц, а народ кричал тысячью голосов: да здравствует император!

Глава IX.

Император умер. На пустынном острове Индийского океана могила его, и он, которому тесна была земля, лежит спокойно под небольшим холмом, где пять плакучих ив горестно свешивают свои зеленые кудри, и скромный ручеек протекает с жалобно-тоскливым журчаньем. На надгробной плите его нет надписи; но Клио бесстрастным резцом своим начертала на ней незримые слова, которые, подобно хорам духов, будут звучать на пространстве тысячелетий.

Британия! тебе принадлежит море. Но не хватит в море воды, чтобы смыть позор, который завещал тебе, умирая, великий усопший. Не твой легкомысленный сэр Гудсон *), нет, сама ты оказалась наемным сицилийским бандитом, к которому обратились ваговорщики-короли, чтобы тайком отомстить сыну народа за дело, когда-то

*) Сэр Гудсон Лоо (1769—1844)—с 1815 г. губернатор на Св. Елене и страж Наполеона. Автор „Memorial relatif à la captivité de Napoléon à S-te Hélène“.

открыто совершенное народом над одним из них*).—А он был твоим гостем и приютился у твоего очага.

До позднейших времен будут французские дети петь песни и рассказывать об ужасном гостеприимстве Беллерофонта, и, если эти песни, полные насмешки и слез, достигнут того берега пролива, то покраснеют щеки всех честных британцев. Но когда-нибудь эта песнь дойдет до тебя, и нет уже больше Британии, в прах повержен гордый народ. Вестминстерские гробницы обращены в развалины, забыт царственный прах, в них почивающий. И св. Елена станет священной могилой, куда народы Востока и Запада будут совершать паломничества на пестро-разукрашенных флагами судах, закаляя сердце величественными воспоминаниями о подвигах Спасителя мира, претерпевшего муки при Гудсоне Лоо, как писано это в евангелиях Ла-Каза, О' Мира и Антомаржи.

Странно! трех величайших хулителей императора уже постиг ужасный жребий: Лондондерри **) перерезал себе горло, Людовик XVIII сгнил на своем троне, а профессор Заальфельд—все еще профессор в Геттингене.

Глава X.

Был ясный, слегка морозный осенний день, когда молодой человек, похожий по наружности на студента, медленно проходил по аллее дюссельдорфского придворного сада, то отбрасывая ногою, как бы с детской резвостью, шуршащие листья, устилавшие землю, то горестно взирая на обнажающиеся деревья с немногими уцелевшими на них золотыми листьями. Посматривая на них, вспоминал он слова Главка:

„Листьям древесным в лесу поколения подобны людские:
„Ветер к земле прибывает листы, но рождает другие
„Вновь зеленеющий лес, лишь весна опять наступает;
„Так же и с родом людским, те растут, а иные поблекли***).

Прежде молодой человек смотрел на те же деревья

*) Намек на казнь Людовика XVI.

**) Маркиз Лондондерри (1769—1822) в особенности способствовал падению Наполеона.

***) Изнада, п. VI, ст. 146—149.

с совершенно другими мыслями; он был тогда мальчиком и искал птичьих гнезд или майских жуков, которые очень забавляли его тем, что весело гудели, радуясь красоте природы и довольствуясь зеленым, сочным листком с апелькою росы, теплым солнечным лугом и сладостным запахом трав. В то время сердце мальчика было столь же мирно, как эти порхающие зверки. Но теперь сердце его состарилось, слабые лучи солнца погасли в нем, цветы умерли, и даже поблекли в нем прекрасные грезы любви, в бедном сердце ничего не осталось, кроме мужества и тоски, и, в чем больше всего признаться, — это было мое сердце.

В тот самый день я вернулся в мой старый, родной город, но мне не хотелось там ночевать, я стремился в Годесберг, чтобы, усевшись у ног подруги, поговорить с нею о маленькой Веронике. Я посетил дорогие могилы. Из всех своих друзей и знакомых я нашел в живых только дядю и тетку. Если я и встречал на улице знакомые лица, то меня уже никто не узнавал; сам город глядел на меня чужими глазами, многие дома за это время оказались перекрашенными, из окон выглядывали незнакомые лица, вокруг старых дымовых труб вились тощие воробы, все было так мертво и вместе так свежо, как салат, растущий на кладбище; где прежде разговаривали по-французски, слышался теперь прусский говор и успел обосноваться даже маленький прусский дворик; люди приобрели придворные титулы: бывшая куаферша моей матери стала придворною куафершею, завелись придворные портные, придворные сапожники, придворные истребители клопов, придворные винные лавки, весь город казался придворным лазаретом для придворных душевно-больных. Только старый курфюрст узнал меня, он стоял на том же месте; но, казалось, похудел. Стоя посредине рыночной площади, он наблюдал все современное запустение, а от такого зрелища не разжиреешь. Я был как во сне, вспоминал о зачарованных городах, и, чтобы не проснуться слишком рано, поспешил к воротам. В придворном саду я не досчитался нескольких деревьев, другие были искалечены, а четыре больших тополя, казавшиеся мне прежде зелеными гигантами, стали малень-

кими. Несколько хорошеньких девушек, прогуливались по саду, пестро разодевшись, как ходячие тюльпаны. С этими тюльпанами я был знаком, когда они были еще маленькими луковками; увы! это были соседские дочки, с которыми я разыгрывал когда-то «Принцессу в башне». Но прекрасные девы, которых я знал некогда в качестве цветущих роз, казались теперь поблекшими, и не в один высокий лоб, чье гордое выражение восхищало прежде мое сердце, врезаны были теперь косою Сатурна глубокие морщины. Только теперь, увы! слишком поздно открыл я, что должны были означать взгляды, которые они бросали тогда уже мужавшему мальчику; за это время наблюдал я в прекрасных глазах на чужбине такие же выражения. Глубоко растрогал меня смиренный поклон человека, которого я знал когда-то богатым и знатным и который теперь впал в нищету; заметно вообще, что люди, начиная опускаться, падают, как бы по закону Ньютона, все быстрее, ужасающе быстро. Но кто вовсе не показался мне изменившимся, так это маленький барон. Он так же весело, как прежде, прыгал по придворному саду, придерживая рукою левую полу сюртука, в другой руке он держал тоненькую тросточку, которой помахивал во все стороны; все то же постоянно приветливое личико, розовый румянец которого сосредоточился на носу, та же старая полукруглая шапочка, та же старая косичка, только теперь из нее выглядывало несколько седых волос, вместо прежних черных. Но, как он ни казался довольным, я все же знал, что бедный барон претерпел в последнее время много горя, личико его пыталось скрыть это обстоятельство, но седые волосы косички выдавали его. Сама косичка охотно бы утаила это—она болталась так скорбно-весело.

Я не чувствовал усталости, но мне захотелось еще раз присесть на деревянную скамью, где я вырезал когда-то имя любимой девушки. Я едва отыскал его, столько новых имен было там вырезано. Ах! однажды я заснул на этой скамье, и снились мне любовь и счастье. «Сны—пена». Вспомнились мне и старые детские игры, и старые, красивые сказки; но новая фальшивая игра и новая скверная сказка врывались в эти воспоминания; то была исто-

рия двух сердец, нарушивших взаимную верность и дошедших в своей неверности до того, что они утратили веру в самого Господа Бога. Это отвратительная история, и, если уж нет ничего лучше, можно над нею поплакать. О Боже! когда-то мир был так прекрасен, и птицы пели Тебе вечную хвалу, и маленькая Вероника смотрела на меня своим тихим взором, мы сидели перед мраморной статуей на замковой площади: с одной стороны — старый, заброшенный замок, где живут духи и где по ночам бродит дама в черном шелковом платье без головы с длинным шуршащим шлейфом; с другой стороны — высокое, белое здание, в верхних этажах которого чудесно сияли в золотых рамах пестрые картины, а в нижнем этаже стояли тысячи тяжелых книг; я и маленькая Вероника с любопытством рассматривали их, когда благочестивая Урсула поднимала нас к высоким окнам. Позже, став большим мальчиком, я ежедневно лазил там по самым высоким лестницам, доставал книги с самых верхних полок и читал так долго, что переставал бояться чего бы то ни было, и менее всего — дамы без головы; я стал столь разумным, что забыл все старые игры, и сказки, и картины, и маленькую Веронику и даже ее имя.

Однако, в то время, как я, сидя на старой скамье придворного сада, уносился мечтами в прошлое, услышал я позади себя смешанный говор человеческих голосов, жаловавшихся на судьбу бедных французов, отправленных во время русской войны, в качестве пленных, в Сибирь, где они были задержаны на несколько долгих лет, несмотря на заключение мира, и лишь теперь возвращались на родину. Подняв глаза, я действительно увидел этих пасынков славы; сквозь прорехи их изодранных мундиров проглядывала неприкрытая нищета, глубоко впавшие глаза придавали жалкое выражение их обветренным лицам и притихшие, усталые, большею частью прихрамывающие, они все же сохраняли в рядах своих подобие воинского равнения, и — довольно странно! — барабанщик со своим инструментом ковылял впереди; внутренне содрогаясь, вспомнил я легенду о солдатах, которые пали в бою днем, а ночью встают с поля сражения и, во главе

с барабанщиком, направляются на родину. О них поется в старой народной песне:

„Он барабанит выступленье,
Они встают с полей сраженья
И к городу, вперед!
Траллери, траллерей, траллера!
Здесь милая живет.

Рядами высохшие кости
Стоят, как камни на погосте,
А он—всех впереди;
Траллери, траллерей, траллера!
Пришел я—погляди! *).

Поистине, бедный французский барабанщик вышел, казалось, наполовину истлевший, из могилы, это была лишь крохотная тень в грязной, изодранной серой шинели, мертвенно желтое лицо с большими усами, печально повисшими над поблекшими губами, глаза походили на пережженные угли, в которых едва лишь мерцают искорки, и все-таки, по одной только такой искорке—я узнал Monsieur Le Grand.

Он также узнал меня, усадил на траву. Вот мы опять расположились рядом, как прежде, когда он учил меня французскому языку и новейшей истории с помощью барабана. При нем был все тот же знакомый старый барабан, и я не мог надивиться, каким образом спас он его от русской алчности. Он и теперь барабанил, как прежде, но при этом ничего не говорил. Однако, если губы его были мрачно сжаты, тем яснее говорили его глаза, победно светившиеся, когда он отбивал старые марши. Тополи рядом с нами задрожали, когда он забарабанил вновь красный марш гильотины. Также пробарабанил он про старые бои за свободу, про старые сражения, про подвиги императора, и казалось, что его барабан—живое существо, радующееся возможности выразить внутренний восторг. Я опять услышал гром пушек, свист пуль, шум битвы, опять увидел отважную перед лицом смерти гвардию, опять увидел веющие знамена, опять увидел императора на коне—но понемногу в ра-

*) Эта песня помещена в „Чудесном роге мальчика“ Брентано в несколько другой редакции.

дестную дробь стал вмешиваться какой-то унылый тон, с барабана понеслись звуки, в которых самое неистовое ликование жутко слилось с ужасающею скорбью, это был, победный и в то же время похоронный марш, глаза Le Grand широко раскрылись, как бы в духовном созерцании, и я увидал в них только одно—безбрежную, белую ледяную поляну, устланную трупами—то была битва под Москвою.

Я бы никогда не подумал, что старый жесткий барабан способен издавать такие горестные звуки, какие извлекал теперь из него Monsieur Le Grand. Это были выбарабаненные слезы, они звучали все тише, и, как печальное эхо, вырывались глубокие вздохи из груди Le Grand. Он становился все бледнее и призрачнее, его тощие руки дрожали от стужи, он сидел как во сне и только рассекал воздух своими палочками, как бы прислушиваясь к голосам издалека; наконец, он посмотрел на меня глубоким, бездонно-глубоким, умоляющим взором—я понял его—и голова его опустилась на барабан. Monsieur Le Grand не барабанил больше никогда в этой жизни. И барабан его не издал больше ни одного звука, ему не суждено было рабски отбивать зорю среди врагов свободы. Я очень хорошо понял последний, молящий взгляд Le Grand и, вынув стилет из трости, изрезал барабан.

Глава XI.

Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas, Madame! *) Но жизнь по существу своему столь сурова, что она была бы невыносима без такого смешения патетического и комического. Это известно нашим поэтам. Самые ужасные картины человеческого безумия Аристофан показывает нам лишь в веселом зеркале своей шутки; великую творческую боль, сознающую собственное ничтожество, Гете решается высказать лишь в незатейливых стихах театра марионеток, а смертную жалобу на мировую скорбь Шекспир влает в уста шуту, и при том боязливо играет его колпаком с погремушками.

*) От великого до смешного один только шаг.

Все они научились этому от великого праотца поэзии, который в своей тысячаактной мировой трагедии сумел достигнуть высшей степени юмора, как мы ежедневно убеждаемся: после ухода героев, на сцене появляются клоуны и арлекины со своими дурацкими дубинками и колотушками, после кровавых революционных сцен и императорских действий в перевалку приплетаются толстые Бурбоны, со своими старыми, отжившими остротами и изящно-закономерными каламбурами, и грациозно семенит туда же древняя знать со своею голодною улыбкою, а за ними шествует благочестивое духовенство со свещниками, крестами и хоругвями,—даже минуты высочайшего напряжения мировой трагедии не защищены обыкновенно от вторжения комических элементов; отчаявшийся республиканец, всаживающий себе, на подобие Брута, нож в сердце, быть может, прежде понюхал этот нож—не резали ли им селедку. И на этой великой мировой арене все идет так же, как на убогих наших подмостках: и на ней встречаются напившиеся герои, короли, забывшие свою роль, декорации, повиснувшие в воздухе, суфлеры с излишне громкими голосами, танцовщицы, действующие поэзиею своих бедер, блестящие костюмы в качестве главной приманки. И наверху, на небе, в первом ряду, сидят в то же время прелестные ангелочки и смотрят в лорнеты на нас, комедиантов, а милосердный Господь Бог сидит с серьезным видом в своей большой ложе и, может быть, скучает, или соображает, что театр просуществует недолго, так как некоторые получают слишком большое жалованье, другие слишком маленькое, и все слишком скверно играют.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, Madame!

В то время, как я заканчивал предыдущую главу и рассказывал вам, как умер *Monsieur Le Grand* и как я добросовестно выполнил *testamentum militare* *), изложенное в его последнем взгляде, раздался стук в дверь моей комнаты, и вошла бедная старая женщина, спросившая меня, не доктор ли я. И когда я ответил утвердительно, она вежливо попросила меня пойти к ней на дом и срезать мозоли ее мужу.

*) Завешание воина.

Глава XII.

Немецкие цензоры

болваны

Глава XIII.

Madame! вся Троянская война сокрыта была в яйце, высиженном Ледою, и вы никогда не поняли бы знаменитых слез Приама, если бы я не рассказал вам сначала о лебединых яйцах. Поэтому, не жалуйтесь на мои отступления. Во всех предыдущих главах нет строки, которая не имела бы отношения к делу. Я пишу сжато, избегаю всего лишнего, часто даже опускаю необходимое, например, я еще ни разу не прибегнул в должной мере к цитатам из писателей, а ведь цитирование старых и новых трудов—главное удовольствие молодого автора, и пара основательных ученых цитат украшает человека. Не подумайте только, Madame, что я недостаточно знаком с заглавиями книг. Кроме того, мне известен прием великих людей, умеющих выковыривать изюминки из булок и цитаты из ученых записок; знаю я также, откуда добывает Бартельс виноградный сок. На случай нужды, я мог бы призанять известное количество цитат у моих ученых друзей. Мой друг Г. *) в Берлине—маленький Ротшильд в отношении цитат и одолжит мне охотно несколько миллионов, а если у него и не окажется достаточного запаса, то он без труда добудет их у некоторых других космополитических банкиров духа. Но пока мне незачем прибегать к займам, я человек вполне обеспеченный и могу

*) Эдуард Ганс.

расходовать свои 10.000 цитат в год, мало того, я изобрел даже способ сбывать фальшивые цитаты за настоящие. Если бы какой-нибудь великий и богатый ученый, например, Михаил Беер *), пожелал купить у меня этот секрет, я охотно уступил бы его за 19.000 талеров; можно было бы и поторговаться. Другого своего открытия, я, в интересах литературы, не стану скрывать и намерен сообщить бесплатно.

Именно, я считаю правильным цитировать неизвестных авторов по номерам их домов.

Эти «хорошие люди—плохие музыканты», так говорится об оркестре в комедии *Ponce de Leon* **); эти неизвестные авторы все же хоть сами обладают экземпляром своей давно забытой книжки, и нужно знать номер их дома для того, чтобы найти ее. Если бы, например, я вздумал привести цитату из «Песенника для ремесленных подмастерьев Спитти», милая моя *Madame*, где бы вы нашли ее? Но если я процитирую:

«Vid. Песенник для подмастерьев, составленный П. Спитти, Люнебург, Люнерова ул. № 2, справа за углом»,—то вы можете, *Madame*, если по вашему это стоит труда, разыскать книжку. Но это не стоит труда.

Впрочем, вы не можете себе представить, *Madame*, с какою легкостью могу я приводить цитаты. Всегда я найду случай обнаружить свою глубокую эрудицию. Говоря, например, об обеде, я отмечаю, что греки, римляне и евреи тоже ели; перечисляя великолепные блюда, которые готовила кухарка Лукулла—уввы, зачем я родился на полторы тысячи лет позже!—отмечаю также, что общественные трапезы у греков назывались так-то и так-то, и что спартанцы питались скверным черным супом. Хорошо все-таки, что тогда меня еще не было на свете, я не могу представить себе ничего ужаснее, чем если бы я, несчастный, оказался спартанцем. Ведь, суп—мое любимое блюдо. *Madame*, я предполагаю в скором времени отправиться в Лондон, но, если правда, что там нельзя достать супу, то тоска по мискам с мясным супом моей родины скоро заставит меня вернуться. Насчет еды у древних евреев я

*) Михаил Беер (1800—1833)—автор «Парии», «Струэнзе» и пр., брат Мейербера.

**) «Ponce de Leon» комедия Клеменса Брентано (1804).

мог бы распространиться очень подробно и дойти до иудейской кухни новейшего времени. При этом случае, я процитирую всю Каменную улицу *). Я мог бы также отметить, насколько туманно из'ясняются многие берлинские ученые об еврейской кухне **), затем я перешел бы к другим отличительным и превосходным чертам евреев, к изобретениям, которыми мы им обязаны, например, к векселю, христианству,—но нет, последнего изобретения мы не поставим им в слишком большую заслугу, так как мы, собственно, еще очень мало применяем его на деле—я полагаю, что оно менее оправдало расчеты самих евреев, чем изобретение векселей. Я мог бы привести цитату также и из Тацита—по его словам, евреи поклонялись в своих храмах ослу, а, если заговорить об ослах, какое обширное поле открывается для цитат! Сколько замечательного можно сказать об античных ослах, в противоположность современным! Как разумны были первые, и ах! как глупы последние! Как толково рассуждает, например, Валаамова ослица.

Vid. Pentat. Lib.

Madame, в данную минуту у меня нет этой книги под рукой, и я оставляю место незаполненным. Зато, в отношении тупости новейших ослов я привожу цитату.

Vid.

Нет, я и здесь оставлю пробел, иначе тоже буду приведен, именно, *injuriam* ***). Новейшие ослы, ведь, большие ослы. Ослы старого времени, стоявшие на высоком уровне культуры, Vid. Gessneri ****). De antiqua honestate asinorum *****). (In comment. Götting. T. II, p. 32) перевернулись бы в могиле, если бы услышали, как выражаются о их потомках. Когда-то слово «осел» было почетным титулом: оно соответствовало, примерно, нынешним «надворному советнику», «барону», «доктору философии». Иаков сравнивает с ослом своего сына Исахара,

*) Улица в Гамбурге, населенная евреями.

**) Вероятно, имеется в виду, главным образом, профессор истории Х. Ф. Рюс, выступавший в печати против гражданского равноправия евреев.

***) Опять непереводимая игра слов, как в „Путешествии в Гарц“ (citiren) *Injuriam*—„за клевету“.

****) И. М. Гесснер (1691—1761)—выдающийся филолог, профессор в Геттингене.

*****) О честности древних ослов.

Гомер сравнивает с ним своего героя Аякса *), а в наше время с ним сравнивают господина фон...! Madame, при этом случае я мог бы углубиться в дебри истории литературы, я мог бы привести цитаты из многих великих мужей, некогда влюблявшихся, например, из Абельардуса, Пикуса Мирандулануса, Борбониуса, Куртезиуса, Ангелуса, Политиануса, Раймундуса Лулуса **) и Генрикуса Гейнеуса. По части любви, я мог бы цитировать также всех великих людей, не куривших табаку, например, Цицерона, Юстиниана, Гете, Гуго ***), себя—случайно все мы пятеро, так или иначе, юристы. Мабильон ****) не мог даже выносить дыма чужой трубки; в своем «Itinere germanico» *****) он жалуется, говоря о немецких гостиницах, «quod molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor» *****)). С другой стороны, некоторым великим людям приписывается особенная страсть к курению. Рафаил Торус *****) сочинил гимн табаку. Madame, вы можете быть, не знаете, что anno 1628 Исаак Эльзевериус отпечатал его в Лейдене in quarto, а Людовикус Киншот написал к нему предисловие. Гревнус даже воспел табак в особом сонете, великий Боксхорниус *****) также любил табак. Бейль в своем «Dict. hist. et critiq.» сообщает, что, как рассказывали ему, великий Боксхорниус надевал во время курения широкую шляпу с дыркой на полях спереди, куда он часто засовывал трубку, чтобы она не мешала ему заниматься. Кстати, упомянув о великом Боксхорниусе, я мог бы цитировать всех великих ученых, которым приходилось струсить и обратиться в

*) I. Монсей 49. 14.—Илиада, песнь 11-ая, ст. 558—565.

**) Схоластик Абельар (1079—1142)—знаменитый ученый. Giovanni Pico da Mirandola (1463—1494)—знаменитый ученый гуманист. Борбониус—известные два поэта, оба Nicolas Bourbon — старший (1503—1530) и младший (1574—1644) — писали на латинском языке. Curtesiус, из Падуи—автор духовных и светских стихов, ум. 1608 г. Angelo Poliziano (1454—1494)—итальянский поэт и ученый, предшественник Ариоста. Raimundus Lullus (1234—1315)—схоластик, автор «Ars magna Lulli».

***) Густав Гуго—юрист, учитель Гейне

****) Jean Mabillon (1632—1707)—ученый-бенедиктинец; был послан Кольбером в Германию для исторических изысканий.

*****) «Путешествие по Германии».

*****) «Что даже запах скверного табаку был ему невыносим».

*****) Raphael Thorigius—врач, латинский поэт, жил в Англии в начале 17-го столет.

*****) Эльзевиры были знаменитыми типографщиками в Лейдене и Амстердаме в 16—17 столетиях. Киншот—дворянская фамилия в Голландии в 16—17 столетиях, давшая много ученых и поэтов; впрочем, о Людвиге Киншоте сведений нет. И. Г. Гревнус (1632—1703)—филолог и историк. Марк-Зуерий Боксхорниус (1612—1653)—знаменитый голландский критик, профессор в Лейдене. Игра слов: ins Boxborn jagen—запугать.

бегство. Но я укажу только на Joh. Georg Martius *) «De fuga literatorum etc. etc. etc» **). Изучая историю, мы замечаем, Madame, что все великие люди один раз в жизни обращались в бегство: Лот, Тарквиний, Моисей, Юпитер, г-жа де-Сталь, Навуходоносор, Бениовский, Магомет, вся прусская армия, Григорий VII, рабби Изшак Абарбанель ***), Руссо—я мог бы назвать еще много имен, например, тех, кто занесен на бирже на черную доску.

Вы видите, Madame, у меня довольно основательности и глубины. Только систематизация не вполне дается мне. В качестве истого немца, я должен был бы начать эту книгу с объяснения заглавия, как водится в священной римской империи. Правда, Фидий не написал предисловия к своему Юпитеру, равным образом, на теле Венеры Медицейской не найдено никаких цитат—я осмотрел ее со всех сторон; но древние греки были греками, наш же брат—честный немец и неспособен совсем отречься от немецкой натуры, а потому я, хотя и с опозданием, принужден высказаться о заглавии своей книги.

И так, Madame, я говорю:

1. Об идеях.

А. Об идеях вообще.

а) о разумных идеях,

б) о неразумных идеях.

α) об обыкновенных идеях.

β) об идеях в зеленом кожаном переплете.

Эти последние разделяются опять на—но обо всем этом в свое время.

Глава XIV.

Madame, имеете ли, вы, вообще, понятие, об идее? Что такое идея? «В этом сюртуке есть несколько хороших идей», сказал мой портной, рассматривая с серьезным и одобряющим видом мой парадный сюртук, заведенный

*) И. Г. Мартиус (1676—1726)—пастор в Миттвейда.

**) „О бегстве литераторов и пр. и пр. и пр.“

***) Венгерец граф Бениовский (1741—1786)—враг России, был взят в плен и сослан в Сибирь, откуда бежал. Исаак-бен-Иегуда Абарбанель (1437—1508)—еврейский ученый, бежал в 1482 г. в Кастилию, а в 1492 г., при изгнании евреев из Испании, должен был покинуть эту страну.

мною в дни моего берлинского щегольства—теперь он переделан в скромный халат. Прачка моя жаловалась: «Пастор С. вбил в голову своей дочери идеи, она погупела от этого и не слушается разумных доводов». Кучер Паттенсен ворчит при всяком случае: «Вот так идея! вот так идея!» Вчера, когда я спросил его, что понимает он под словом идея, он обозлился и сердито проворчал: «Ну, ну, идея—это идея! идея—это всякая чепуха, которую воображают себе». В том же значении употреблено это слово, в качестве заглавия книги, надворным советником Гереном *) в Геттингене.

Кучер Паттенсен—человек, который ночью и днем найдет дорогу среди обширной Люнебургской равнины, надворный советник Герен—человек, который тоже инстинктом мудрости отыскивает старинные пути караванов на Востоке и, вот уже много лет, бродит по ним так же уверенно и терпеливо, как какой-нибудь древний верблюд; на таких людей можно положиться, за такими людьми можно идти спокойно, а потому я и дал настоящей книге название «Идеи».

Титул книги имеет, в силу изложенного, так же мало значения, как и титул самого автора, он выбран автором не из ученого высокомерия, и менее всего может быть объяснен тщеславием. Уверяю вас самым смиренным образом, Madame, я не тщеславен. Замечание это необходимо, как вы увидите после. Я не тщеславен... И если бы целый лавровый лес вырос на моей голове, и целое море фимиама излилось в мое юное сердце, я не возгордился бы. Мои друзья и прочие соотечественники и современники добросовестно об этом позаботились. Вы знаете, Madame, что старые женщины сплевывают обыкновенно в сторону своих питомцев, когда этих последних хвалят за красоту, с тем, чтобы похвала не повредила прелестным малюткам; вы знаете, Madame, что, когда триумфатор возвращался в Рим с Марсова поля, увенчанный славой и одетый в пурпур, на золотой колеснице, запряженной белыми конями, выстушая подобно богу среди свиты ликторов, музыкан-

*) А. Г. Л. Герен (1760—1842)—известный историк, профессор в Геттингене автор «Идеи о политике, сношениях и торговле выдающихся народов древнего мира».

тов, танцовщиков, жрецов, рабов, слонов, трофееносцев, консулов, сенаторов и солдат; то чернь следовала позади и распевала насмешливые песни, и вы знаете, Madame, что в дорогой нашей Германии много старых баб и много черни.

Как сказано, Madame, идеи, о которых здесь идет речь, столь же далеки от платоновских, сколь Афины от Геттингена, и вы не ждите поэтому от книжки больше, чем от самого автора. Поистине, мне, как и друзьям моим, непонятно, каким образом мог автор возбудить когда-либо подобное ожидание. Графиня Юлия, желая объяснить в чем дело, уверяет, что, если вышеозначенный автор и скажет иной раз что-либо действительно остроумное и новое, то это—лишь притворство с его стороны, по существу же он столь же глуп, как другие. Это неправда, я не притворяюсь, я говорю то, что срывается у меня с языка, пишу в полной невинности и простоте все, что приходит мне в голову, и я не виноват, если получается что-нибудь дельное. Но так уж выходит—в писательстве я счастливее, чем в Альтонской лотерее—хотелось бы мне, чтобы выходило наоборот,—и вот, из-под пера моего вырывается то удар в самое сердце, то умственная кватерна, и на то—воля Божья; ибо Он, отказывающий в красивых мыслях и в литературной славе благочестивейшим певцам Иеговы и назидательнейшим поэтам, для того, чтобы их не захвалили их земные собратья и чтобы они оттого не забыли о небесах, где ангелы уже готовят им жилище,—Он тем щедрее благословляет обыкновенно выдающимися мыслями и славой мирскою нас, прочих, профанов, грешных, кощунственных сочинителей, для коих небо все равно, что заколочено; Он делает это по своей божественной милости и состраданию, чтобы несчастная душа, все же созданная Им, не оказалась лишенной всего и получила хотя бы здесь, внизу, на земле, долю блаженства, в коем ей отказано там наверху.

Vid. Гете и авторов трактатцев.

Вы видите, Madame, что вам сочинения мои читать можно, они свидетельствуют о милосердии и сострадании Божиим, я пишу в слепом уповании на Его всемогущество. В этом отношении я—истинно христианский писатель. и.

подражая Губитцу *), скажу, что, начав этот период, еще не знаю, чем его закончу, и что собственно следует мне сказать, а потому я и полагаюсь на Господа Бога. Да и как бы мог я писать без такой благочестивой уверенности? В комнате у меня стоит мальчик из типографии Ланггофа и дожидается рукописи; слово, едва успевшее родиться, направляется, в неостывшем и влажном состоянии, в типографский станок, и предмет моих сегодняшних мыслей и чувств может завтра в полдень оказаться уже макулатурой.

Легко вам, Madame, напоминать мне Горациево «*non sum prematur in annum*» **). Правило это, как и другие, ему подобные, может быть хорошо в теории, но на практике никуда не годится. Когда Гораций подал писателям свой знаменитый совет—девять лет держать свои произведения в ящике стола, он должен был тогда же сообщить рецепт, как прожить девять лет без пищи. Гораций, придумавший это правило, сидел, может быть, за столом у Мецената и ел индеек с трюфелями, пудинг из фазанов с соусом из дичи, жаворонковые крылышки с тельтовскою морковью, павлиньи языки, индийские птичьи гнезда и Бог знает, что еще, и все это—даром. А мы, несчастные, родившиеся слишком поздно, живем в другие времена, наши меценаты думают совершенно иначе. Они полагают, что поэты и кизилевые ягоды созревают лучше всего, лежа некоторое время на соломе, они полагают, что собаки негодны для охоты за образами и мыслями, если они слишком жирно откормлены, ах! если они и покормят раз несчастного пса, то он оказывается неподходящим, менее всего заслуживающим подачки, например, таксом, лижущим руки, или тщедушною болонкою, умеющею пристроиться к благоухающим коленям хозяйки или же терпеливым пуделем, прошедшим школу жизни и умеющим таскать поноски, танцевать и барабанить... В то время, как я пишу, за мною стоит мой маленький мопс и лает—молчи, Ами, я не имел в виду тебя, ведь ты любишь меня и следуешь за хозяином в нужде и в опасности, умер бы на

*) Ф. В. Губитц—профессор художественной резьбы по дереву и народный писатель (1786—1870).

**) «Пусть напечатают на девятом году».

его могиле с такою же верностью, как любая другая немецкая собака, которая, будучи изгнана на чужбину, лежит перед воротами Германии, терпит голод и визжит... Простите, Madame, что я отклонился с тем, чтобы дать разъяснение моей бедной собаке, я возвращаюсь опять к Горациеву правилу и к неприменимости его в девятнадцатом столетии, когда поэты не могут обойтись без стипендии для своей музыки. *Ma foi* *), Madame! я не мог бы выдержать и двадцать четыре часа, не только девять лет, желудок мой не интересуется вопросом о бессмертии; обдумав все, я решил стать наполовину бессмертным и вполне сытым, и, если Вольтер готов был уступить триста лет своей вечной посмертной славы за хорошее пищеварение, то я предлагаю вдвое больше за самую пищу. Ах, какие вкусные, цветущие кушанья бывают в этом мире! Философ Панглосс прав: это лучший из миров! Но в этом лучшем из миров надо иметь деньги, деньги в кармане, а не рукописи в ящике стола. Хозяин гостиницы «Английский король», господин Мар — тоже писатель и знаком с Горациевым правилом, но, если бы я захотел выполнять последнее, не думаю, чтобы он девять лет кормил меня.

Впрочем, к чему бы мне и выполнять его? У меня так много тем для сочинений, что не приходится долго думать. Пока сердце мое полно любовью, а головы моих ближних — глупостью, у меня не будет недостатка в материале. А сердце мое всегда будет любить, пока существуют женщины; если оно охладает к одной, то сейчас же воспыхает к другой; подобно тому, как во Франции никогда не умирает король, так и в сердце моем никогда не умирает королева, а потому: *la reine est morte, vive a reine* **)! Точно также не умрет никогда глупость моих ближних. Существует лишь одна мудрость, и она стеснена в определенных границах; но можно насчитать тысячи видов безграничной глупости. Ученый казуист и пастырь духовный Шупп говорит даже: «На свете больше дураков, чем людей».

Vid. поучительные труды Шуппия, стр. 1121.

Если сообразить, что великий Шуппиус жил в Гамбурге,

*) Клянусь

**) Королева умерла — да здравствует королева!

то нельзя усмотреть преувеличения в этой статистической заметке. Я живу там же и, могу сказать, чувствую порядочное удовольствие при мысли, что все эти дураки, которых я здесь вижу, пригодны для моих произведений, все это—чистый гонорар, чистые деньги. В настоящее время, я благоденствую. Господь благословил меня, дураки уродились в этом году особенно обильно и, как хороший хозяин, я пользуюсь лишь немногими, выбираю самых изысканных и сохраняю их впрок. Меня часто можно встретить прогуливающимся, веселым и радостным. Подобно богатому купцу, который, потирая от удовольствия руки, прохаживается между ящиками, бочками и тюками в своем складе, брожу я среди своей публики. Вы все мои! Вы все мне одинаково дороги, и я люблю вас, как вы любите свои деньги, а это много значит! Я от души посмеялся, когда услышал недавно, что один из моих знакомых выразил беспокойство по поводу того, чем я буду жить в дальнейшем—ведь, сам он столь капитальный дурак, что я мог бы жить одним лишь его капиталом. Но иные дураки для меня не только чистые деньги—я уже предназначил для определенной цели те чистые деньги, которые я выработаю из них пером. Так, например, из одного плотно набитого, толстого миллионера я устрою себе плотно набитое кресло, известное у французов под названием *chaise percée* *). За его толстую миллионершу я куплю себе лошадь. И вот, когда я встречаю этого толстяка—верблюд скорее пройдет в царство небесное, чем этот человек сквозь игольное ушко—когда я встречаю толстяка прогуливающимся в перевалку, у меня является удивительное настроение; хоть я и вовсе незнаком с ним, я невольно приветствую его, и он отвечает таким сердечным, так располагающим к себе поклоном, что мне хочется тут же использовать его доброту, и лишь обилие нарядной публики, прохаживающейся мимо, меня смущает. Супруга его далеко не урод. Правда, у нее один единственный глаз, но тем он зеленее, нос ее—как башня, обращенная к Дамаску, грудь ее пространна, как море, и на ней развеваются всевозможные ленты, подобно флагам судов, вошедших в этот морской залив—при одном взгляде на все

*) Кресло для естественных отправлений.

это подступает морская болезнь—спина ее красива и закрутана слоем жира, как—образ для сравнения помещается несколько ниже,—а над фиалково-лиловою юбкою, прикрывающей этот «образ для сравнения», несомненно, работали всю свою жизнь многие тысячи шелковичных червячков. Вы видите, Madame, какого коня я себе заведу. Когда я на прогулке встречаюсь с этою дамою, сердце мое бьется сильнее, как будто я готовлюсь вспрыгнуть на коня, я помахиваю хлыстом, шевелю пальцами, щелкаю языком, делаю ногами всякие движения, как при верховой езде—гоп, гоп!—и милая особа смотрит на меня так задумчиво, с таким искренним сочувствием, она косит глазом, раздувает ноздри, кокетничает своим крупом, делает прыжки, пускается внезапно мелкою рысью, а я стою со скрещенными руками, благосклонно смотрю ей вслед и соображаю, пускать ли ее под уздою или на трензеле, надеть на нее английское или польское седло, и т. д. Те, кто видит, как я стою, недоумевают, что так притягивает меня к этой женщине. Злые языки пытались уже вызвать беспокойство в ее супруге и намекали, что я смотрю на его супружескую половину глазами ловеласа. Но говорят, мое почтенное, мягкокожее *chaise percée* ответило, что считает меня невинным, даже слегка робким молодым человеком, который с некоторым смущением взирает на него, как бы чувствуя потребность приблизиться и, в то же время, удерживаясь от этого, без застенчивости, бросающей в краску. Мой благородный конь полагал, напротив, что я обладаю свободным, непринужденным, рыцарским характером, а моя предупредительная вежливость означает лишь желание быть когда-либо приглашенным к их обеду.

Вы видите, Madame, я могу использовать всякого человека, и адрес-календарь составляет, собственно, основной предмет моего инвентаря. По той же причине я не могу никогда обанкротиться, так как даже своих кредиторов я использовал бы в целях заработка. Кроме того, как уже сказано, я живу экономно, чертовски экономно. Например, в то время, как я пишу эти строки, я сижу в темной мрачной комнатке на Дюстеровской улице—но охотно мирюсь с этим. Я мог бы, если бы захотел, сидеть в рос-

кошном саду, не хуже моих друзей и приятелей, стоит мне только использовать моих пьяниц-клиентов. К этим последним, *Madame*, принадлежат неудачливые парикмахеры, опустившиеся сводники, трактирщики, которым нечего есть, всякий сброд, знающий ход ко мне, и за деньги, даваемые на водку, рассказывающий мне *Chronique scandaleuse* своего квартала. *Madame*, вы удивляетесь, что я раз навсегда не выброшу эту публику за дверь? Что вам вздумалось, *Madame*? Эти люди—мои цветы. Когда-нибудь я опишу их в прекрасной книге, и на полученный гонорар приобрету себе сад; они, со своими красными, желтыми, синими, пестро изукрашенными лицами, представляются мне уже и теперь цветами в моем саду. Какое мне дело до того, что чужие носы утверждают, будто от этих цветов разит водкою, табаком, сыром и пороком. Мой собственный нос, моя вытяжная труба, по которой фантазия моя разгуливает, как трубочист, вверх и вниз, утверждает противное—он ощущает лишь аромат роз, жасминов, фиалок, гвоздики, левкоев. О, с какою приятностью буду я сидеть в одно прекрасное утро в своем саду, прислушиваясь к пению птиц, грея на солнце кости, вдыхая свежий аромат трав и вспоминая, при виде цветов, старый сброд!

Но пока я сижу еще в своей темной комнате на темной Дюстеровской улице и довольствуюсь тем, что собираюсь повесить посреди комнаты величайшего обскуранта всей страны. *Mais, est-ce que vous verrez plus clair alors?* Очевидно, *Madame*,— не поймите меня ложно, — я повешу не его самого, а только хрустальную лампу, которую куплю себе на гонорар, заработанный на нем. В то же время я полагаю, что было бы еще лучше, и во всей стране стало бы вдруг светло, если бы повесить обскурантов *in natura*. Но, если нельзя этих людей повесить, то следует заклеить их огнем. Я опять выражаюсь фигурально, я клеймлю *in effigie*. Правда, господин фон-Вейс—он бел *) и непорочен, как лилия—вообразил, что я рассказывал в Берлине, будто он действительно, заклеен; этот дурак заставил властей осмотреть его и письменно удостоверить, что на его спине не вытиснено никакого герба, и

*) Игра слов: *weiss*—белый.

это отрицательно-гербовое удостоверение он счел за диплом, открывающий ему доступ в лучшее общество, и удивился, когда его всетаки оттуда вышвырнули; теперь он призывает громы и молнии на мою бедную голову и хочет застрелить меня при первой же встрече из заряженного пистолета. И что вы думаете, Madame, как поступлю я? Madame, на этого дурака, т. е. на гонорар, который я заработаю на нем своим пером, я куплю себе хороший боченок рюдесгеймского рейнвейну. Я упоминаю об этом, чтобы вы не подумали, будто моя веселость при встречах на улице с господином фон-Вейсом объясняется злорадством. Поистине, я вижу в нем только свое любимое рюдесгеймское, и всякий раз, как взгляну на него, на душе у меня становится блаженно и приятно, и я невольно напеваю: «На Рейне, на Рейне растут наши лозы», «Волшебно образ тот красив», «О, белая дама!» Мой рейнвейн глядит в таких случаях весьма кисло, можно подумать, что он состоит из одного яда и желчи, но, уверяю вас, Madame, это настоящее вино; если даже на нем не выжжено удостоверительного герба, знаток все же сумеет оценить его, я с наслаждением раскупорю этот боченок, и, если в нем начнется чрезмерное брожение, и он будет грозить опасным взрывом, то, согласно требованиям закона, придется сковать его железными обручами.

Как видите, Madame, обо мне заботиться нечего. Я могу спокойно смобреть на все в этом мире. Господь благословил меня благами, и если он не наполнил непосредственно, моего погреба вином, то все же он позволяет мне работать в своем винограднике; мне следует только собрать виноград, раздавить, выжать, разлить в чаны—и светлый Божий дар готов; и если дураки не влетают мне в рот зажаренными, а попадают обыкновенно мне навстречу в сыром и неотделанном виде, то я всетаки умею вертеть их на вертеле, тушить и посыпать перцем до тех пор, пока они не станут мягкими и с'едобными. Вы порадуетесь, Madame, когда я как-нибудь устрою пиршество. Вы одобрите, Madame, мою кухню. Вы признаете, что я могу угощать своих сатрапов так же пышно, как некогда великий Агасфер, владевший ста двадцатью семью провинциями от Индии до Мавритании. Я зарежу це-

лые гекатомбы дураков. Великий филоспирт *), который, подражая Юпитеру, пытается, в образе быка, снискать расположение Европы, пойдет на товяжье жаркое; печальный трагик **), показавший нам на подмостках, изображающих печальное персидское царство, печального Александра, даст для моего стола отличную свиную голову, которая, как полагается, будет кисло-сладко улыбаться, держа во рту кусок лимона, притом изукрашенная старанием искусной кухарки ***) лавровыми листьями; певец коралловых губ, лебединых шей, вздрагивающих белоснежных холмиков, девченок, бедрышек, поцелуйчиков и ассесорчиков, а именно Х. Клаурен или, как называют его на Фридрихштрассе благочестивые бернардинки, «Отец Клаурен! наш Клаурен!»—доставит мне все те блюда, которые он так сладострастно описывает в своих ежегодных карманных непотребниках ****), с фантазией лакомой кухарки, и, кроме того, он даст нам особое блюдо с сельдерейным салатом, «при виде которого сердце вздрогнет от любви»; некая тощая придворная дама, у которой лишь голова годится в дело, доставит аналогичное блюдо, именно, спаржу; не будет недостатка и в геттингенской колбасе, в гамбургской копченой говядине, в померанских гусиных полотках, бычачьих языках, тушеных телячьих мозгах, треске и всяческих сортах желе, берлинских пышках, венских тортах, варених...

Madame, я мысленно уже испортил себе желудок. Чорт бы побрал такие пиры! я не могу много вынести. Мое пищеварение неважно. Свиная голова действует на меня, как и на всю немецкую публику—после нее я должен поесть салату Виллибальда Алексиса: он очищает. О, отвратительная свиная голова под соусом, еще более отвратительным, ни в греческом, ни в персидском вкусе, а во вкусе чая с зеленым мылом!

Подать сюда моего толстого миллионера!

*) Повидимому, имеется в виду Шеллинг.

**) Фридрих фон-Ихтриц (1809—1875)—автор трагедии „Александр и Дарий“

***) Людвиг Тик, написавший предисловие к трагедии.

****) „Шутки и дело"—многотомное собрание рассказов Клаурена.

Глава XV.

Madame, я замечаю легкую тень неудовольствия на вашем прекрасном лице, вы как будто спрашиваете: справедливо ли так обращаться с дураками, насаживать их на вертел, рубить на куски, шпиговать и даже прикалывать многих из тех, кого я не могу использовать и кто служит только добычею для острых клювов пересмешников, в то время, как вдовы и сироты их плачут и стонут. Madame, c'est la guerre *)! Я открою вам теперь, в чем дело: хотя я сам и не из числа разумников, но примкнул к этой партии—вот уже 5588 лет **), как мы воюем с дураками. Дураки полагают, что мы обошли их, они утверждают, что на весь мир отпущена лишь определенная доза разума, и всю эту дозу захватили, Бог знает, каким путем! разумники, и—вопиющее дело—иной раз один единственный человек присвоит столько разума, что сограждане его и вся страна погружены в невежество. Вот скрытая причина войны, войны поистине губительной. Разумники держатся, как им и надлежит, весьма спокойно, умеренно и разумно, они сидят, прочно окопавшись, за своими старо-аристотелевскими томами, располагая большим количеством оружия и защитных средств—ведь, они же сами придумали порох—и время от времени бросают начиненные доказательствами бомбы в лагерь врагов. К сожалению, последние чрезмерно многочисленны, они поднимают страшный крик и причиняют нам ежедневный урон; ведь, поистине, всякая глупость—урон для разумных! Военные хитрости их часто отличаются незаурядным лукавством. Некоторые вожди этой великой армии остерегаются признаться в истинных причинах войны. Они слышали, что некий известный фальшивец, зашедший в фальши так далеко, что написал, в конце концов, фальшивые мемуары, именно Фуше, выразился как то: «les paroles sont faites pour cacher nos pensées ***), и вот, они скрывают под разглагольствованием полное отсут-

*) Это—война.

**) По иудейскому летосчислению.

***) Слова существуют для того, чтобы скрывать мысли.

ствие мыслей: держат длинные речи, пишут толстые книги, и, если их послушать,—превозносят единый источник блаженства—разум, если посмотреть, занимаются математикой, логикой, статистикой, усовершенствованием машин, гражданским чувством, общею кормежкой, и т. д.; подобно тому, как обезьяна тем смешнее, чем больше старается походить на человека, так дураки эти тем смешнее, чем больше они представляются разумными. Другие вожди великой армии откровеннее, они признают, что их доля разума ничтожна, что им, пожалуй, и вовсе ничего не досталось, но в то же время утверждают, что разум—штука ненадежная и, в сущности, ничего не стоит. Может быть, это и правда, но, к несчастью, у них самих не хватает разума даже настолько, чтобы доказать это. Поэтому они пускаются на всевозможные уловки, открывают в себе новые силы, объявляя, что эти силы столь же действительны, как разум, а в некоторых крайних случаях еще действительнее, например, чувство, вера, вдохновение и т. д., и утешаются этими суррогатами разума, этим свежесваренным сахарным разумом. Меня, бедного, они ненавидят с совершенно исключительной силой, утверждая, что я по природе принадлежу к их лагерю, что я отщепенец, перебежчик, порвавший священные узы, что я даже шпион и тайно выведал их дурацкие дела с тем, чтобы отдать их потом на осмеяние своим новым союзникам, что я до того глуп, что не вижу даже, как эти последние смеются надо мною, ни в коем случае не признавая меня своим—и в этом отношении дураки совершенно правы. Правда, и те не признают меня своим, и по моему адресу часто направлены их скрытые хихиканья. Я хорошо это знаю, хотя и делаю вид, что не заметил. Но сердце мое обливается кровью, и, когда я остаюсь один, слезы текут у меня из глаз. Я прекрасно знаю—позиция моя неестественна; все, что я делаю, кажется разумникам глупостью, а дуракам—преступлением. Они ненавидят меня, и я чувствую справедливость пословицы: «Камень тяжел, песок бремя, но гнев дурака тяжелее, чем то и другое». И у них есть основание ненавидеть меня. Это чистейшая правда, я разорвал священные узы, по законам божеским и человеческим мне надлежало бы жить и умереть среди дураков. И ах, как

хорошо было бы мне среди них! И теперь еще, если бы я пожелал вернуться, они бы приняли меня с распростертыми объятиями. Они смотрели бы мне в глаза, стараясь угадать, что мне приятно. Они ежедневно приглашали бы меня к обеду, а по вечерам возили бы с собою в свои чайные общества и клубы, я мог бы играть с ними в вист, курить, вести разговоры о политике, и, если бы стал при этом зевать, услышал бы: «Какая прекрасная душа! какая верующая душа!». Разрешите мне, Madame, пролить слезу умиления,—ах, и я бы пил с ними пунш до тех пор, пока не наступит истинное вдохновение; тогда они в кресле относили бы меня домой, беспокоясь, чтобы я не простудился, тот подавал бы мне туфли, другой—шелковый халат, третий—белый ночной колпак; они сделали бы меня экстраординарным профессором, или председателем какого-нибудь душеспасительного общества, или главным калькулятором, или распорядителем римских раскопок; ведь, я человек, который пригодился бы во всевозможных специальностях, ибо я прекрасно отличаю латинские склонения от спряжений и не так легко, как другие, принимаю сапог прусского почтальона за этрусскую вазу. Мое чувство, моя вера, мое вдохновение могли бы повлиять очень хорошо в часы молитвы на меня самого, а мой выдающийся поэтический талант сослужил бы мне хорошую службу в дни рождений и бракосочетаний высоких персон, и было бы вовсе недурно, если бы я в большой национальной эпической поэме воспел всех тех героев, о которых достоверно известно, что из истлевших их трупов повылезли черви, выдающие себя за их потомков.

Многие, не родившиеся дураками и одаренные некогда разумом, ради этих выгод перешли на сторону дураков и живут среди них истинно праздной жизнью; глупости, которые сначала все же стоили им некоторого напряжения, стали теперь их второю натурою, мало того, на них уже можно смотреть не как на лицемеров, а как на истинно верующих. Один из таких, в чьей голове еще не наступило полного солнечного затмения, очень любит меня, и недавно, когда мы остались наедине, запер двери и сказал мне серьезным тоном: «Глупец, изображающий

из себя мудреца и не имеющий ума даже на столько, сколько есть его у рекрута во чреве матери! Разве ты не знаешь, что великие мира в нашей стране возвышают только тех, кто сам унижается и признает, что кровь их чище его собственной? А ты портишь отношения с низкими мира сего. Разве так уже трудно блаженно закрывать глаза, прятать в рукава сюртука скрещенные, в порыве веры, руки, низко клонить голову, подобно агнцу Божию, и лепетать заученные наизусть тексты из Библии? Поверь мне, ни одна светлость не вознаградит тебя за твое безбожие, люди любви будут тебя ненавидеть, клеветать на тебя и преследовать, и ты не сделаешь карьеры ни на небесах, ни на земле!»

Ах, все это правда! Но что же мне делать с моей несчастной страстью к разуму! Я пылаю к нему любовью, хотя он и не отвечает мне взаимностью. Я всем жертвую для него, а он ничего не дает мне. Я не могу от него отступить. Подобно тому, как иудейский царь Соломон воспел в Песне Песней христианскую церковь, при том, в образе черной, пылающей страстью девы, для того, чтобы иудеи ничего не заметили, так и я в бесчисленных песнях воспел—разум, и при том в образе белой, холодной девы, она—то влечет меня, то отталкивает, то улыбается мне, то гневается и, наконец, поворачивается ко мне спиной.

Вот эта тайна моей несчастной любви, которой я никому не открываю, дает вам, Madame, меру для оценки моей глупости. Вы видите, что она совершенно необычайна и величаво возносится над обычными человеческими глупостями. Прочтите моего «Ратклиффа», моего «Альманзора», мое «Лирическое интермеццо». Разум, Разум, только Разум!—и вы ужаснетесь перед высотой моего неразумия. Вместе с Агуром, вторым сыном Иакова, могу сказать: «Я всех безумнее, и нет во мне разума человеческого». Высоко над землею поднимается дубовый лес, высоко над дубовым лесом парит орел, высоко над орлом плывут облака, высоко над облаками блещут звезды. Madame, не захватывает ли у вас дух? Eh bien, высоко над звездами проносятся ангелы, высоко над ангелами возносится—нет, Madame,

выше не дерзает все мое неразумие. Оно и без того достигло достаточной высоты. Голова кружится от такого величия. Оно делает из меня гиганта в сапогах-скороходах. В обеденный час душа моя настроена так, как будто я могу с'есть всех слонов Индостана и потом поковырять в зубах колокольнею Страсбургского собора; под вечер я становлюсь столь сентиментальным, что готов выпить весь Млечный путь, не помышляя о том, что маленькие звезды его окажутся непереваримыми для желудка; потом разыгрывается настоящий спектакль, в голове моей собирается конгресс всех современных и древних народов, появляются ассирияне, египтяне, мидийцы, персы, евреи, филистимляне, франкфуртцы, вавилоняне, карфагеняне, берлинцы, римляне, спартанцы, турки, филистеры. Madame, слишком долго было бы описывать все эти народы, прочтите лучше Геродота, Ливия, немецкие газеты, Курция, Корнелия, Непота, «Друга общества» *). А я пока позавтракаю, сегодня утром что-то не весело пишется, я замечаю, что Господь Бог оставляет меня. Madame, боюсь даже, что вы заметили это прежде меня—да, вижу, что истинная помощь Божия сегодня вовсе отсутствовала. Madame, я начну новую главу и расскажу вам, как я, после смерти Le Grand, прибыл в Годесберг.

Глава XVI.

Воротясь в Годесберг, я вновь уселся у ног своей прекрасной подруги—рядом со мною прилег ее коричневый такс—и оба мы стали смотреть ей в глаза.

Святой Боже! в этих глазах отражалось все величие земное и, сверх того, самое небо светилося в них. Глядя в эти глаза, я умирал от блаженства, и, если бы умер в тот миг, душа моя устремилась бы прямо к ее глазам. О, я не в силах описать этих глаз! Я должен вывести из сумасшедшего дома какого-нибудь поэта, помешавшегося от любви, чтобы он, из глубины своего безумия, вызвал образ, с которым я мог бы сравнить ее глаза. Между нами говоря, я и сам был в то время до-

*) „Gesellschafter“—журнал, издававшийся в 1817—1848 г.г. Губитцом.

статочно помешан и не нуждался в помощнике «God d-n», выразился один англичанин, «когда она с таким спокойствием окидывает вас взглядом с ног до головы; медные пуговицы фрака расплавляются, и сердце тоже». «F-e!—сказал француз, «у нее глаза крупнейшего калибра, если она стрельнет своим тридцатифунтовым взглядом, крах!—всякий влюбится». Случившийся тут же рыжеволосый адвокат из Майнца сказал: «ее глаза похожи на две чашки черного кофе». Он хотел сказать нечто очень сладкое, ибо клал всегда невероятно много сахара в кофе. Скверные сравнения!—Я и коричневый такс недвижно лежали у ног красавицы, смотрели и прислушивались. Она сидела рядом со старым, седовласым воином—рыцарская фигура с поперечным шрамом на морщинистом лбу. Он говорил о семи горах, освещаемых прекрасною вечернею зарею, и о голубом Рейне, протекавшем невдалеке величаво и спокойно.

Какое было нам дело до семи гор, до вечерней зари, до голубого Рейна, до лодок с белыми парусами, плывших по реке, до музыки, раздававшейся с одной из лодок, и до болвана-студента, распевавшего так сладостно и нежно,—мы с коричневым таксом смотрели в глаза подруги и любовались ее лицом, сиявшим бледно-розовым светом, подобно месяцу среди темных туч, в ореоле черных кос и кудрей. То были величавые, греческие черты лица, смело закругленные губы, вокруг них играли скорбь, блаженство и детская резвость, и, когда она начинала говорить, слова вырывались как бы из глубины, почти со вздохами, и все же они с торопливым нетерпением следовали друг за другом, и когда она начинала говорить, речь лилась из прекрасных уст, как теплый и светлый цветочный дождь—о, тогда вечерняя заря нисходила на мою душу, с игривым звоном проносились в ней воспоминания детства, и яснее всех, как звук колокольчика, звучал во мне голос маленькой Вероники; схватив прекрасную руку подруги, я прижимал ее к своим глазам, пока не умолкал в душе звон—и тогда я вскрикивал и смеялся, такс лаял, лоб старого генерала морщился еще серьезнее, а я опять садился, схватывал прекрасную руку, целовал ее,—и говорил и рассказывал о маленькой Веронике.

Глава XVII.

Madame, вам уютно, чтобы я описал маленькую Веронику. Но я не хочу. Вы, Madame, не обязаны читать дальше, если не желаете, а я, с своей стороны, вправе писать только то, что хочу. Теперь я опишу прекрасную руку, которую целовал в предыдущей главе.

Однако, прежде всего, я должен сознаться, что недостойн целовать эту руку. Это была прекрасная рука, такая нежная, прозрачная, блестящая, сладостная, благоухающая, кроткая, милая—право, я должен послать в аптеку купить на 12 грошей эпитетов.

На среднем пальце надето было кольцо с жемчужиной—я никогда не видал жемчужины, обреченной на роль более плачевную; на безымянном—кольцо с голубою камеей—я часами изучал по ней археологию; на указательном—брильянт—это был талисман; смотря на него, я был счастлив, так как там, где был он, был и палец со своими четырьмя товарищами,—и всеми пятью пальцами она часто била меня по губам. С той поры, как я подвергся таким манипуляциям, я непоколебимо и твердо уверовал в магнетизм. Но она ударяла не сильно, и всякий удар я заслуживал какою-нибудь своею безбожною выходкою; ударив меня, она тут же испытывала раскаяние, брала пирожок, разламывала его пополам, одну часть давала мне, другую—коричневому таксу, и, улыбаясь, говорила: «Оба вы неверующие и не удостоитесь блаженства, нужно кормить вас на этом свете пирожками, так как за небесным столом вам не приготовлено места». Наполовину, приблизительно, она была права, я был тогда неверующим, читал Томаса Пэна *), *Système de la Nature* **), Вестфальский Указатель ***) и Шлейермахера ****), отращивал себе бороду, накапливал ума и стремился быть рационалистом. Но разум отказывался служить, когда нежная рука касалась моего лба, сладкие грезы овладевали мной, мне

*) Англичанин Thomas Paine (1737—1809)—либеральный политический деятель и писатель, с 1792 г. член французского конвента; автор „The rights of man“.

**) Наиболее популярное сочинение Гольбаха (1723—1789).

***), „Рейнско-Вестфальский Указатель“—журнал, в котором сотрудничал Гейне

****) Воззрения Шлейермахера (1768—1834) считались в прежнее время крайне свободолобивыми.

казалось, я слышу вновь благочестивые песенки в честь Божьей Матери, и я начинал думать о маленькой Веронике.

Madame, едва ли вы можете себе представить, как красива была маленькая Вероника в своем маленьком гробу. Горящие свечи, уставленные кругом, бросали отсвет на ее бледное, улыбающееся личико, на шелковисто-пурпурные розы и на шуршащие золотые блески, которыми разукрашены были ее головка и белая рубашка—благочестивая Урсула привела меня вечером в эту тихую комнатку, и, когда я увидел маленькую покойницу на столе, среди свеч и цветов, я подумал сначала, что это красивое восковое изображение какой-нибудь святой; но скоро я узнал милые черты и спросил со смехом, почему маленькая Вероника так спокойна. Урсула ответила: она умерла. И когда она сказала: она умерла... но я не хочу рассказывать сегодня эту историю, она слишком затянулась бы, мне пришлось бы говорить сначала о хромой сороке, которая ковыляла по замковой площади и насчитывала триста лет жизни, и я мог бы впасть в порядочную меланхолию. Мне внезапно захотелось рассказать другую историю, веселую и вполне уместную здесь, ибо это и есть, собственно, та история, которую я хотел изложить в настоящей книге.

Глава XVIII.

В груди рыцаря была сплошная ночь и скорбь. Стрелы клеветы метко поразили его, и, когда он шел через площадь Св. Марка, казалось, что сердце его порвется и истечет кровью. Ноги его подкашивались от усталости—весь день травил благородного зверя, а это был жаркий летний день—пот орошал чело рыцаря, и, садясь в гондолу, он глубоко вздохнул. Без мыслей сидел он в черной каюте гондолы, без мыслей качали его ласковые волны, неся по хорошо знакомому пути к Бренте, и, высадившись у хорошо знакомого дворца, он услышал: «Синьора Лаура в саду».

Она стояла, облокотясь на статую Лаокоона, у яркого

розового куста, в конце террасы, недалеко от плакучих ив, грустно склоненных над протекавшей рекой. Так стояла она, улыбаясь, кроткий образ любви, овеянный благоуханием роз. Рыцарь как будто проснулся от тяжелого сна и преобразился внезапно—одна лишь нежность и страсть. «Синьора Лаура!»—сказал он:—«я несчастен, гоним ненавистью, нуждою и ложью»... Тут он остановился и прошептал: «Но я люблю вас»... Слезы выступили на его глаза, и с влажными глазами, пылающими устами воскликнул он: «Будь моею, и люби меня!»

Таинственная, темная завеса спустилась над этим мгновением, никто из смертных не знает, что ответила Лаура, и, если спросить об этом ее ангела-хранителя в небесах, он прикроет свое лицо, вздохнет и промолчит.

Долго еще стоял одинокий рыцарь у статуи Лаокоона, лицо его было все так же измучено и бледно, бессознательно обрывал он лепестки роз с розового куста, измял даже молодые бутоны—куст никогда после этого не цвел—вдали жалобно насвистывал безумный соловей, плакучие ивы беспокойно шептались, глухо журчали прохладные волны Бренты, спустилась ночь с месяцем и звездами—и одна прекрасная звезда, всех прекраснее, упала с неба.

Глава XIX.

Vous pleurez), Madame?

О, пусть еще долго светят миру своими лучами глаза, проливающие теперь столь прекрасные слезы, и пусть в час кончины прикроет их горячая, любящая рука. Нежный, прощальный поцелуй, Madame, хорошая вещь... в час кончины, и да будет он вам в удел; и когда прекрасная, усталая голова опустится, и черные пряди волос разовьются над побледневшим лицом,—о, пусть Бог вознаградит вас тогда за слезы, пролитые за меня: ведь, я сам—тот рыцарь, с которым вы плакали, я сам—тот странствующий рыцарь любви, рыцарь закатившейся звезды.

Vous pleurez, Madame?

*) Вы плачете.

О, я знаю эти слезы! К чему притворяться дольше? Вы, Madame, сами, ведь, та прекрасная дама, которая уже в Годесберге так мило плакала, когда я рассказывал печальную сказку своей жизни. Как жемчуг на розах, катились прекрасные слезы по прекрасным щекам—такс молчал, смолк вечерний благовест со стороны Кенигсвинтера, Рейн журчал все тише и тише, ночь прикрыла землю своим черным плащом, а я сидел у ваших ног, Madame, и смотрел вверх, на звездное небо. В начале я принимал ваши глаза также за две звезды... Но как можно сравнивать со звездами такие прекрасные глаза! Эти холодные светила небесные не могут плакать о несчастьи человека, столь несчастного, что сам он больше плакать не может.

А у меня были еще особые причины узнать эти глаза—в этих глазах жила душа маленькой Вероники.

Я подсчитал, Madame, вы родились в тот самый день, когда умерла маленькая Вероника. Иоганна в Аndernахе предсказала мне, что я вновь найду в Годесберге маленькую Веронику — и я сразу узнал вас. Скверная была мысль, Madame, умереть как раз тогда, когда только что начинались наши забавы. С тех пор, как благочестивая Урсула сказала мне: «Она умерла», я стал бродить в полном одиночестве по картинной галлерее, но картины нравились мне уже не так, как прежде, казалось, они потускнели внезапно, лишь одна сохранила краски и блеск—вы знаете, Madame, о какой картине я говорю:

Это султан и султанша из Дели.

Помните, Madame, как часто мы часами стояли перед ней и благочестивая Урсула ухмылялась так странно, когда люди замечали, что лица на этой картине имеют такое сходство с нашими? Madame, я нахожу, что вы очень удачно изображены были на той картине, и непонятно, каким образом мог художник овладеть сходством с вами, вплоть до платья, которое тогда было на вас надето. Говорят, он был помешан, и ему пригрезился ваш образ. Или, может быть, душа его обитала в той большой, священной обезьяне, которая тогда была с вами в качестве жокея? В этом случае, он должен помнить еще о серебряном плаще, который он испортил, залив его красным ви-

ном. Я был доволен, что вы перестали его носить, он не особенно шел к вам, да и вообще, европейский костюм больше идет женщинам, чем индийский. Правда, красивые женщины красивы во всяком наряде. Помните, *Madame*, как один галантный брамин—он был похож на Ганезу *), бога со слоновым хоботом, раз'езжающего верхом на мыши—сказал вам однажды комплимент: «божественная Манека, спускаясь из золотого замка Индры к кающемуся королю Висвамитре, была, конечно, не прекраснее, чем вы, *Madame*!»

Вы больше этого не помните? Ведь, едва ли прошло 3.000 лет с тех пор, как сказаны эти слова, а красивые женщины, обыкновенно, не так скоро забывают нежностью и льстивые речи.

В то же время, мужчинам индийское платье идет больше, чем европейское. О, мои розово-красные, изукрашенные лотосами делийские панталоны! если бы вы были на мне, когда я стоял перед синьорой Лаурой и умолял ее о любви—предыдущая глава была бы совсем иной! Но увы! на мне были тогда желтые, соломенного цвета панталоны, сотканые одним трезвым китайцем в Нанкине—погибель моя была выткана в них—и я стал несчастным.

Часто бывает так, что сидит в маленькой немецкой кофейне молодой человек и спокойно пьет кофе из своей чашки, а между тем в необ'ятном, далеком Китае растет и расцветает погибель его, и прядется там, и ткется, и, несмотря на высокую китайскую стену, находит себе путь к молодому человеку, который принимает ее за пару нанкинских штанов, беззаботно надевает их и становится несчастным. И, *Madame*, в тесной груди человека может быть заключено очень много несчастья, заключено так, что бедняга сам долго не замечает этого и пребывает в хорошем настроении, весело пляшет, и насвистывает, и напевает—лалараллала, лалараллала, лаларал-ла-ла-ла!

*) Ганеза или Пулеар, сын Сивы, знаменитый своей силой, почитался в качестве одного из первых богов.

Глава XX.

Она была любезна, его сердцу и он любил ее; но он не был любезен, и она не любила его.

(Старая пьеса).

И из-за этой глупой истории вы хотели застрелиться? Madame, когда человек хочет застрелиться, он всегда найдет к тому достаточные основания. Можете положить на это. Но известны ли ему самому эти основания— вот вопрос. До последнего мгновения разыгрываем мы сами с собою комедию. Мы маскируем даже свое несчастье, и, умирая от раны в груди, жалуемся на зубную боль.

Madame, вы знаете, конечно, средство от зубной боли.

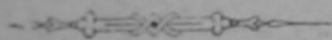
Но я страдал зубной болью в сердце. Это самая скверная боль, в этом случае хорошо помогает свинцовая пломба и зубной порошок, изобретенный Бартольдом Шварцем *).

Словно червь, точило несчастье мое сердце—бедный китаец невиновен, я принес это несчастье с собою на свет. Оно покоилось вместе со мною в колыбели, и мать, укачивая меня, укачивала и мое несчастье; когда она напевала мне колыбельные песни, вместе со мною засыпало и оно, и просыпалось, едва я открывал глаза. Когда я вырос, выросло и несчастье, оно сделалось, наконец, очень большим и разбило мое...

Поговорим лучше о других вещах, о брачном венце, о маскараде, о веселье и свадебных торжествах... лаларалла-ла, лаларалла, лаларал-ла-ла-ла.

Перевод с немецкого

В. Зорненфрея.



*) Пуля и порох.

М Е М У А Р Ы

М Е М О І R E N

1854—1855

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Жизнь Гейне отразилась в его собственных писаниях очень отрывочно и неполно. Главные отрывки, из которых можно почерпнуть сведения автобиографические,—книга „Le Grand“, „Признания“ и „Мемуары“.

Отрывок „Мемуаров“, часть большой рукописи, открытая в 1884 году, относится по времени к 1854—1855 годам. Возможно, что остальная и большая часть „Мемуаров“ хранится теперь в Гамбурге, или в Вене, или еще где-нибудь под семью замками. Опубликованная часть дает нам сведения о родных Гейне, о его детстве, о влиянии школы и о первой любви к Зефхен, дочери палача.

Поэт начал рано набрасывать воспоминания. О их содержании многое известно из его писем. Записи не сохранилось—часть ее сожжена самим Гейне. Сначала он написал, кажется, несколько важнейших глав, потом хотел соединить их и дополнить. Эти избранные главы он называет дневником, который составлял часть „Мемуаров“.

Содержание дневника было и личное и неличное. Гейне хотел показать, как его личная „смутная, напряженная жизнь“ переходит в „неличное, в идею“. Он хотел изобразить „гамбургскую шайку, в которой кое-что любил, многое ненавидел, а большую часть—презирал“ (письмо к Вольвилю от 7 апреля 1823 года—самое раннее указание на „Мемуары“).

Дяде Соломону повезло в этом изображении. „Слава Богу, когда я составлял мои мемуары, где часто приходилось о нем упоминать“, пишет Гейне, „у нас были блестящие отношения, и я, право, нарисовал его с опомогением“. Однако, на первом плане стояли события политические. Часть описания этих событий (1830 года) Гейне присоединил к своему сочинению о Берне, как вторую книгу. Он писал Кампе в 1840 году: „Вы видите, я делаю

для сочинения (о Берне) все, я жертвую ему не только гонораром за 5—6 печатных листов, но и гораздо более ценными местами одной из моих драгоценнейших рукописей".—Далее, поэт хотел использовать для автобиографии исследование о сенсизмизме, над которым он работал в Париже с Нагелем.

Гейне намеревался дать не короткий и сухой очерк своей жизни, а большую книгу: „может быть, много томов, которые охватили бы современную историю в ее великих моментах, пережитых мною, а также и замечательных лиц моего времени, всю Европу, всю современную жизнь, положение немцев до Июльской революции, результаты моего пребывания у очага политической и социальной революции, результат моих горестных и дорого обошедшихся мне опытов, книгу, которой ждут от меня, совсем своеобразную“ (письмо к Кампе 1837 года). В 1840 году он пишет: „Если я умру даже сегодня, после меня останется четыре тома моего жизнеописания или мемуаров, которые выражают мои мысли и мою волю: благодаря историческому содержанию, верному изображению таинственного переходного времени, они должны сохраниться в потомстве. Новое поколение захочет увидеть и пеленки, которые были его первой одеждой“.

В начале 1854 г. Гейне ссылается в „Признаниях“ на ту книгу, которой у нас нет: „В другом месте моих мемуаров я рассказываю подробнее, чем здесь, как после Июльской революции я переселился в Париж, где с тех пор живу спокойно и в довольстве“.

Таким образом, Гейне занимался подготовительными работами с 1823 года по 1837-й. Однако, о печати он не думал, собираясь напечатать книгу „гораздо позже“; в начале 1837 года, предложение книгопродавца Шейбле заставило его отклониться от первоначального намерения. Шейбле хотел издать полное собрание сочинений Гейне с его автобиографией. План этот расстроился, но пробудил в поэте желание опубликовать, наконец, мемуары. В том же году он думал обсудить их издание с Кампе. День и ночь занимала его эта большая книга—роман его жизни; теперь он сожалел о потере многих бумаг, уничтоженных пожаром в доме матери; они могли бы послужить ему важным материалом.

„Мемуары“ он захватил, однако, с собою в Париж; Кампе

колебался, не соглашаясь на положения Гейне, благодаря чему книга испытала замечательную судьбу.

Несколько лет спустя, в жизни Гейне произошли события изменившие его воззрения; многолетний спор с двоюродным братом Карлом (сыном дяди Соломона) относительно обещанной дядей, но не указанной в его завещании пенсии, окончился тем что Гейне получил эту пенсию, но должен был выдать расписку, в которой обязался не говорить в сочинениях своих ни слова против Карла и всей родни. Таким образом, большую часть „Мемуаров“, касающуюся „гамбургской шайки“, Гейне обязался уничтожить. К этому присоединилось изменение в нравственных и религиозных воззрениях поэта, которое отразилось в послесловии к „Романсеро“, в „Признаниях“ и др. Эти изменения побудили Гейне изъять из рукописи большие куски; опубликовав их, он совершил бы грех против Духа Святого, предательство, и, во всяком случае, двусмысленный поступок (письмо к Кампе 1850 г.).

Итак, Гейне решил сжечь часть „Мемуаров“, не меньше половины. Это приводилось в исполнение постепенно в конце 1840-х и начале 50-х годов. Однако, поэт не считал погибшим все произведение; он старался заполнить образовавшиеся пробы, но это было трудно; Гейне решился писать сызнова (в начале 1854 года).

Печатаемый ниже отрывок и есть новая запись, но и она не сохранилась полностью. Во первых, брат Гейне, Максимилиан, выкинул и уничтожил несколько листов в начале рукописи; во вторых, еще неизвестно, остановился ли Гейне на том месте, где кончается наш отрывок.

Еще темнее судьба первых „Мемуаров“, от которых все же часть должна была остаться после аутодафе; вся рукопись, по словам Гейне, составляла четыре тома. Сам поэт уже носился с мыслью уничтожить и эту часть: „Опасаясь, что посмертные долги или мучительное недовольство самим собою принудят меня предать перед смертью мемуары мои новому] аутодафе“. В одном из завещаний поэт писал: „Может быть, в конце концов, я должен предать их полному уничтожению“. Вместе с тем Гейне боялся дурного обращения с рукописью не только со своей стороны, но и со стороны других.

Душеприказчик Гейне утверждал в 1883 году, что поэт сам сжег свои мемуары; Гейне будто бы сказал ему: „Я написал

мемуары и переписал их вновь, все это сожжено, а вот это (т. е. наш отрывок)—последняя проба". Эльстер не придает значения этому утверждению, считая более веским показание друга Гейне, поэта Альфреда Мейснера. Мейснер видел при жизни Гейне рукопись „Мемуаров“ много раз; он указал приблизительный размер ее—три тома, написанные около 1854 года на больших листах карандашом; он опять видел рукопись после смерти Гейне, когда помогал разбирать бумаги. Он пишет по этому поводу: „Напрасно спрашивал я много раз, что случилось с большими листами, на которых, как я часто видел, Гейне писал мемуары; мне всегда давали уклончивые ответы. Я должен был заниматься стихами и отрывочками на отдельных листках. Я тут же понял, что мемуары от меня спрятали“.

Скоро, однако, последовало объяснение. Мейснер поехал вместе с душеприказчиком в Аньер, где жила на даче Матильда, вдова Гейне. Она сказала Мейснеру, что хочет показать ему еще кое-что и открыла шкаф, где лежала пачка бумаги толщиной в руку—все большие листы, в порядке сложенные. По формату судя, это и были те самые исписанные карандашом листы. Их было 500—600. Матильда подтвердила, что это—мемуары, над которыми Гейне прилежно работал семь лет, и скоро закрыла шкаф. Все остальные рукописи были в комнате второго этажа, только эти—в первом. Очевидно, Матильда показала Мейснеру под влиянием минуты то, чего не хотела показывать прежде, то, что надлежало, очевидно, отослать родным, которые требовали соблюдения семейной тайны. На эту передачу рукописи, предполагает Мейснер, согласился сам Гейне, сломленный болезнью и скорбью.

Таким образом, возможно, что после смерти Гейне, кроме этого отрывка, оставалась еще большая часть „Мемуаров“. Матильда не устояла перед хорошим денежным предложением богатой родни. В чьи руки перешла рукопись, неизвестно; вероятнее всего—к кузену Карлу, который брал вышеупомянутую расписку. Брат Гейне, Густав, умерший бароном и миллионером в 1886 году, часто выражал желание иметь рукопись, о которой столько говорили.

Такова история „Мемуаров“. Хотя они написаны в поздние годы, когда поэт „уже перестал жить в обществе живых“ и „физическое состояние отняло у него надежду“ на такую жизнь, стиль остается в общем блестящим; особенной силой отличается

ом в иронических и лирических местах. Правда, и здесь попадается несколько натянутых метафор: „неизлечимый скарб“, „Париж, впавший в детство“, „шлюзы клеветы“. Обилие французских слов и растянутые описания наружности объясняются местом и временем. В конце, вместо обращения к „дорогой даме“, встречается обращение: „дорогой читатель“.

Есть несколько разногласий в основном тексте, изданном Гоффманом и Кампе в 1884 году в виде дополнительного тома к собранию сочинений, и в помещенных там же „отдельных листках из первых „Мемуаров“, найденных в рукописи второй обработки“ по существу, эти разногласия незначительны.

А. Блок.



МЕМУАРЫ.

Сударыня *), я, действительно, попытался описать, как мог правдиво и верно, достопамятности моего времени, насколько с ними соприкасалась моя собственная личность, в качестве зрителя или жертвы.

Наброски эти, которым я самодовольно дал заглавие «Мемуаров», мне пришлось, однако, частью по неприятным семейным соображениям, частью по религиозной щепетильности, уничтожить почти наполовину.

С тех пор я старался пополнить кое-как происшедшие от того пробелы, но опасаясь, что посмертные долги или мучительное недовольство самим собою принудят меня предать перед смертью мемуары мои новому аутодафе, и то, что будет пощажено пламенем, никогда, быть может, не увидит света Божьего.

Я не хочу называть друзей, которым поручил охрану моей рукописи и исполнение моей последней воли, относящейся к ней; я не хочу, чтобы после моей смерти они рисковали, в борьбе с навязчивостью праздной публики, изменить взятому ими на себя поручению.

Такую измену я всегда считал непростительною: непростительно и безнравственно обнародовать хоть одну строку писателя, которую сам он не предназначал для публики. Это в особенности касается писем, адресованных к частным лицам. Тот, кто их печатает или издает, совершает предательство, заслуживающее презрения.

После этих признаний, сударыня, вы легко придете к убеждению, что я не могу удовлетворить ваше желание и дать вам прочесть мои мемуары и письма.

*) Одни считают, что эта дама—знаменитая „Мушка“, другие,—что это принцесса Бельджойозо, упоминаемая и в „Мемуарах“.

Но, так как я всегда преклонялся перед вашею любезностью, то не могу отказать вам решительно ни в какой просьбе и, в доказательство моей доброй воли, намерею другим образом удовлетворить милое любопытство, вытекающее из теплого участия к моей судьбе.

Я написал нижеследующие листки с таким именно намерением, и те биографические сведения, которые могут иметь для вас интерес, вы найдете здесь в большом изобилии. Все важное и характерное передано здесь с полною искренностью, и взаимодействие внешних событий и внутренних душевных явлений даст вам рецепт всей моей природы и всего моего бытия. Оболочка спадет с души, и вы можете тогда созерцать ее в прекрасной наготе. Пятен в ней нет, есть только раны. Ах, лишь те раны, которые нанесены рукою друзей, а не врагов.

Ночь нема. Только за окном хлещет по крышам дождь, и жалобно воет осенний ветер.

В комнате бедного больного в эту минуту почти сладострастно хорошо, и я сижу в большом кресле, не ощущая никаких болей.

И вот, не отворяя дверей, входит ко мне твой милый образ, и ты располагаешься на подушке у моих ног. Положи на мои колени прекрасную голову и слушай, не поднимая глаз.

Я расскажу тебе сказку моей жизни.

Если по временам на твои локоны будут падать крупные капли, не тревожься: это дождь, пронизывающий крышу. Не плачь и пожми мне только молча руку.

..... *).

Какое возвышенное чувство должно проникать такого прелата, когда он взирает на кишашую народом площадь, где тысячи людей с обнаженными головами, преклонив перед ним колена, ожидают его благословения!

В описании путешествия по Италии гофрата Морица **), я прочитал однажды изложение такой сцены, одна

*) Начало „Мемуаров“, обозначенное точками, уничтожено Максимилианом Гейне, братом поэта.

**) Автор трехтомного „Путешествие немца по Италии“ (Берлин, 1792—3).

подробность которой приходит мне также теперь на память. Между поселянами, рассказывает Мориц, которых он видел там коленопреклоненными, особое внимание его обратил на себя один из тех горцев, которые вырезают из какого-то коричневого дерева прекрасные четки и продают их во всей Романье особенно дорого, потому что четки эти освящены самим папой. С величайшим благоговением стоял на коленях этот человек, но широкополую войлочную шляпу, в которой помещался его товар—четки, он держал высоко в воздухе, и, в то время, как папа распростертыми руками благословлял толпу, он потрясал своей шляпой и переворачивал в ней четки; так делают продавцы каштанов, когда жарят их на жаровне; он, повидимому, добросовестно заботился о том, чтобы часть папского благословения досталась и четкам, лежащим на дне шляпы, и чтобы все они были освящены равномерно.

Я не мог не вплести сюда эту трогательную черту благочестивой наивности и принимаюсь вновь за нить моих признаний; все они имеют отношение к духовному процессу, который мне пришлось пережить впоследствии.

Самые ранние зачатки объясняют собою последующие явления. Несомненно, важно, что мне уже на тринадцатом году жизни преподаны были все системы свободных мыслителей, к тому же почтенным духовным лицом *), которое нимало не пренебрегало своими священническими обязанностями; из этого я рано увидел, как религиозность и скептицизм нелицемерно и спокойно шли рука об руку, что породило во мне не только неверие, но и проникнутое величайшею терпимостью равнодушие.

Время и место также очень важные данные: я родился в конце скептического XVIII века и в городе, где во времена моего детства господствовали не только французы **), но и французский дух.

Французы, с которыми я познакомился, дали мне про-

*) Ректор Шальмейер.

**) Сначала—Иоаким Мюрат, потом—старший сын Людовика Бонапарта, старший брат Наполеона III.

честь, должен сознаться, много грязных книг, внушивших мне предубеждение против всей французской литературы.

Я и впоследствии никогда не любил ее так, как она того заслуживает, и всего несправедливее относился к французской поэзии, которая была мне противна с самой моей молодости.

В этом, прежде всего, виноват проклятый аббат Донуа, который в дюссельдорфском лицее преподавал французский язык и непременно хотел заставить меня писать французские стихи. Еще немного, и я по его милости возненавидел бы не только французскую поэзию, но и поэзию вообще.

Аббат Донуа, патер-эмигрант, был старичок с подвижными лицевыми мускулами и в коричневом парике, который, когда патер сердился, принимал весьма косое положение.

Он написал для различных классов, в которых преподавал, несколько французских грамматик и хрестоматий, содержащих извлечения для переводов из немецких и французских классиков; для высшего класса он издал также «Art oratoire» и «Art poétique» — две книжечки; первая заключала в себе рецепты красноречия Квинтилиана, примененные к примерам из проповедей Флешье, Массильона, Бурдалу и Боссюэта, которые казались мне не особенно скучными; но другая книжка, приторная копия с воззрений старой школы Батте *), содержащая определение поэзии: «l'art de peindre par les images» *), а также французскую просодию и вообще всю французскую метрику — что это был за ужасный кошмар!

Я и теперь не знаю ничего нелепее метрической системы французской поэзии, этого, как французы определяют, «art de peindre par les images», каковое превратное понятие, быть может, и способствует тому, что они всегда впадают в живописующую парафразу.

Метрику им наверное выдумал Прокруст; это настоящая смирительная рубашка для мыслей, которые, при своей кротости, конечно, в ней не нуждаются. Из того же нелепого источника возникло смешное правило, что кра-

*) Знаменитый французский эстетик (1713—1780).

**) Искусство писать образами.

сота стихотворения заключается в преодолении метрических трудностей. Французский гекзаметр, эта рифмованная отрывка, мне просто отвратителен. Французы всегда сами признавали эту противную неестественность, которая гораздо греховнее ужасов Содомы и Гоморры, и хорошим их актерам внушается рубить стихи таким образом, чтобы они походили на прозу; но к чему, в таком случае, бесполезный труд стихосложения?

Так думаю я теперь, то же ощущал еще мальчиком, и легко представить после этого, что между мною и старым коричневым париком дело дошло до открытой вражды, когда я объявил ему, что решительно не могу сочинять французские стихи. Он сказал, что я ничего не понимаю в поэзии и назвал меня варваром из Тевтобургского леса.

Я и теперь еще с ужасом вспоминаю, как меня хотели заставить перевести из хрестоматии профессора речь Каиафы к синедриону, передавая гекзаметры Клопштоковской «Мессиады» французским александрийским стихом! Это была утонченная жестокость, которая превышает все страсти Христовы. Он сам не мог бы вынести ее спокойно. Я, да простит мне Бог, проклинал весь мир и чужеземных угнетателей, навязывавших нам свою метрику, и едва не сделался французоедом.

За Францию я готов был умереть; но писать французские стихи—никогда!

Помирили нас ректор и моя мать. Ей, вообще, не нравилось, что я учился сочинять стихи, хотя бы даже только французские. Она в то время очень боялась, чтобы я не сделался поэтом: «хуже этого,—всегда говорила она,—ничего не может быть».

В те времена с именем поэта не связывали особенно почетного представления, и сочинителя рисовали себе оборванным бедняком, изготавливающим за пару талеров стихотворения на все случаи жизни и, в конце концов, умирающим в больнице.

Но мать моя непременно хотела сделать из меня нечто очень великое и высокое, и все ее воспитательные планы клонились к этой цели. Она играла главную роль в истории моего развития, она составляла программы всех моих уроков, и уже с самого моего рождения начались ее

воспитательные замыслы. Я покорно исполнял ее желания, но сознаюсь, что она виновата в бесплодности большей части попыток и стремлений моих на гражданском поприще, которое никогда не соответствовало моим природным наклонностям. Это последнее обстоятельство гораздо более, чем мировые события, определило мою будущность.

В нас самих лежат звезды нашего счастья.

Прежде всего ослепило мою мать великолепие империи, и так как дочь одного железного фабриканта в наших краях, которая была с нею очень дружна, сделалась герцогинею *) и рассказала ей однажды, что муж ее выиграл очень много сражений и скоро делается королем, то мать и для меня стала мечтать, ах—о самых золотых эполетах или самых расшитых мундирах при дворе императора, на служение которому она намеревалась всецело посвятить меня.

Вот почему я должен был, главным образом, заниматься изучением того, что могло быть полезным для такого поприща, и хотя в лице достаточно уже заботились о математических науках, и милый профессор Бревер кормил меня досыта геометрией, статикою, гидростатикою, гидравликою и т. д., а в логарифмах и алгебре я просто утопал, однако, мне приходилось брать еще частные уроки по этим предметам, ибо их изучение могло доставить мне возможность сделаться великим стратегом или, в случае надобности, правителем завоеванных провинций.

После падения империи, мать, разумеется, должна была отказаться от придуманной ею для меня великолепной карьеры; уроки, которые я брал с этою целью, кончились, и,—странное дело!—не оставили ни малейшего следа в уме моем, до такой степени они были ему чужды. Это было лишь механическое приобретение, которое я отбросил в сторону, как бесполезный хлам.

Мать стала подумывать тогда о блестящей будущности для меня в другом направлении.

Дом Ротшильда, с главою которого отец мой был очень дружен, в то время начал уже достигать баснословного

*) Жена герцога далматинского Су была уроженкой Дюссельдорфа.

процветания; вблизи нас стали вырастать из земли еще другие цари банка и промышленности, и мать утверждала, что теперь пробил час, когда человек с головою может в торговых делах достигнуть самых невероятных результатов и подняться до апогея мирового могущества. Она решила поэтому создать из меня денежную силу, и я должен был приняться за изучение иностранных языков, особенно английского, географии, бухгалтерии, словом—всех наук, относящихся до сухопутной и морской торговли и промышленности.

Чтобы несколько ознакомиться с вексельным делом и колониальною торговлею, мне пришлось ходить в контору банкира моего отца и в подвал крупного бакалейного торговца. Посещение конторы продолжалось не более трех недель, а посещение подвала—около четырех, но я ознакомился при этом случае с порядком выдачи векселей и узнал, каковы на вид мускатные орехи.

Знаменитый купец, к которому я хотел поступить в качестве *apprenti millionnaire* *), нашел, что у меня нет таланта наживать деньги, и я признался ему со смехом, что он, пожалуй, прав.

Так как вскоре затем произошел большой торговый кризис, и многие из друзей наших, в том числе и мой отец, лишились состояния, то мыльный пузырь меркантилизма лопнул еще скорее и жалостнее, чем пузырь империализма, и матери пришлось помышлять о новой для меня карьере.

Теперь она придумала сделать из своего сына юриста.

Мысль эта пришла ей в голову, когда она заметила, что сословие правоведов давно сделалось всемогущим уже не только в Англии, но и во Франции и в конституционной Германии, при чем в особенности адвокаты, вследствие привычки говорить публично, играют главные роли болтунов и тем достигают высших государственных должностей. Наблюдение моей матери было совершенно правильно.

Так как в то время только что был учрежден новый университет в Бонне, где юридический факультет обладал знаменитейшими профессорами, мать немедленно отпра-

*) Ученика по части миллионов.

вила меня в Бонн, где я вскоре уселся у ног Макельдея и Велькера *) и стал питаться манною их знаний.

Из семи лет, проведенных мною в немецких университетах, три прекрасных цветущих года моей жизни потратил я даром на изучение римской казуистики, юриспруденции, этой антилиберальнейшей науки.

Какая ужасная книга — *Corpus Juris*, эта библия эгоизма!

Мне всегда были ненавистны как сами римляне, так и их юридический кодекс. Эти разбойники хотели обеспечить за собою то, что было ими награблено, и пытались охранить законами завоеванное мечом; вот почему римлянин был одновременно воином и адвокатом, и образовалась смесь отвратительнейшего свойства. Да, этим римским вора́м обязаны мы учением о собственности, существовавшей до тех пор лишь, как факт; разработка этого учения в его гнуснейших выводах есть именно то хваленое римское право, которое лежит в основе всех государственных учреждений нового времени, хотя находится в самом резком противоречии с религиею, нравственностью, гуманностью и разумом.

Я окончил курс этих проклятых наук, но никогда не мог решиться пользоваться таким приобретением и повесил на гвоздь мою докторскую шляпу — быть может, и под влиянием убеждения, что другие легко превзойдут меня в адвокатских словоизвержениях и крючкотворстве.

Мать состроила тогда мину еще серьезнее, чем обыкновенно. Но я был уже взрослый человек, достигший тех лет, когда можно обходиться без материнского надзора.

Добрая женщина сама состарелась и, отказавшись после стольких фиаско от верховного руководства моею жизнью, стала, как мы видели выше **), сожалеть, что не посвятила меня духовному званию.

Теперь она уже восьмидесятилетняя матрона, но ум ее от старости несколько не пострадал. Господствовать над моим образом мыслей она никогда не посягала и всегда была относительно меня олицетворенною терпимостью и любовью.

*) Макельдей читал римское право, Велькер — теорию права.

**) Место, уничтоженное Максимилианом Гейне.

Верою ее был строгий деизм, вполне отвечавший преобладающему направлению ее ума. Она была ученицею Руссо, читала его «Эмиля», сама кормила своих детей, и воспитание было ее коньком. Сама она получила научное образование и училась вместе со своим братом, который сделался отличным врачом, но рано умер. Совсем молодую девушкою, она должна была читать своему отцу латинские диссертации и другие ученые сочинения, причем нередко приводила старика в удивление своими вопросами.

Ум и чувство ее были одинаково здоровы, и не от нее унаследовал я склонность к фантастическому и к романтизму. Она, как я уже говорил, боялась поэзии, отнимала у меня всякий роман, который попадался мне в руки, запрещала мне ходить в театр, не позволяла никакого участия в народных играх, следила за моими знакомствами, бранила служанок, рассказывавших при мне истории о привидениях, словом, делала все возможное для отстранения от меня суеверия и поэзии.

Она была бережлива, но только относительно самой себя; чтобы доставить удовольствие другим, ей случалось быть расточительною, и так как она деньги не любила, а только ценила, то дарила весьма охотно, и часто приводила меня в изумление своею благотворительностью и щедростью.

Какое самопожертвование выказала она в отношении к своему сыну, для которого в трудные времена не только составила программу занятий, но и изыскала средства, необходимые для ее осуществления! Когда я начал посещать университет, дела моего отца находились в весьма печальном положении, и мать продала свои драгоценности, ожерелье и очень ценные серьги, чтобы я мог прожить на вырученные деньги первые четыре студенческих года.

Я, впрочем, не первый в семействе ел в университете драгоценные камни и глотал жемчуг. Отец моей матери, как она сама мне рассказывала, проделывал тот же фокус. Каменья, украшавшие молитвенник его покойной матери, покрыли расходы по пребыванию в университете, когда отец его, старый Лазарь де-Гельдерн, после про-

цесса из-за наследства с замужнею сестрою, впал в большую бедность, хотя унаследовал от своего отца состояние, о размерах которого старая бабушка рассказывала мне чудеса.

Мальчику всегда казалось, что он слышал сказку из «Тысячи и одной ночи», когда старушка повествовала о больших дворцах, персидских коврах и массивной золотой и серебряной посуде, которых столь печальным образом лишился человек, пользовавшийся такими почестями при дворе курфюрста и его супруги. Он владел большим домом на Рейнштрассе; ему же принадлежала нынешняя больница в Нейштедте и замок близ Гравенберга, а к концу жизни он не знал, куда приклонить голову.

Приведу в pendant к этому историю, имеющую целью восстановить в общественном мнении честь матери одного из моих товарищей, которая была напрасно оповорена. В биографии бедного Дитриха Граббе мне привелось читать, что страстью к крепким напиткам, которая его погубила, он обязан с молодых лет родной матери, научившей его пить водку, когда он был мальчиком, чуть не ребенком. Это обвинение, почерпнутое издателем биографии из уст враждебно настроенных родственников покойного, оказывается лишенным всякого основания, когда я припоминаю неоднократные отзывы покойного Граббе об его матери, постоянно предостерегавшей его от пьянства в самых убедительных выражениях.

Это была необразованная женщина, жена тюремщика, и, быть может, иногда царапала своего волченка Дитриха, лаская его лапами волчицы. Но у нее было истинно материнское сердце, и она проявила его на деле, когда сын ее поехал в Берлин слушать лекции в университете. На прощание, как рассказывал мне Граббе, она сунула ему в руку сверток, в котором оказались завернутые в хлопчатую бумагу полдюжины серебряных ложек с шестью dito *) маленькими кофейными и большая dito суповая, составлявшие семейное сокровище, с которым простолюдины никогда не расстаются без острой сердечной боли,

*) „Тоже самое“, „уже упомянутое“ (счетоводный термин).

потому что эти серебряные украшения как бы отделяют их от обыкновенной оловянной черни. Когда я познакомился с Граббе, суповая ложка, Голиаф, как он ее называл, была уже им с'едена. На вопросы мои, каковы его дела, он всегда лаконически и с омраченным челом отвечал мне: «я принялся за третью ложку», или «я теперь на четвертой ложке». «Большие, сказал он мне однажды со вздохом, уходят мало-по-малу, и мне придется порядком голодать, когда очередь дойдет до маленьких; а если и их не станет, то мне совсем уж ни кусочка не достанется».

К сожалению, он был прав, и чем менее он мог есть, тем больше принимался пить, и сделался пьяницею. Сначала бедность, а потом домашнее горе побудили несчастного искать веселья или забвения в вине, а под конец он, вероятно, взялся за питье, как другие берутся за пистолет, чтобы положить конец своему горестному существованию. «Верьте, сказал мне однажды один наивный вестфальский земляк Граббе: он многое мог вынести и не умер бы от того, что пил; он пил потому, что хотел умереть; он самоупился».

Восстановление чести матери никогда, конечно, не может быть неуместно; я до сих пор не говорил об этом предмете, потому что хотел коснуться его в характеристике Граббе; но она так и не была написана, да и в книге моей «De l'Allemagne» я мог упомянуть о Граббе только вскользь.

Вышеприведенная заметка обращена не столько к немецкому, сколько к французскому читателю, и для сведения последнего прибавлю здесь только, что означенный поэт Граббе был одним из величайших германских поэтов, и из всех наших драматических писателей может быть признан состоящим в наибольшем родстве с Шекспиром. На лире его, быть может, меньше струн, чем у других, имеющих перед ним это преимущество; но те струны, на которых он играл, звучат так, как мы это слышим только у великого англичанина. У него те же неожиданные, те же естественные ноты, которыми нас устрашает, приводит в содрогание, восхищает Шекспир.

Но все его качества омрачаются безвкусицей, цинизмом и необузданностью, которые превосходят все самое без-

умное и самое отвратительное, что человеческий мозг когда-либо придумал. Это не было, однако, порождением болезни в роде лихорадки или идиотизма, а умственным самоотравлением гения. Подобно тому, как Платон очень метко называл Диотена помешанным Сократом, нашего Граббе можно было бы назвать, к сожалению, вдвое с большим правом, пьяным Шекспиром.

В печатных его драмах чудовищности эти значительно смягчены, но они с ужасающею резкостью выступили в рукописной его трагедии «Готланд»; которую он, когда я его еще совсем не знал, передал мне, или, вернее, бросил под ноги со словами: «Мне хотелось знать, есть ли у меня дарование, и я снес эту рукопись профессору Губицу, который, прочитав ее, покачал головою и, чтобы отделаться, направил меня к вам, так как и в вашей голове бродят такие же сумасбродные мысли, как в моей, а потому вы меня гораздо лучше поймете. Вот вам мое писание».

После этих слов чужак ушел, не дожидаясь ответа, а так как я шел как раз в это время к т-же фон-Фарнгаген, то взял рукопись с собою, чтобы поднести ей первое произведение поэта, ибо из немногих мест, мною прочитанных, я тотчас увидел, что имею дело с поэтом.

Поэтическую дичь мы узнаем уже по запаху. Но на этот раз запах оказался слишком сильным для женских нервов, и поздно вечером, около полуночи, т-жа Фарнгаген пригласила меня к себе и просила ради Бога унести назад ужасную рукопись, так как она не сможет уснуть до тех пор, пока рукопись будет в ее доме. Такое впечатление производили творения Граббе в их первобытном виде.

Предыдущее отступление может быть оправдано его предметом. Охранение чести матери всегда бывает уместно, и читатель, одаренный чувством, не сочтет праздным отступлением с моей стороны вышеприведенные отзывы Граббе о бедной женщине, которая произвела его на свет.

Теперь же, исполнив долг благочестия по отношению к несчастному поэту, возвращусь опять к моей собственной матери и ее родне, чтобы продолжить о влиянии, оказанном на мое умственное образование с этой стороны.

После моей матери, моим воспитанием особенно занялся ее брат, мой дядя Симон де-Гельдерн. Он умер двадцать лет назад. Это был чудака, с невзрачной, даже комической наружностью. Фигурка маленькая и толстенькая, лицо бледноватое и строгое, а нос, хотя по-гречески прямолинейный, но, конечно, на целую треть длиннее тех носов, которые носили треки.

Говорят, в молодости нос этот был обыкновенной величины, но дядя чересчур вытянул его только вследствие дурной привычки постоянно подергивать. Когда мы, дети, спрашивали дядю, правда ли это, он очень сердился и бранил нас за такие непочтительные речи, а потом тотчас принимался опять дергать себя за нос.

Он одевался совсем по-старофранцузски, носил короткие брюки, белые шелковые чулки, башмаки с пряжками и, по старой моде, довольно длинную косу, которая, когда этот человек семенил по улицам, болталась у него от плеча к плечу, выделяла всевозможные кабриоли и как будто насмеялась над своим хозяином за его спиной.

Часто, когда добрый дядюшка сидел задумавшись или читал газету, я не мог удержаться от преступного желания украдкой дернуть его за косичку, точно это был звонок у дверей, на что дядюшка также очень сердился, воздымая руки к небу и жалуясь, что молодое поколение ни к чему уже более не питает уважения, перестало бояться божеских и человеческих законов и, наконец, станет ругаться даже над святынею.

Но если наружность этого человека не могла вселять к нему уважения, то тем почтеннее были внутренние его качества, его сердце, и это было прекраснейшее, благороднейшее сердце, какое я только знал на свете. Честность его напоминала ригоризм чести в старых испанских драмах; а верностью походил он на их героев. Он никогда не имел случая сделаться «врачом своей чести», но был «стойким принцем» *) и обладал таким же рыцарским величием, хотя не декламировал четырехстопных трохеев, вовсе не жаждал умереть со славою и, вместо блестящего

*) Названия двух драм Кальдерона.

рыцарского плаща, носил невзрачный сюртучок с загнутыми назад лапами, вроде хвоста трясогузки.

Он отнюдь не принадлежал к аскетам—врагам чувственности, любил ярмарочные гулянья и кабачок трактирщика Равиа, где ему были особенно по вкусу дрозды с можжевельным вареньем; но всякими дроздами здешнего мира и всякими его удовольствиями он всегда готов был пожертвовать с гордою решимостью, когда дело шло об идее, которую он признавал верною и справедливою. И он делал это так беспритязательно, даже стыдливо, что никто и не замечал в нем тайного мученика, скрывавшегося под этою комическою оболочкой.

По светским понятиям, жизнь его была жизнью неудачника. Симон де-Гельдерн окончил в иезуитской коллегии курс так называемых гуманитарных наук, humaniora но когда, по смерти своих родителей, он получил полную возможность выбирать себе карьеру по своему усмотрению, то не выбрал никакой, отказался от поступления в какой-либо из иностранных университетов, чтобы научиться там чему-нибудь ради приобретения куска насущного хлеба, и предпочел остаться у себя дома, в Дюссельдорфе, в «Ноевом ковчеге», как прозывался домик, который перешел к нему от отца и над дверьми которого красовалось прекрасно высеченное и пестро раскрашенное изображение Ноева ковчега.

Отличаясь неутомимым прилежанием, он предавался там всем своим любимым занятиям и забавам, своей библиомании и особенно страсти к сочинительству, которую он удовлетворял, главным образом, в разных политических газетах и безвестных периодических изданиях.

Замечу кстати, что ему стоило величайших усилий не только писать, но и думать.

Не происходила ли эта страсть к писательству от настоящего желания приносить пользу обществу? Он интересовался всеми вопросами дня, и чтение газет и брошюр доводил до мании. Соседи называли его доктором, собственно, не столько за ученость, сколько за то, что отец и брат его были докторами медицины. А у старух нельзя было выбить из головы, что сын старого доктора, который так часто их лечил, не унаследовал от отца и его

способности к врачеванию; поэтому, когда они заболели, то прибегали к нему со склянками своей мочи и слезными мольбами исследовать ее и сказать им, чем именно они больны. Когда бедному дядюшке мешали, таким образом, заниматься, он сердился не на шутку и прогонял старых баб с их склянками ко всем чертям.

Вот этот-то дядюшка и имел большое влияние на мое умственное образование, и ему я в этом отношении бесконечно многим обязан. Как ни расходились мы с ним во взглядах, и как ни мелки были его литературные стремления, они все-таки, может быть, возбудили во мне охоту к литературным опытам.

Дядюшка писал старым, дубоватым канцелярским слогом, какому учат в иезуитских школах, где главный предмет—латынь, и нелегко свыкался с моим способом выражения, представлявшимся ему слишком легковесным, слишком игривым, слишком непочтительным. Но усердие, с каким он доставлял мне средства для умственного развития, принесло мне величайшую пользу.

Когда я еще был мальчиком, он дарил мне самые лучшие и самые дорогие сочинения; он отдал в мое распоряжение собственную библиотеку, весьма богатую классическими книгами и интересными брошюрами, и позволил мне даже рыться на чердаке Ноева ковчега в ящиках, где были сложены старые книги и рукописи покойного дедушки.

Какое таинственное блаженство разливалось в сердце мальчика, когда он проводил целые дни на этом чердаке! Помещение, однако, было не очень красиво, и единственная его обитательница, толстая ангорская кошка, не особенно дорожила чистотою и только изредка сметала хвостом пыль и паутину с накопившегося там старого хлама.

Но сердце мое было так цветуще юно, а солнце так светло глядело в круглое окошечко, что все озарялось в моих глазах каким-то фантастическим светом, и даже старая кошка представлялась мне заколдованною принцессою, которая когда-нибудь, конечно, опять освободится внезапно от своего звериного образа и явится в прежней красоте и великолепии, а чердак превратится в великолепный дворец, как водится во всех волшебных сказках.

Но добрые старые времена сказок миновали, кошки так и остаются кошками, и чердак Ноева ковчега остался пыльным чуланом, больницей для неизлечимого домашнего скарба, «*Salpetrière*» *) для старой мебели, дошедшей до последней степени ветхости, которую, по сентиментальной привязанности и в виду связанных с нею благочестивых воспоминаний, все-таки не решались выбросить на улицу.

Там стояла полустгнившая развалившаяся люлька, в которой когда-то качали мою мать; теперь тут лежал служебный парик моего дедушки, совсем покрывшийся плесенью и как будто впавший в детство от старости.

На стене висели ржавая парадная шпага дедушки, сломанные щипцы и всякая другая инвалидная железная рухлядь. Рядом, на покачивавшейся доске, стояло чучело попугая покойной бабушки, которое теперь было совершенно ошипано и уже не зеленого, а пепельно-серого цвета; у него уцелел один только стеклянный глаз, который придавал ему очень зловещее выражение.

Тут же находился и большой зеленый мопс из фарфора, пустой внутри; часть его зада была отбита, и кошка относилась, повидимому, к этому произведению китайского или японского искусства с особенным уважением; она благоговейно кувыркалась перед мопсом, принимая его, вероятно, за божество; кошки, ведь, так суеверны.

В одном углу лежала старая флейта, принадлежавшая некогда моей матери; она играла на этом инструменте, когда была еще молодою девушкою, и выбирала для концертов именно этот чердак, для того, чтобы старик отец ее не отвлекался музыкою от работы и не сердился на то, что дочь занимается такой сентиментальной тратой времени. Теперь кошка обратила флейту в свою самую любимую игрушку, катая ее по полу за прикрепленную к ней, полинявшую розовую ленту.

В числе древностей на чердаке находились и глобусы, причудливейшие изображения планет, колбы и реторты, напоминавшие занятия астрологиею и алхимиею.

В ящиках, среди дедушкиных книг было также много

*) Женский госпиталь в Париже.

сочинений, относящихся к этим таинственным наукам. Большинство старых книг было, конечно, медицинского содержания. В философских не было недостатка, но на ряду с архиразумным Картезием *) красовались и такие фантасты, как Парацельз, Ван-Гельмонт **) и даже Агриппа Неттесгеймский, сочинение которого «Philosophia occulta» здесь впервые попало мне на глаза. Меня уже мальчиком забавляли посвящение этой книги аббату Тритему ***) и напечатанный тут же ответ последнего, заключающий в себе отплату с процентами за высокопарные комплименты, которыми один шарлатан осыпал другого.

Лучшею и драгоценнейшею находкою, которую я сделал в одном из запыленных ящиков, оказалась, однако, записная книжка брата моего дедушки, прозванного шевалье или «восточником», о котором старые мои тетушки постоянно распевали и рассказывали.

Этот дедушка, которого также звали Симоном де-Гельдерном, был, как по всему видно, своеобразный святой. Прозвище восточника дано ему было за то, что он совершил большие путешествия на Восток и, по возвращении своем, постоянно носил восточную одежду.

Всего дольше пробыл он, повидимому, в прибрежных городах Северной Африки, особенно в мароккских владениях, где научился у одного португальца ремеслу оружейника и занялся им весьма успешно.

Он совершил паломничество в Иерусалим, где, во время молитвы на горе Мориа, имел видение. Какое? Этого он никогда никому не открыл.

Одно независимое племя бедуинов, исповедывавшее не ислам, а нечто в роде моисеизма, и сделавшее как бы своею временною квартирой один из неведомых оазисов в северо-африканской песчаной пустыне, выбрало его в предводители или шейхи. Этот воинственный народец враждовал со всеми соседними племенами и нагонял страх на караваны. Говоря европейским языком, мой покойный двоюродный дедушка, благочестивый ясновидец

*) Декарт.

**) Последователь Парацельза, врач и философ.

***)) По правильному произношению — Тритгейм, известный гуманист (1462—1516).

на святой горе Мория, был просто атаманом разбойников. В этой прекрасной местности он приобрел и те познания в лошадях и научился тем кавалерийским фокусам, которыми повергал всех в изумление, когда вернулся на Запад.

При различных дворах, посещение которых заняло у него много времени, он блистал своею красотою и статностью, равно как и великолепием восточной одежды, оказывавшей волшебное действие в особенности на женщин. Всего более импонировал он, конечно, мнимым своим чародейством, и никто не решался ронять всемогущего декроманта в глазах высоких его покровителей. Дух интриги боялся духов Каббалы.

Погубить его могла только собственная самонадеянность, и старые тетушки со странной таинственностью покачивали седыми головками, когда рассказывали о любовной связи «восточника» с одною весьма сиятельной дамою; отношения к ней вскоре перестали быть тайною, что и ваставило его оставить как можно скорее и двор, и страну. Только бежав и оставив на произвол судьбы все свое имущество, спасся он от верной смерти, и именно своему искусству верховой езды был он обязан своим спасением.

После этого приключения он, повидимому, нашел себе в Англии верное, но горестное убежище. Я заключаю о том из напечатанной в Лондоне брошюры этого дедушки, которую я случайно нашел однажды в дюссельдорфской библиотеке, когда добрался по лестнице до одной из самых верхних полок. Это была французская оратория в стихах, под названием «Моисей на Хориве»; она, быть может, относилась к вышеупомянутому видению, но предисловие к ней было написано по-английски и помечено Лондоном; стихи, как все вообще французские стихи, были рифмованная тепленькая водица, но английская проза предисловия свидетельствовала о неудовлетворенности гордого человека, впавшего в бедность.

Из записной книжки дедушки я немного мог узнать достоверного; она, быть может, ради осторожности была написана большею частью арабскими, сирийскими и коптскими буквами, и тут же, как ни странно, встречались ци-

таты на французском языке. Например, мне очень часто попадался стих:

«Où l'innocence périt, c'est un crime de vivre» *).

Поразили меня еще другие, также французские выражения; как видно, писавший привык изъясняться всего чаще на французском языке.

Дедушка этот был загадочное, трудно объяснимое явление. Он вел одно из тех странных существований, которые были возможны только в начале и в середине восемнадцатого столетия; это был наполовину мечтатель, пропагандировавший космополитические утопии, клонящиеся к осчастливлению мира, наполовину искатель приключений, ниспровергающий, вследствие сознания своей индивидуальной силы, гнилые преграды, которые ставит ему гнилое общество, или перескакивающий через них. Во всяком случае, он был вполне человек.

Шарлатанство его, которого мы не оспариваем, не было низкопробным. Он не был обыкновенным шарлатаном, вырывающим на ярмарках у крестьян зубы, а мужественно проникал во дворцы сильных мира сего и вырывал у того или другого из них самый крепкий коренной зуб, как сделал некогда рыцарь Гюон из Бордо с султаном вавилонским. «Без стука и шума нет ремесла», говорит пословица, а жизнь—такое же ремесло, как всякое другое.

И какой выдающийся человек не бывает немножко шарлатаном? Шарлатаны скромности, с их высокомерием, выдающим себя за смирение, быть может, самые скверные! Тот, кто хочет действовать на толпу, нуждается в шарлатанской приправе.

Цель оправдывает средства. Даже сам Господь Бог, во время откровения на горе Синае, не упустил по этому случаю хорошенько поблистать молнией и погрометь громом, хотя закон и сам по себе был так прекрасен, так божественно справедлив, что мог отлично обойтись без всяких прибавок из блестящих украшений и оглушительных литавр. Но Господь знал свою публику, которая стояла у подножья горы с быками, овцами и разинутыми ртами;

*) „Когда невинность гибнет, жить—преступление“

фокус из области физики внушал ей больше удивления, чем все чудеса предвечной мысли.

Как бы то ни было, этот двоюродный дедушка чрезвычайно занимал воображение мальчика. Все, что рассказывали про него, производило на мой молодой ум неизгладимое впечатление, и меня до того поглощали его странствования и приключения, что нередко среди бела дня мною овладевало жуткое чувство, и мне представлялось, будто я сам не кто иной, как покойный дедушка, и моя жизнь только продолжение жизни давно умершего человека!

По ночам все это отражалось ретроспективно в моих сновидениях. Жизнь моя походила в то время на большую газету, в которой верхний отдел был занят настоящим, нынешним днем с его известиями и спорами, а нижний фантастически воспроизводил поэтическое прошедшее в непрерывном ряде снов, подобно фельетонам, где последовательно печатается тот или иной роман.

В этих снах я совсем отождествлялся с моим дедушкой и притом с ужасом чувствовал, что я не он, а другой человек, и живу в иные времена. Тут являлись местности, которых я никогда прежде не видел, условия жизни, о которых до тех пор не имел ни малейшего понятия, а между тем, я ходил среди них твердо и уверенно.

Мне встречались люди в жгуче пестрой, странной одежде и с причудливо дикими лицами, которым я, однако, пожимал руки, как старым знакомым; их чужой, никогда не слыханный язык был мне понятен, к моему удивлению, я отвечал им на том же языке, жестикулируя при этом с никогда несвойственной мне живостью и высказывая даже такие вещи, которые представляли неприятную для меня противоположность с обычным образом моих мыслей.

Это странное состояние продолжалось около года, и, хотя я вполне вернулся потом к единству самосознания, в душе моей, всетаки, остались тайные следы. Много идиосинкразий, много фатальных симпатий и антипатий, противоречивших действительно моему характеру, многие поступки, идущие в разрез с моим взглядом на вещи, я объясняю себе только как отражения того времени грёз, когда я был своим собственным дедушкой.

Когда мне случается делать ошибки, происхождение которых для меня необъяснимо, я охотно ставлю их на счет моего восточного двойника. Однажды, когда я высказал отцу моему такую гипотезу, чтобы скрасить тем одну небольшую провинность, он шутливо отвечал мне, что надеется, что мой дедушка не подписал никаких векселей, по которым мне придется когда-нибудь платить.

Таких восточных векселей мне пред'явлено не было, и у меня было довольно хлопот с моими собственными западными векселями.

Но предки возлагают на нас погашение долгов гораздо хуже денежных. Каждое поколение есть продолжение предыдущего и отвечает за его деяния. В Писании сказано, что отцы ели зеленый виноград, а внуки оттого страдают оскоминой.

Между поколениями, следующими одно за другим, есть солидарность; даже народы, выступающие на арену один за другим, принимают на себя эту солидарность, и, в конце концов, все человечество будет ликвидировать великое наследие прошедшего. Большая долговая книга будет уничтожена в Иосафатовой долине, а может быть, и прежде, вследствие всемирного банкротства.

Законодатель евреев глубоко сознавал эту солидарность и выразил это особенно в своих законах о правах наследства; он, быть может, не допускал посмертной жизни для отдельного человека и верил только в бессмертие рода; все имущества были родовой собственностью, и никто не мог отчуждать их в такой мере, чтобы они, по прошествии известного времени, не могли снова переходить к членам семьи.

Резкий контраст с этою гуманною идеею Моисеева закона представляет римский, свидетельствующий и в наследственном праве об эгоизме римского характера.

Я не хочу пускаться здесь ни в какие исследования и, возвращаясь к моей личной исповеди, воспользуюсь настоящим случаем, чтобы показать еще один пример того, как мои враги пользовались нередко самыми безобидными фактами для самых злобных инсинуаций. Именно, ими якобы сделано открытие, будто я в моих биографических сообщениях очень много говорю о родне моей со

стороны матери, но совсем не упоминаю об отцовской, и в этом усматривали преднамеренное выдвигание и замалчивание и обвиняли меня в той же тщеславной задней мысли, которая ставилась в упрек моему покойному коллеге Гёте.

В записках своих он, правда, весьма часто и с особым удовольствием говорит о своем дедушке по отцу, председательствовавшем в качестве старшего судьи во франкфуртском Ремере, тогда как о дедушке по матери, который был скромным портным и, сидя на столе в квартирке своей на Бокенгеймской улице, чинил старые брюки республики, не упоминает ни единым словом *).

Защищать Гёте от упреков за такое игнорирование не мое дело; что до меня, то я на все эти злостные и часто эксплуатировавшиеся толки и намеки отвечаю только, что не моя вина, если в сочинениях моих никогда не говорилось о дедушке с отцовской стороны. Причина очень простая: я сам не знал, что сказать о нем. Мой покойный отец приехал в родной город мой Дюссельдорф с чужбины и не имел здесь никаких родственников, никаких старых тетушек и сестриц, этих бардов женского пола, беспрерывно с эпическим однообразием распевающих перед молодым поколением старые семейные легенды, при чем обязательный у шотландских бардов аккомпанимент волынки они заменяют сопением своих носов. Только о великих бойцах материнского клана молодой ум мой мог воспринимать ранние впечатления, и я благочестиво прислушивался к рассказам какой-нибудь старой Брайн-ле или Брунгильды.

Мой отец был человек весьма несловоохотливый, и в ту пору, когда я будни проводил в скучной монастырской школе францисканцев, воскресенья же дома, воспользовался я здесь представившимся мне случаем, чтобы спросить отца, кто был мой дедушка. На этот вопрос он ответил, полусмеясь, полусердито: «Дедушка твой был маленький жид с большой бородой».

На другой день, когда я вошел в школьный зал, где

*) Гейне ошибается; Гёте в своей автобиографии говорит о деде со стороны матери—судье Тексторе; деда со стороны отца (сначала—портного, потом—содержателя гостиницы) Гёте не знал.

собрались уже мои маленькие товарищи, я поспешил передать им важную новость, что дедушка мой был маленький жид с длинною бородою.

Едва успел я сделать это сообщение, как оно стало перелетать из уст в уста, и мальчики принялись повторять его на все лады, с аккомпаниментом голосов разных животных. Мальчишки начали прыгать через столы и скамейки, срывать со стен большие черные доски, разбрасывать их по полу вместе с чернильницами, сопровождая все это смехом, блеянием, хрюканьем, лаем, карканьем—истинно адская возня, в которой припевом постоянно служил мой дедушка, который был маленький жид с большою бородою.

Учитель, приставленный к классу, услышав гам, вошел в зал, весь красный от гнева, и тотчас спросил, кто виновник такого бесчинства. Как всегда бывает в подобных случаях, каждый старался малодушно оправдываться, и в конце расследования оказалось, что я, бедняга, был обвинен в том, что весь шум произвел я рассказом о моем дедушке, и свою вину я искупил получением значительного количества розог.

Это были первые розги, которым я подвергся на этой земле, и они навели меня на философское размышление: Господь Бог в своей всеблагостной мудрости позаботился о том, чтобы секущий рано или поздно уставал, так как иначе побои могли, наконец, сделаться нестерпимыми.

Меня побили камышом желтого цвета, но полосы, оставленные им на моей спине, были темно-синие. Я их не забыл.

Не забыл я также и имени учителя, который меня так немилосердно поколотил: это был патер Диккершейт; его вскоре затем удалили из училища по причинам, которых я тоже не забыл, но оглашать здесь не хочу.

Либерализм часто взводил несправедливые обвинения на духовное сословие, и к этому последнему можно теперь относиться несколько снисходительнее, когда какой-нибудь недостойный член его совершает проступки, которые, в сущности, следует приписывать только человеческой натуре или, вернее, извращению ее.

Подобно имени человека, нанесшего мне первые побои, у меня сохранился в памяти и повод к ним, именно мое несчастное генеалогическое сообщение, и следы этих ранних детских впечатлений были так глубоки, что всякий раз, когда заходила при мне речь о маленьких жидках с большими бородами, у меня по спине пробегало, точно мурашки, воспоминание о прошлом. «Шпареная кошка боится кипящего котла»,—говорит пословица, и всякий легко поймет, что я с тех пор не ощущал большого желания собирать более подробные сведения о вышеупомянутом опасном дедушке и его родословном древе, а тем менее сообщать их большой публике, как некогда сообщил маленькой.

Не могу, однако, не упомянуть о бабушке моей с отцовской стороны, о которой также знаю очень немного. Она была необыкновенно красивая женщина и единственная дочь гамбургского банкира, далеко прославившегося своим богатством. Обстоятельства эти заставляют меня предполагать, что маленький жид, женившийся на этой красавице, и увезший ее из богатого родительского дома к себе в Ганновер, обладал, кроме большой бороды, еще другими очень похвальными качествами и был, как по всему видно, человек весьма почтенный.

Он рано умер, оставив молодую вдову с шестью детьми, все мальчиками, в самом нежном возрасте. Она вернулась в Гамбург и скончалась там, также не в очень преклонных летах.

В спальне дяди моего, Соломона Гейне, в Гамбурге, я видел раз портрет бабушки. Живописец, старавшийся производить эффекты света и теней в манере Рембрандта, изобразил ее в черном монастырском головном уборе и почти таком же строгом темном платье, на совершенно темном фоне, так, что полное лицо с двойным подбородком было похоже на луну, выглядывающую из-за туч.

Черты ее носили еще следы большой красоты; они были в одно и то же время и кротки и серьезны, в особенности *morbidezza* *) цвета кожи придавала всему лицу выражение какой-то своеобразной аристократичности;

*) Болезненная нежность.

если бы живописец украсил грудь этой женщины большим брильянтовым крестом, то можно было бы подумать, что это портрет какой-нибудь знатной аббатиссы протестантского монастырского заведения для благородных девиц.

Из детей бабушки, сколько мне известно, только двое унаследовали ее необычайную красоту, именно, мой отец и мой дядя Соломон Гейне, покойный глава банкирского дома этой фирмы в Гамбурге.

Красота моего отца имела в себе нечто чересчур мягкое, бесхарактерное, почти женское. Брат же его отличался более мужественною красотою и был вообще человеком, сила характера которого проглядывала подавляющим, даже иногда смущающим образом в благородно-пропорциональных, правильных чертах его лица.

Дети его, все без исключения, были восхитительно красивы, но смерть похитила их в цвете лет, и из этого прекрасного человеческого букета остались теперь в живых только двое: нынешний глава банкирского дома и сестра его, редкое явление с... *).

Я очень любил всех этих детей, любил также их мать, которая была так красива и умерла так рано, и все они стоили мне многих слез. В настоящую минуту я, право, ощущаю потребность потрясти моим дурацким колпаком для того, чтобы звон его погремушек заглушил во мне слезливые мысли.

Выше я сказал, что в красоте моего отца было нечто женское. Я этим отнюдь не хочу указать на отсутствие в нем мужественности; эту последнюю он часто доказывал на деле в молодости, я, ведь, и сам—живое тому доказательство. В этих словах нет ничего неприличного; я имел в виду только внешние формы его тела, которые не отличались крепостью и упругостью, а скорее были мягко и нежно округлены. Очертаниям его лица недоставало резкости штрихов, и они расплывались в неопределенность. В позднейшие годы он был тучен, да и в молодости, кажется, не отличался худощавостью.

В этом предположении укрепляет меня портрет, который

*) Максимилиан Гейне в этом месте вырвал и уничтожил часть рукописи.

потом сгорел во время пожара в квартире моей матери, и на котором отец мой изображен молодым человеком лет восемнадцати или девятнадцати, в красном мундире, с пудреной головой и с собранными сзади в кошельке волосами.

Этот портрет, к его выгоде, написан пастелью. Я говорю—к выгоде, потому что этот род письма гораздо лучше, чем масляные краски с их глянцево-лаковым, может передать ту цветочную пыль, которая заметна на лицах людей, носящих пудру, и удачно сглаживает неопределенность черт. Тем, что живописец на означенном портрете окружил розоватое лицо рамкою из белых пудренных волос и такого же белого галстука, он придал ему, посредством контраста, более сильный колорит, и оно выступает рельефнее.

И пунцовый цвет кафтана, так неприятно режущий глаз на картинах, писанных масляными красками, здесь, напротив, производит хороший эффект, потому что этим приятно смягчается розовый цвет лица.

Тип красоты, сказавшийся в чертах этого лица, не напоминал ни строго целомудренной идеальности греческих художественных произведений, ни спиритуалистически мечтательного, но пропитанного языческим здоровьем, стиля Возрождения; нет, этот портрет, напротив, вполне носил на себе характер эпохи, которая сама не имела никакого характера, которая любила красоту меньше, чем все хорошенькое, миловидное, кокетливо грациозное; эпохи, возводившей приторность в поэзию; той слащавой, вычурной эпохи Рококо, которая называлась также «эпохою волосных кошельков» и, действительно, носила, в виде характерного признака, кошельки для волос, только не на лбу, а на затылке. Если бы изображение моего отца на вышеупомянутом портрете было несколько более миниатюрно, можно было бы подумать, что рисовал его чудесный Ватто для того, чтобы красоваться ему на веере маркизы Помпадур, среди причудливых арабесок из пестрых драгоценных камней и золотой мишуры.

Заслуживает внимания, быть может, то обстоятельство, что отец мой и в позднейшие годы оставался верен ста-

ринной моде и пудрился до самой своей кончины, хотя волосы у него были самые прекрасные, какие только можно себе представить. Они были белокурого, почти золотого цвета и отличались мягкостью, какую я находил только в китайском шелку-сырце. Кошелек для волос он, конечно, также охотно бы сохранил, но прогрессивный дух времени был неумолим. Из такого затруднительного положения отец придумал для себя успокоительный выход. Он пожертвовал только формой—черным мешочком, кошельком; длинные же локоны из собственных волос заплетались в широкий шиньон, прикрепленный к голове маленькою гребенкою. Этот шиньон, при мягкости волос и пудре, почти вовсе не был замечен, и потому отец, по существу, всетаки не изменил старым волосным кошелькам и только внешним образом, как многие криптоортодоксы *), покорялся жестокому духу времени.

Красный мундир, в котором его сняли на вышеупомянутом портрете, указывает на службу его в Ганновере. В начале французской революции он состоял в свите принца Эрнста Кумберлендского и участвовал в походе во Фландрию и Брабант в должности провиантмейстера или комиссара—*officier de bouche* **), как называют французы; в Пруссии название этой должности—«мучной червяк». Собственно же, служба его в самой ранней молодости состояла в том, что он был фаворитом принца, *au petit pied* Брёммелем ***), без туго накрахмаленного галстука, да в конце концов, он и разделил участь такого рода игрушек высоких особ. Мой отец, правда, всю жизнь свою был убежден, что принц, ставший потом королем ганноверским, никогда о нем не забывал, но всетаки он никак не мог объяснить себе, почему принц никогда за ним не посылал, никогда о нем не справлялся; хотя он, ведь, не мог знать, в каком положении находится бывший его любимец, не нуждается ли он, быть может, в материальной помощи.

К временам этой кампании относятся разные опасные пристрастия моего отца, от которых мать могла отучить

*) Тайные правоверные.

**) Офицер по части рта.

***) Брёммель—английский шеголь и законодатель мод.

его лишь мало-по-малу. Так, например, он приохотился к высокой игре, покровительствовал драматическому искусству или, вернее—жрицам его, а также пристрастился к лошадям и собакам. Когда он приехал в Дюссельдорф, где из любви к моей матери завел купеческую контору, то привез с собою двенадцать прекраснейших коней, но продал их по настоятельному желанию своей молодой жены, которая убедила его, что этот четвероногий капитал с'едает слишком много овса и не дает никакого дохода.

Труднее было матери удалить конюха, коренастого олуха, который постоянно играл в карты в конюшне с первым встречным бродягой. Он ушел, наконец, сам, в сопровождении золотых часов с репетицией, принадлежавших моему отцу, и нескольких других ценных вещей.

Отделавшись от бездельника, мать уволила в отставку и охотничьих собак моего отца, за исключением одной, которую звали Жоли, но которая была архибезобразна. Мать смилостивилась над этою собакою потому, что она совсем не походила на охотничью и могла превратиться в бюргерски-верную и добродетельную дворняжку. Она жила в пустой конюшне, в старой отцовской коляске, и когда он там с ней встречался, оба обменивались многозначительными взглядами. «Так-то Жоли», — говорил со вздохом отец, а Жоли в ответ на это уныло помахивал хвостом.

Я думаю, что собака эта была лицемерна, и однажды, когда отец был не в духе и услышал чересчур жалобный визг своего любимца, получившего от кого-то удар ногою, он сам сознался, что каналья притворяется. В конце концов, Жоли очень опаршивел, и так как он превратился в передвижную казарму для блох, его пришлось утопить, чему отец несколько не воспротивился. Люди жертвуют своими четвероногими любимцами с таким же равнодушием, как высокопоставленные особы двуногими.

Походною жизнью моего отца объясняется, конечно, и его беспредельная любовь ко всему военному или, вернее—к игре в солдаты, расположение к веселому, праздничному образу жизни, при котором мишура и пунцовые тряпки прикрывают внутреннюю пустоту, и упоенное тщеславие имеет возможность принимать вид мужества.

В окружавшей его среде дворянчиков не было ни серьезного интереса к военному делу, ни действительного славолюбия; о героизме и речи быть не могло. Главное дело составляли для него парады, бряцание саблями, плотно прилегающий к телу мундир, который всегда бывает к лицу красивым мужчинам.

Как счастлив был поэтому мой отец, когда в Дюссельдорфе учредили гражданскую гвардию, и он, в качестве офицера ее, мог надеть прекрасный темно-синий мундир с небесно-голубыми бархатными отворотами и во главе своих колонн маршировать мимо нашего дома. Матери, которая, с румянцем на лице, стояла у окна, он салютовал с рыцарской любезностью; султан на его треугольной шляпе гордо развевался, и в солнечных лучах радостно сверкали эполеты.

Еще счастливее был мой отец в тех случаях, когда до него доходила очередь расположиться, в качестве дежурного офицера, на тауптвахте и заботиться о безопасности города. В такие дни рюдестеймеры и асмансейзеры самых лучших сборов лились потоками, и все на счет дежурного офицера, щедростью которого его гвардейцы, его Крети и Плетти *), не могли достаточно нахвалиться. Потому-то отец мой пользовался среди них популярностью, равнявшеюся разве тому одушевлению, с каким старая гвардия приветствовала Наполеона. Этот последний, правда, умел приводить солдат своих в упоение иным способом. У гвардейцев моего отца не было недостатка в известного рода храбрости, особенно, когда дело шло о взятии штурмом батареи бутылок с дулами величайшего калибра. Но геройство их всетаки было иного сорта, чем то, которое мы видели в старой императорской гвардии. Та умирала, но не сдавалась, между тем как гвардейцы моего отца всегда оставались в живых и часто сдавались.

Что касается до безопасности города Дюссельдорфа в те ночи, когда отец мой дежурил на тауптвахте, то она была, вероятно, в очень плачевном состоянии. Он заботился, правда, о рассылке патрулей, которые с пением и музыкою расхаживали по городу в различных направле-

*) Бюргеры—действующие лица немецкого народного фарса.

ниях. Однажды два таких патруля встретились в темноте, каждый из них принял другой за сборище пьяниц и буянов и хотел арестовать его. К счастью, земляки мои—народец безобидно веселый; они во хмелю добродушны. Ils ont le vin bon, *), и беды тут не приключилось,—оба патруля сдались друг другу.

Главною чертою характера моего отца была беспредельная жизнерадостность; он был пристрастен ко всякого рода удовольствиям и веселью, всегда в розовом настроении. На душе у него постоянно был праздник, и если иногда музыка не играла особенно шумно, то постоянно настраивались скрипки. Всегда безоблачная, как голубое небо, веселость и трубные звуки легкомыслия. Беззаботность, забывавшая о вчерашнем дне и не хотевшая думать о завтрашнем.

Этот характер шел самым странным образом в разрез с важностью, лежавшею на его строго спокойном лице и проявлявшеюся в осанке и каждом движении тела. Тот, кто его не знал и в первый раз в жизни видел эту серьезную, напудренную фигуру и эту важную мину, наверно мог бы подумать, что видит перед собою одного из семи мудрецов Греции. Но при ближайшем знакомстве все замечали, что он не Фалес и не Лампсак **), обдумывающий космогонические проблемы. Важность эта была, правда, не напускная, но всетаки напоминала те античные барельефы, на которых веселый ребенок держит перед лицом большую трагическую маску.

Он был, действительно, большой ребенок с детскою наивностью, которую плоские виртуозы рассудка весьма легко могли принять за ограниченность, но которая временами свидетельствовала тем или другим глубокомысленным изречением о значительной способности правильно смотреть на вещи (интуиция).

Своими умственными щупальцами он осязал то, до чего умные доходили только медленно, путем размышления. Он думал не столько головою, сколько сердцем, а сердце у него было такое милое, какое только можно себе

*) Вино на них хорошо действует.

**) Фалес, действительно, был одним из семи мудрецов, но Лампсак—город, философа такого не было.

представить. Улыбка, игравшая на его губах и представлявшая комически грациозный контраст с вышеупомянутою серьезностью, была прелестным отражением его душевной доброты.

И голос его, хотя мужественно звучный, имел в себе нечто детское, я готов почти сказать—нечто, из лесных звуков, вроде песни малиновки; когда он говорил, голос его так прямо доходил до сердца слушателя, как будто ему вовсе и не надо было совершать свой путь через уши.

Он говорил на наречии Ганновера, где, как и на юг от этого города, всего лучше произносят по-немецки. Для меня было великою выгодою, что у меня, таким образом, уже с детства, через посредство отца, ухо привыкло к хорошему немецкому произношению, тогда как в нашем городе говорят на том дурном нижне-рейнском жаргоне, который в Дюссельдорфе еще сколько-нибудь сносен, в соседнем же Кельне истинно отвратителен. Кельн—Тоскана классически дурного немецкого произношения *); и Коббес с Марицбиль **) из'ясняются на таком наречии, которое напоминает по звуку, и чуть что не по запаху, гнилые яйца.

В языке дюссельдорфцев замечен уже переход к лягушечьему кваканию голландских болот. Я отнюдь не намерен оспаривать у голландского языка его своеобразные красоты, но сознаюсь, что они моему уху недоступны. Может быть, даже и справедливо, что наш собственный немецкий язык, как утверждали патриоты-лингвисты в Нидерландах, не более, как испорченный голландский. Это возможно.

Это напоминает мне утверждение одного космополита зоолога, провозглашающего обезьяну родоначальницею человеческого рода; люди, по его мнению, только образованные, даже чересчур образованные обезьяны. Если бы обезьяны могли говорить, то, вероятно, стали бы утверждать, что люди только выродившиеся обезьяны, что человечество—испорченный обезьяний род, точно так же, как, по мнению голландцев, немецкий язык—испорченный голландский.

*) В Тоскане говорят на самом чистом итальянском языке.

**) Якобус и Мария Сибилла—действующие лица в Кельнском театре марионеток.

Я сказал—если бы обезьяны могли говорить, хотя в неспособности их к тому несколько не убежден. Сенегальские негры положительно уверяют, что обезьяны совершенно такие же люди, как мы, но умнее, потому что воздерживаются от речей для того, чтобы их не принимали за людей и не принуждали к работе; что их забавные обезьяньи штуки не что иное, как хитрость, продельваемая с тою целью, чтобы властелины мира сего не сочли их годными для эксплуатации, какому они подвергают нашего брата.

Такое отречение от всякого тщеславия дало бы мне весьма высокое понятие об этих людях, соблюдающих немецкое инкогнито и, быть может, насмехающихся над нашим недомыслием. Они живут себе на свободе в своих лесах, никогда не отказываясь от первобытного состояния. Они, действительно, могли бы с полным правом утверждать, что человек есть выродившаяся обезьяна.

Быть может, наши предки еще в восемнадцатом веке подовревали нечто подобное и инстинктивно чувствуя, что наша гладкая ультрацивилизация есть лишь гниль, покрытая лаком, и что человеку необходимо возвратиться к природе, старались вновь приблизиться к нашему коренному типу, природному обезьянству. Они сделали все возможное, и когда, наконец, им не хватало только хвоста, чтобы окончательно превратиться в обезьяну, они заменили этот недостаток косою. Таким образом, мода на косы—знаменательный симптом серьезной потребности, а не игра прихоти. Но я тщетно пытаюсь потряхиванием моего колпака заглушить грустное чувство, овладевающее мною всякий раз, когда мне приходит на память мой покойный отец.

Из всех людей я никого так не любил на этой земле, как его. Он умер тому назад уже более двадцати пяти лет. Я никогда не думал, что когда-нибудь лишусь его, и даже теперь едва могу верить, что действительно его лишился. Ведь так трудно убеждать себя в смерти дорогих людей. Но они и не умирают, а продолжают жить в нас и обитают в нашей душе. С тех пор не проходило ни одной ночи, чтобы я не думал поневоле о моем покойном отце, и когда я утром просыпаюсь, мне часто слы-

шится еще звук его голоса, как эхо моего сна. В таких случаях мне кажется, что я должен одеться как можно скорее и сбежать, как я делал это мальчиком, к отцу в большую комнату...

Отец имел обыкновение вставать всегда очень рано и тотчас приниматься за дело, как зимою, так и летом, и обыкновенно я заставлял его уже за письменным столом, при чем он, не поднимая глаз, протягивал свою руку для поцелуя. Это была прекрасная, тонко выточенная аристократическая рука, которую он всегда мыл миндальными отрубями. Я и теперь вижу ее перед собою, вижу каждую голубую жилку, испещрявшую эту ослепительно белую мраморную руку. Мне представляется, как будто запах миндаля производит щекотание в моем носу, и глаза мои покрываются влагою.

Иногда дело не ограничивалось целованием руки, и отец сажал меня на колени и целовал в лоб. Однажды утром он обнял меня с совершенно необычною нежностью и сказал: «Я сегодня ночью видел о тебе во сне нечто прекрасное и очень доволен тобою, мой милый Гарри». В то время, как он произносил эти наивные слова, на его губах играла улыбка, которая как будто говорила: «Пусть Гарри на деле и большой шалун, я всетаки, чтобы беспрепятственно любить его, всегда буду видеть о нем во сне одно только прекрасное».

Гарри у англичан—фамильярное прозвище тех, которые носят имя Генри, и оно вполне соответствует моему немецкому имени Генрих. Фамильярные прозвища на диалекте моей родины крайне неблагозвучны и даже почти смехотворны, как, например, Гейнц, Гейнцхен, Гинц. Гейнцхен также часто называют маленьких домовых, а Гинце—кота в сапогах в кукольной пьесе и, вообще, кота в народной сказке.

Но мое имя отец мой англозировал не с целью избежать такого неблагозвучия, а в честь одного из лучших своих приятелей в Англии. Мистер Гарри был корреспондентом его в Ливерпуле; он хорошо знал там лучшие фабрики для изготовления вельветина—товара, которым отец очень интересовался больше из честолюбия, чем из-за барышей, и хотя он уверял, будто наживает на вель-

ветине много денег, но это было проблематично, и он, может быть, приплачивал бы свои деньги, если бы нужно было продавать вельветин в бóльшем количестве и лучшего качества, чем это делали его конкуренты. Вообще, отец мой, хотя и сводил постоянно какие-то счета, но не отличался расчетливым купеческим духом; и торговля была для него скорее игрою, как дети играют в солдатики или в поваров.

Деятельность его была собственно непрерывная суетливость. Коньком его был вельветин, и он бывал счастлив всякий раз, когда разгружались большие фуры с этим товаром, и уже в это время двор наполнялся всеми еврейскими торговцами из соседних местностей; ибо они были лучшие клиенты моего отца и не только раскупали его вельветин в огромном количестве, но и оказывали ему почет.

Так как ты, любезный читатель, может быть, не знаешь, что такое «вельветин», то я позволю себе объяснить тебе, что это—английское слово, означающее бархатовидный, и так называют род бумажного бархата, из которого шьют прекрасные брюки, жилеты, даже камзолы. Эта материя носит так же название «манчестер», по городу того же имени, где его впервые начали фабриковать.

И вот потому, что приятель моего отца, отличный знаток в покупке вельветина носил имя Гарри, получил и я это имя; Гарри называли меня и в семействе, и у соседей, и у близких знакомых.

Я и теперь очень люблю, когда меня зовут Гарри, хотя имя это причинило мне и немало неприятностей, одна из которых в детстве моем была для меня особенно чувствительна. Только в настоящее время, когда я перестал жить в обществе живых, и, следовательно, в душе моей погасло всякого рода тщеславие, я могу говорить об этом предмете без смущения.

Здесь, во Франции, тотчас после моего приезда в Париж, немецкое имя «Heinrich» перевели в «Henri», и я должен был этому покориться и, наконец, сам поневоле начал звать себя таким образом, потому что французскому уху не нравилось слово «Heinrich», да и вообще, французы любят, чтобы все складывалось вокруг них так, как им

удобнее. Имен «Henri Heine», они тоже никогда не умели выговорить правильно, и большею частью меня зовут m-r Enri Enn; многие стягивают эти два слова в одно—En-gienne, а некоторые называли меня m-r Un gien.

В литературном отношении это мне часто вредит, но с другой стороны, доставляет и некоторые выгоды. Так, например, из моих благородных соотечественников, приезжающих в Париж, многие весьма желали бы на меня по-злословить, но так как они всегда произносят мою фамилию по-немецки, то французам и в голову не приходит, что злодей и отравитель колодцев невинности, которого так ужасно бранят, не кто иной, как приятель их monsieur Enrienne, и эти благородные души тщетно старались распускать поводья своего добродетельного рвения. Французы не знают, что речь идет обо мне, и зарейнская добродетель напрасно раскрывала все шлюзы клеветы.

Но дурное произношение имен, как я уже заметил, имеет свои неприятные стороны. Встречаются люди, весьма обидчивые в этом отношении. Я для шутки спросил однажды старика Керубини, правда ли, что император Наполеон всегда выговаривал его фамилию: Шерюбини, а не Керубини, хотя с итальянским языком был достаточно знаком, чтобы знать, в каких случаях итальянское sh произносится, как que или k. Вопрос этот привел старого маэстро в страшно комическую ярость.

Я ничего подобного никогда не ощущал.

Heinrich, Harry, Henri—все эти имена благозвучны, когда вылетают из прекрасных уст. Всего красивее, конечно, звучит signor Enrico. Так звали меня в светлоголубые, с вышивкою из больших серебряных звезд, летние ночи той благородной и несчастной страны, которая есть родина красоты и произвела Рафаэля Санцио из Урбино, Джоакимо Россини и принцессу Христину Бельджойозо.

Так как мое физическое состояние отнимает у меня всякую надежду когда-либо снова жить в обществе, и общество действительно для меня уже более не существует, то я сбросил с себя и оковы того личного тщеславия, которыми наделен всякий, принужденный толкаться среди людей, в так называемом свете.

Я могу поэтому теперь беспристрастно говорить о несчастии, которое было связано с моим именем Наггу, и отравило мне лучшие весенние годы моей жизни.

Вот в чем дело. В родном моем городе проживал человек, которого звали «Dreckmichel»^{*)}, потому что он каждое утро раз'езжал по улицам с телегой, в которую был запряжен осел, и останавливался перед каждым домом для нагрузки этой телеги сором, собранным горничными в красивые кучки, после чего все увозилось за город, на свалки нечистот. Наружность этого человека подходила к его ремеслу, и осел, с своей стороны, похожий на своего хозяина, останавливался перед домами, или пускался рысью, смотря по интонации, какую Михель придавал восклицанию «Haarüh!», с которым он к нему обращался.

Было ли это действительное имя осла или только крик понукания? Не знаю; несомненно только, что вследствие сходства между этим словом и моим именем Наггу мне приходилось чрезвычайно много терпеть от моих школьных товарищей и соседских детей. Чтобы дразнить меня, они выговаривали это имя совершенно так, как Dreckmichel звал своего осла, и, когда я на это злился, плутишки делали самую невинную мину, и просили меня, во избежание всяких перевираций, научить их, как следует произносить мое имя и имя осла; но притворялись при этом очень непонятливыми и говорили, что Михель обыкновенно растягивает первый слог и весьма быстро обрывает второй; иногда же это делается у него наоборот, и тогда зов совершенно созвучен моему имени. Перепутывая нелепейшим образом и смешивая попеременно то меня с ослом, то осла со мною, мальчишки производили этим самую дурацкую соq-à-l'âne^{**)}, над которой все другие смеялись, но сам я плакал.

Когда я пожаловался на это матери, она посоветовала мне только лучше учиться и поумнеть, и тогда никто не станет смешивать меня с ослом.

Но тожество наших имен с грязным длинноухим оставалось моим кошмаром. Большие мальчишки, проходя мимо, приветствовали меня восклицанием «Haarüh!», а малень-

*) „Dreck“ значит „нечистоты“.

**) „Путаница“.

кие посылали мне тот же привет, только на некотором расстоянии. В школе та же тема разрабатывалась с утонченной жестокостью; как скоро речь заходила об осле вообще, все косились в мою сторону, при чем я всегда краснел; школьники умеют придирааться ко всяким подобным случаям.

Так, например, один спрашивал другого: «Чем отличается зебр от ослицы Валаама, сына Боерова?» На это следовал ответ: «Первый говорит по-зебрейски, а вторая говорила по-еврейски». Затем следовал вопрос: «Какое различие между ослом Дрекмихеля и его тезкой?» и дерзкий ответ: «Мы этого различия не знаем». Когда я в таких случаях готовился ударить моего оскорбителя, то другие пытались меня успокоить, а приятель мой Дитрих, умевший рисовать удивительно красивые образки и впоследствии действительно сделавшийся знаменитым живописцем, утешил меня однажды обещанием подарить мне картину. Он нарисовал для меня св. Михаила,—но злодей позорно насмеялся надо мною. Архангелу он придал черты Дрекмихеля, конь его был совершенно похож на осла мусорщика, а копьё прокалывало, вместо дракона,дохлую кошку.

Даже белокурый, кроткий, похожий на девочку Франц, которого я так любил, поступил раз со мною предательски: он заключил меня в свои объятия, нежно приложил свою щеку к моей, долго лежал сентиментально на моей груди—и вдруг со смехом закричал мне в ухо «Наагүһ!» — кинувшись затем бежать, повторяя это слово на все лады, так что звук его долго еще перекатывался по коридорам монастыря.

Еще грубее обращались со мною некоторые соседские дети, те уличные мальчишки низшего класса, которых мы звали в Дюссельдорфе «галютами»—слово, которое охотники до этимологии наверно произвели бы от спартанских «илотов».

Таким галютом был маленький Юпп, то-есть Иосиф, которого я буду называть по фамилии—Фладером, чтоб его отнюдь не смешивали с Юппом Рершем, очень милым мальчиком, который, как я случайно узнал, служит теперь почтовым чиновником в Бонне. Юпп Фладер всегда

носил при себе длинную удочку, которою ударял меня при каждой встрече. Любил он также кидать в меня «лошадиными яблоками», которые поднимал с улицы совсем теплыми, какими они выходили из устроенной для них природою печки. При этом он всегда выкрикивал фатальное «Наагүһ!», — придавая ему самые разнообразные модуляции.

Злой мальчишка был внуком старухи Фладер, принадлежавшей к клиенткам моего отца. Насколько он был злобен, настолько добродушна была бедная бабушка, олицетворение нищеты, но не отвратительной, а только раздражающей душу. Ей было более восьмидесяти лет, и она представляла собою длинную, сухощавую фигуру с бледным кожаным лицом, тусклыми тоскливыми глазами и мягким, хриплым, дребезжащим голосом; милостыню просила она без всяких громких фраз, что звучит всегда страшно.

Отец всякий раз подавал ей стул; она приходила за своим ежемесячным подаванием в дни, когда он, в качестве члена общества попечения о бедных, принимал нуждающихся.

Из этих заседаний мне памятливы только те, которые происходили зимою, рано утром, когда было еще темно. Отец сидел за большим столом, покрытым мешочками с деньгами разной величины; вместо серебряных подсвечников с восковыми свечами, которые он обыкновенно употреблял и которыми, со свойственным его сердцу большим тактом, не хотел чваниться перед бедностью, на столе его стояли в таких случаях два медных подсвечника с сальными свечами, которые красным огнем толстых, нагоревших фитилей печально освещали присутствующих.

Это были бедняки всякого возраста, длинная вереница которых тянулась от передней до зала. Все они, один за другим, приходили за своими мешочками, и некоторым доставалось два; большой мешочек содержал в себе подавание моего отца, а маленький — деньги из кассы для бедных.

Я сидел на высоком стуле, рядом с отцом и передавал ему мешочки. Отец хотел, чтобы я научился, как следует подавать милостыню; в этой области, действительно, многому хорошему можно было научиться у моего отца.

У многих людей сердце находится на надлежащем месте, но они не умеют благотворить, воля их сердца с трудом прокладывает себе дорогу к их карману; между добрым намерением и его исполнением время тащится так же медленно, как почтовый дилижанс. Между сердцем моего отца и его карманом была уже как бы выстроена железная дорога. Что акциями такой дороги он обогатиться не мог, это разумеется само собою. На Северной или Лионской дороге заработали больше.

Большинство клиентов моего отца состояло из женщин, и притом старых, и также в позднейшие времена, даже когда обстоятельства его начали делаться весьма неблестящими, он продолжал давать небольшие пенсии нескольким старухам. Они подкарауливали его везде, где бы он ни проходил, и, таким образом, он имел как бы тайную лейб-охрану из старух, как некогда покойный Робеспьер.

В рядах этой седой лейб-гвардии было много старых шлюх, которые бегали за ним не из нужды, а только для того, чтобы полюбоваться его особой, его приветливым, неизменно милым с ними обращением.

Да, он был олицетворенною учтивостью по отношению не только к молодым, но и к пожилым женщинам, а старухи, которые бывают всегда так жестоки, когда их оскорбляют, являются самым благодарным народом на свете, когда им оказывают некоторое внимание и предупредительность, и тот, кто любит, чтобы ему платили лестью, всегда найдет в них людей, несколько на нее не скупящихся, между тем как молоденькие задорные девчонки за всю нашу любезность едва достаивают кивком головы.

А так как для красивых мужчин, специальность которых в том и заключается, что они красивые мужчины, лесть составляет большую потребность, и им при этом все равно, выходит ли фимиам из розовых или уже поблекших уст, лишь бы только он сильно пахнул и расточался в изобилии,—то дорогой мой отец, в сношениях своих со старыми дамами, всегда оставался в барыше, хотя собственно на этом не спекулировал.

Обкуривали они его фимиамом зачастую в непостижимо громадном количестве, и непостижимо также, как

хорошо он мог переносить самую большую порцию его. Причиной тому был его счастливый темперамент, а отнюдь не ограниченность. Он очень хорошо знал, что ему льстят, но знал и то, что лесть всегда сладка, как сахар, и был похож на ребенка, говорящего своей матери: «полюби мне немножко, даже немножко много, милая мама».

Отношения моего отца к этим женщинам имели, кроме того, и более серьезное основание. Он был их советчиком, и замечательно, что этот человек, который был так непрактичен в собственных делах, являлся воплощением житейской мудрости, когда ему приходилось другим давать хорошие советы в затруднительных обстоятельствах. Он тотчас же уяснял себе положение дела, и, когда опечаленная клиентка объясняла ему, что дела ее идут с каждым днем все хуже и хуже, он оканчивал разговор изречением, которое я часто слышал из его уст, когда все шло очень плохо: «надо почать в таком случае другой боченок». Этим он хотел сказать, что на проигранном деле не следует упорно настаивать, а лучше взяться за что-нибудь иное, пойти иным путем, лучше сейчас же выбить дно у старой бочки, из которой еле каплет кислое вино, и «почать новый боченок». Вместо этого, лениво ложатся с открытым ртом под кран, из которого ничего уже более не льется, и надеются, что вино потечет слаще и изобильнее.

Когда старая Ганна пожаловалась моему отцу, что у нее практика уменьшилась и что ей нечего больше желать и—что для нее еще чувствительнее — нечего жевать, он сначала дал ей талер, а потом принялся раздумывать, как бы ей помочь. Старая Ганна была прежде одною из лучших повивальных бабок, но под старость стала несколько предаваться пьянству и особенно нюханью табаку, и, так как в ее носу была всегда влага, и капанье из него пачкало белые простыни родильниц, то ей везде и стали отказывать.

По зрелом размышлении, отец сказал наконец: «Необходимо почать новый боченок, и на этот раз—боченок с водкою; советую вам завести на порядочной улице, в гавани, где бывают матросы, небольшой кабачок».

Бывшая повивальная бабка последовала этому совету;

она принялась торговать в гавани водкою, дела ее пошли хорошо, и она даже наверно нажила бы себе состояние, если бы, к несчастью, сама не была лучшею своею покупательницею. Она продавала и табак, и я часто видел ее стоящею перед входом в свое заведение, с красным, распухшим от нюхательного табаку носом, как живая реклама, привлекавшая многих чувствительных моряков.

К прекрасным качествам отца принадлежала, главным образом, изысканная вежливость, с которою он, как истинно знатный человек, относился одинаково и к бедным, и к богатым. Я замечал это особенно во время вышеупомянутых заседаний, когда он, передавая беднякам мешочки, неизменно говорил им несколько любезных слов.

Здесь я мог кое-чему научиться, и не один знаменитый благотворитель, который бросал деньги бедным людям в голову, так что каждый талер пробивал и дыру в голове, тоже мог кое-чему научиться у моего вежливого отца. Он расспрашивал большую часть бедных женщин об их здоровье и так привык говорить: «имею честь», что прибегал к этому обороту речи даже тогда, когда приходилось указывать дверь иной чересчур требовательной и назойливой сволочи.

Особенно учтив был он со старухою Фладер, и всегда предлагал ей стул. Она, действительно, очень плохо стояла на ногах и с трудом ковыляла, опираясь на костыль.

Когда она в последний раз пришла к отцу за своею порциею, то была уже так дряхла, что внук ее Юпп должен был вести ее. Он бросил на меня какой-то странный взгляд, когда увидел, что я сижу за столом, рядом с моим отцом. Старуха, кроме маленького мешочка, получила от отца еще другой, гораздо больший, и разлилась в благословениях и слезах.

Страшно смотреть на старую бабушку, когда она так сильно плачет. Я и сам чуть не заплакал, и старуха это заметила. Она стала восхвалять мою красоту и сказала, что попросит Божью Матерь позаботиться, чтобы мне никогда в жизни не пришлось голодать и просить милостыню.

Отец на эти слова немного рассердился, но старуха говорила от доброго сердца; во взгляде ее было выраже-

ние как бы не от мира сего, но вместе с тем благочестивое и полное любви; и, наконец, она сказала своему внуку: «Юпп, поди, поцелуй ручку милому мальчику». Юпп сделал кислую гримасу, но исполнил приказание бабушки; поцелуй его горячих губ произвел на меня такое впечатление, как будто меня ужалила в руку змея. Сам не знаю почему, я вынул из кармана все мои медные толстяки и отдал Юппу, который с грубо идиотским выражением лица пересчитал их при мне, штука за штукой, и затем совершенно спокойно положил их в карман своей куртки.

В поучение читателю замечу, что «толстяки», это—толстые медные монеты, стоящие около одного су.

Старуха Фладер вскоре потом умерла, а Юпп наверно еще жив, если только его с тех пор не повесили. Злой мальчик нимало не переменился. Я увидел его на улице на другой день после вышеупомянутой встречи нашей у отца. Он держал в руке свою длинную, хорошо мне известную удочку. Он опять ударил меня ею, а потом снова принялся кидать в меня «лошадиными яблоками» и кричать фатальное «Наггüh», при чем так громко и так верно подражал голосу Дрекмихеля, что осел его, случайно очутившийся в соседнем переулке, подумал, что слышит зов своего хозяина, и радостно закричал: «Ия!»

Как я уже сказал, бабушка Юппа скоро после того умерла—и с репутациею колдуньи, но очевидно без всякого основания, хотя наша Циппель упорно утверждала противное.

Циппель звали одну не очень старую еще женщину, имя которой, собственно, было Сабилла; она была моею первою нянькою и потом осталась в нашем доме. Случайно она присутствовала при рассказанной выше сцене, когда старуха Фладер расточала мне столько восхвалений и дивилась моею красоте. Когда Циппель услышала эти слова, в ней проснулось старое народное суеверие, что такие похвалы вредны для ребенка, что детей от этого постигает болезнь или какое-нибудь другое бедствие—и, чтобы отворотить зло, которое, по ее убеждению, отныне грозило мне, она прибегнула к самому верному по народным по-

верьям средству, которое состоит в том, что на расхваленного ребенка надо трижды плюнуть. Быстро подскочила она ко мне, и поспешно плюнула три раза мне на голову.

Но это были только временные плевки, так как, по мнению знающих людей, в тех случаях, когда опасные похвалы исходят из уст ведьмы, злые чары могут быть рассеяны только такою женщиною, которая сама ведьма; и потому Циппель в тот же день отправилась к известной ей ведьме, неоднократно, как я узнал впоследствии, оказывавшей своим таинственным и запретным искусством много услуг ей самой. Эта ведьма, помочив большой палец слюною, провела им вдоль моего черепа и отрезала у меня на голове несколько волос; точно также помазала она меня и по другим местам, бормоча при этом всяческую бессмысленную абракадабру, и, таким образом, я, быть может, с малолетства уже был пострижен в чортовы попы.

Во всяком случае, эта женщина, с которою я поддерживал с тех пор знакомство, впоследствии, когда я сделался взрослым человеком, посвятила меня в тайны своего искусства.

Я сам, правда, не сделался колдуном, но знаю, как колдуют, и особенно хорошо знаю то, что не есть колдовство.

Женщину эту звали мастершею, а также гохенкой, потому что она была уроженкою города Гоха, где ее покойный муж занимался гнусным ремеслом палача, и откуда его приглашали в далекие и близкие места для совершения казней. Ходила молва, что он завещал вдове много таинственного, и она умела извлекать для себя выгоду из этих слухов.

Лучшую практику доставляли ей содержатели пивных, которым она продавала пальцы покойников, уверяя, что это оставлено ей мужем в наследство. Они выдавались за пальцы повешенных воров и служили к тому, чтобы придавать хороший вкус пиву в бочке и увеличивать его количество. Именно, если палец повешенного, особенно повешенного невинно, опустить на бечевке в бочку с пивом, то не только пиво делается от этого вкуснее, но и коли-

чество его удвоится, даже учетверится по сравнению с другою бочкой такой же величины. Просвещенные со-держатели пивных прибегают обыкновенно для увеличе-ния количества пива к более рациональному средству, но оно отнимает у пива часть его крепости.

Посещали ведьму также молодые люди с нежными сердцами, и она снабжала их любовными напитками, ко-торые, в своей шарлатанской латиномании, побуждав-шей ее делать латинские слова еще более латинскими, на-зывала *philtrarium*; мужчина, подносивший такой нали-ток своей возлюбленной, носил у нее название *philtrarius*, а даму она называла *philtrariata*. Случалось иногда, что *philtrarium* не оказывал никакого действия, или произ-водил действие противоположное. Так, например, один нелюбимый парень уговорил красотку, в которую был влюблен и которая пренебрегала им, распить с ним бу-тылку вина, налил ей исподтишка в стакан *philtrarium* и вкоре заметил в обращении с ним его *philtrariata* странную перемену, какое-то смущение, которое принял за взрыв любовной страсти, и вообразил, что великая минута наступила для него. Но—увы!—в то мгновение, как он пылко заключил в объятия зарумянившуюся де-вушку, в нос ему ударил запах, не принадлежащий к благоуханиям Амура; он заметил, что *philtrarium* дей-ствует скорее, чем *laxarium* *), и страсть его получила весьма противное охлаждение. Ведьма спасла репутацию своего искусства уверением, что она не поняла, чего именно хотел от нее несчастный *philtrarius*, и думала, что он желал излечиться от своей любви.

Лучше ведьминских любовных напитков были сове-ты, которыми она тут же наделяла своих фильтариев; именно, она советовала им класть в карман несколько золотых монет, так как золото очень здорово и особенно приносит счастье влюбленным. Как не припомнить при этом совета, который честный Яго дает в «Отелло» влюбленному Родригу: «Take money in your pocket!» **).

С этою-то великою мастерицею наша Циппель была

*) Слабительное.

**) У Шекспира: „Put money in thy purse“ (д. I, явл. 3), т. е. „Положи монеты в кошелек“.

очень дружна и хотя не покупала у нее больше любовных напитков для себя самой, но обращалась к искусству тохенки в тех случаях, когда надо было отомстить счастливой сопернице, вышедшей за одного из ее бывших любовников, каковое мщение состояло в том, что колдунья вышедшей замуж женщине прививала бесплодие, а неверного любовника лишала мужественности. Прививание бесплодия совершалось посредством заклинательного действия. Это очень просто: надо пойти в церковь, где венчают жениха с невестой и, в ту минуту, когда священник произносит слова о сочетании двоих во едино, защелкнуть железный замок, спрятанный под передником; так, как этот замок, замкнутся и чресла новобрачной.

Церемонии при лишении мужественности до такой степени грязны, что волосы на голове встают дыбом, и я ни в каком случае не могу их передать. Достаточно сказать, что пациента делают импотентным не только в обычном значении этого слова, но его лишают признаков пола в полном смысле, и ведьма, овладев добычей, сохраняет следующим образом этот *corpus delicti*, эту вещь без названия, которую она по просту называет «вещью»; искушенная в латыни тохенка называла ее *Numen Pompilus*,—вероятно, реминисценция о царе Нуме, мудром законодателе, ученике нимфы Эгерии, который, конечно, никогда не подозревал, что именем его некогда злоупотребят столь позорно.

Далее ведьма поступала следующим образом. Завладев вещью, она укладывала ее в пустое птичье гнездо, которое подвизывала на высокой спрятанной в листьях ветке; отнимая вещи у других владельцев, она постепенно складывала их в то же гнездо, но с таким расчетом, чтобы число их не превышало полдюжины. Сначала вещи имеют очень болезненный и жалкий вид, может быть, от потрясения и тоски по родине, но свежий воздух укрепляет их, и они начинают издавать звуки, подобные стрекотанию кузнечиков. Птицы, порхающие по дереву, введены в заблуждение и принимают вещи за неоперившихся птенцов; сжалившись над сиротами без матери, они приносят корм в клюве; сироты позволяют себя кормить, становятся

крепче, толще и окончательно вздоревуют; теперь они уже не стрекочут, а громко чирикают. Ведьма радуется, в прохладные летние ночи, когда луна сияет с истинно немецкой сентиментальностью, она садится под дерево, слушает пенье вещей и зовет их своими сладкогласными словами.

Шпренгель в своем «Молоте ведьм», «*Malleus maleficarum*»; также упоминает об этих нечестивых и уродливых обрядах, а старый писатель, которого Шейбле *) цитирует в своем «Монастыре» — имя его я забыл — рассказывает о том, что владельцы вещей часто заставляли ведьм возвращать их.

Ведьма лишает мужественности, все-таки, с тою главной целью, чтобы, при возвращении вещи, получить с владельца приличное вознаграждение. При возвращении украденного предмета, нередко происходит путаница и разные *qui-pro-quo* довольно забавного свойства; я знаю историю одного священнослужителя, которому был возвращен не тот *Numa Pompilius*, принадлежавший, по уверению экономки духовного отца, его нимфы Эгерии, скорее турку, нежели доброму христианину.

Когда один такой владелец стал требовать возвращения вещи, ведьма приказала ему взять лестницу и следовать за нею в сад, залезть на четвертое дерево и отыскать в гнезде потерянное добро. Несчастный последовал ее указанию и слышал, как ведьма, смеясь, кричала ему: «Вы слишком высокого мнения о себе. Ошибаетесь, то, что вы нашли, принадлежит важному духовному лицу; если у меня это унесут, мне не обобратятся хлопот».

...Однако, меня привлекало к гоженке вовсе не ведовство. Я иногда ходил к гоженке. Мне было около шестнадцати лет от роду, когда меня стали притягивать туда чары посильнее всех ее шарлатанско-латинских *philtraria*. Дело в том, что у нее была племянница, тоже шестнадцати лет, но сразу развившаяся настолько, что казалась на вид гораздо старше. Слишком быстрый рост был причиною необыкновенной худобы ее. Талия у нее была очень тоненькая, как у квартиронок в Вест-Индии, и,

*) Шейбле — автор большого собрания замечательных и чудесных историй.

так как она не носила ни корсета, ни дюжины юбок, то платье, плотно прилегавшее к ее телу, походило на влажную одежду статуи. Никакая мраморная статуя не могла, однако, соперничать с нею в красоте, так как она была сама жизнь, а каждое ее движение явно обнажало все ритмы ее тела, я хотел бы даже сказать—музыку ее души. Ни у одной из дочерей Ниобеи не было лица с очертанием более благородным; цвет его, как и цвет ее кожи вообще, был несколько изменчивой белизны. Ее большие, глубоко темные глаза как будто спокойно выжидали разрешения заданной ими загадки, а рот с тонкими, приподнятыми губами и матово-белыми, немного слишком длинными зубами, как будто говорил: «нет, ты слишком глуп и никак не отгадаешь».

Волосы у нее были рыжие, совсем кроваво-красные, и спадали длинными прядями на плечи, так что она могла завязать их ниже подбородка. Это придавало ей такой вид, как будто ей перерезали шею, и оттуда красными струями льется кровь.

Голос Иозефы, или рыженькой Зефхен, как звали красивую племянницу тохенки, был не особенно звучен и порой становился глухим и затуманенным; но вдруг, при взрывах страсти, он прорывался звенящими металлическими нотами, и меня особенно захватывало то, что голос Иозефы имел такое сходство с моим.

Когда она говорила, я иногда путался, мне казалось, что я слушаю самого себя, да и пение ее напоминало мне сны, в которых я самого себя слышал поющим.

Она знала много старых народных песен и, может быть, заставила меня полюбить этот род поэзии, как и вообще она бесспорно имела самое сильное влияние на пробуждавшегося поэта, вследствие чего первые мои стихи «Сновидения», написанные мною вскоре затем, имеют мрачный и суровый колорит, тот самый, который скрасил событие, бросившие в то время кровавые отсветы на мою молодую жизнь и на мои мысли.

В числе песен, которые пела Иозефа, была одна народная песня, которой научила ее старая Циппель, не раз напевавшая эту песню и мне, когда я был еще ребенком, так что я запомнил из нее две строфы, приводимые

мною здесь тем охотнее, что я не встречал этого стихотворения ни в одном из существующих сборников народных песен. Начинается она словами злого Трагига:

„Отилия, мой нежный цвет,
Не ты одна мне дашь ответ—
Ты хочешь, чтоб моря лазурный вал
Или дуб высокий твой труп качал,
Или хочешь ты светлый меч целовать—
На нем—Господня благодать!“

Отилия отвечает:

„Не хочу я, чтоб моря лазурный вал
Или дуб высокий мой труп качал,
Хочу я светлый меч целовать—
На нем—Господня благодать.“

Однажды, когда Зефхен дошла до конца этой строфы, и я уловил овладевший ею внутренний трепет, меня так потрясло ее пение, что я вдруг заплакал, мы оба с рыданием бросились друг другу в объятия, почти час не говорили ни слова, и слезы так лились из наших глаз, что мы смотрели друг на друга, как сквозь завесу из слез.

Я попросил Зефхен написать мне эти строфы, и она это сделала, но написала их не чернилами, а своею кровью; красный автограф впоследствии пропал у меня, но строфы неизгладимо врезались в память.

Муж гохенки приходился братом отцу Зефхен, который также был палачом, но, так как он рано умер, тетка взяла ребенка к себе. Когда же вскоре затем скончался и ее муж и она поселилась в Дюссельдорфе, то передала девочку деду, который тоже был палачом и проживал в Вестфалии.

Здесь, в «свободном доме», как называли жилище палачей, Зефхен пробыла до четырнадцатилетнего возраста, когда умер ее дед, после чего тетка опять приняла к себе круглую сироту.

Вследствие того, что происхождение Зефхен считалось позорным, она с детства до девических лет вела уединенную жизнь и даже в свободном доме деда была совсем отделена от всяких общественных сношений. Этим объясняются ее страх перед людьми, нервная дрожь, в кото-

рую бросало ее всякое чужое прикосновение, таинственная мечтательность, связанная с самым неговорчивым упрямством и с величайшею строптивостью и дикостью.

Странно! даже во сне, как она однажды мне призналась, она жила не с людьми, а ей снились только звери.

В своем одиночестве в доме палача, она могла заниматься только старыми книгами деда, который был крайне скуп на слова, хотя сам учил ее грамоте.

Иногда он со своими слугами уезжал на несколько дней, и девочка оставалась одна в доме, который был выстроен в очень уединенной лесистой местности, недалеко от места казней. Все ее общество составляли три старухи с седыми трясущимися головами, которые целый день сидели за прялками, кашляли, ссорились между собою и пили много водки.

Особенно в зимние ночи, когда ветер качал старые дубы и в большом пылавшем камине слышался странный вой, бедной Зефхен становилось очень жутко в одиноком доме, потому что в эту пору боялись посещения воров, только не живых, а умерших, повешенных, которые, сорвавшись с виселицы, стучались в низкие окна и требовали, чтобы их впустили и дали им немного погреться. Они делают при этом такие жалкие замерзшие гримасы. Прогнать их можно только тогда, когда из железной комнаты вынесешь меч палача и погрозишь им; тогда они, как вихорь, уносятся прочь.

Иногда заманивает их не только пламя камина, но и желание вновь завладеть пальцами, которые украл у них палач. Если дверь не плотно затворена, то их и после смерти не оставляют старые воровские привычки, и они воруют простыни из шкапов и с кроватей. Одна из старух, во-время заметив, однажды, такую покражу, побежала вслед за мертвым вором, в руке которого простыня развевалась по ветру, и схватив ее за один конец, успела отнять похищенную вещь в ту самую минуту, когда он добежал до виселицы и хотел уже взобраться на ее перекладину.

Только в те дни, когда дедушка готовился к казни важного преступника, к нему приезжали из окрестностей коллеги, и тогда в доме принимались варить, жарить, пи-

ровать, пить, но говорили мало и совсем не пели. Пили из серебряных кубков, тогда как в трактирах палачу и даже его слугам, в отличие от других посетителей, пьющих из кружек с оловянными крышками, подают кружки с крышками деревянными. Во многих местностях разбивают стакан, из которого пил палач, никто не говорит с ним, и все избегают малейшего с ним соприкосновения. Этот повор лежит на всей его родне, а потому семьи палачей роднятся между собою.

Когда Зефхен, как она мне рассказывала, было уже восемь лет, в дом дедушки, в один прекрасный осенний день, в который, впрочем, не предстояло совершения казни или выполнения какой-либо другой тяжелой служебной обязанности, с'ехалось необычное число гостей. Собралось более дюжины, все почти очень старые люди с седыми или лысыми головами, в самой праздничной, но совсем старофранцузской одежде, с мечами под длинными красными плащами. Они собрались, по их словам, «на с'езд», и им подали за обедом все, что было самого дорогого в кухне и в погребе.

Это были старейшие палачи из самых отдаленных местностей, они давно не видались друг с другом, беспрестанно пожимали друг другу руки, говорили мало, и часто с помощью таинственных знаков, и веселились по-своему—«moult tristement», как выразился Фруассар про англичан, пировавших после битвы при Пуатье *).

С наступлением ночи хозяин выслал из дому слуг, приказал старой ключнице взять из погреба три дюжины бутылок лучшего рейнвейна и поставить их на каменный стол перед большими дубами, образовавшими на дворе полукруг; на том же столе поставлены были по его приказанию железные подсвечники для смоляных факелов, после чего и старуха, вместе с другими двумя ведьмами, также была выслана из дому под каким-то предлогом. Даже отверстие в собачьей конуре дедушка заткнул лошадиной попоною, а дворовую собаку велел посадить на цепь.

Рыжую Зефхен дед оставил дома, он поручил ей вы-

*) „Очень грустно“.—Фруассар—французский историк XIV в.

полоскать дочиста большой серебряный бокал, на котором были изображены морские боги с их дельфинами и трубами из раковин, и поставить его на вышеупомянутый каменный стол, но потом,—прибавил он с некоторым смущением,—немедленно уйти к себе в спальню и лечь в постель.

Нептунов бокал рыжая Зефхен, как вполне послушная девочка, хорошенько вымыла и поставила на каменный стол, рядом с бутылками, но в постель не легла, а, движимая любопытством, спряталась в кустах близ дубов, откуда, правда, не многое могла расслышать, зато имела полную возможность видеть все, что произойдет.

Чужие люди, с дедушкой во главе, торжественно вошли попарно и полукругом уселись на высоких деревянных скамьях, за каменным столом, на котором зажжены были смоляные факелы, бросавшие какой-то страшный свет на их серьезные, жесткие, как камень, лица.

Долго сидели они молча, или, вернее, бормоча что-то, быть может, молитвы. Потом дедушка наполнил вином большой бокал, который стал передаваться от одного гостя к другому, в крутовую; каждый, выпив, крепко пожимал руку соседу.

В заключение дедушка произнес речь, из которой Зефхен немного могла расслышать и ничего не поняла, но которая, повидимому, касалась весьма грустных предметов, потому что из глаз старика катились крупные слезы, и другие старцы также горько плакали, что представляло ужасное зрелище, так как люди эти имели обыкновенно суровый вид, напоминавший серые каменные фигуры перед церковною папертью, а теперь из выпученных окаменелых глаз лились слезы, они рыдали, как дети.

Луна при этом так меланхолически выглядывала из-за своей облачной завесы на беззвездном небе, что сердце подсматривавшей девушки готово было разорваться от жалости. Особенно тронула ее скорбь маленького старичка, который рыдал сильнее других и жаловался так громко, что она могла явственно расслышать некоторые слова. Он беспрестанно восклицал: «О, Господи! о, Господи! Слишком уж долго длится несчастье; человеческая душа не может дольше терпеть! О, Господи! Ты несправедлив,

несправедлив!» Товарищам, повидимому, только с большим трудом удалось его успокоить.

Наконец, все встали с мест, сбросили красные плащи и попарно, с мечами под мышками, направились к дереву, позади которого лежал железный заступ, после чего один из них в несколько минут вырыл в земле глубокую яму. Выступил дедушка Зефхен, не снявший красного плаща, как другие, и вынул из-под него белый сверток, весьма узкий, но в брабантский аршин слишком длиною, завернутый в простыню; сверток этот он тщательно уложил в яму и с большою поспешностью зарыл ее.

Бедная Зефхен не могла долее выдержать в своей засаде; при виде таинственного погребения, волосы у нее встали дыбом, и бедное дитя в страхе убежало в свою спальню, закрылось одеялом и уснуло.

На утро Зефхен все это казалось сном, но когда она увидела, что земля за знакомым деревом разрыта, то убедилась, что это была явь. Долго она размышляла над тем, что могло быть там погребено: ребенок? вверь? клад? Но никому ни слова не сказала она о ночном происшествии, а с годами оно отодвинулось в ее памяти на задний план.

Лишь пять лет спустя, когда дедушка умер, и гохенка приехала за девушкою, чтобы везти ее в Дюссельдорф, она решилась раскрыть свое сердце перед теткою. Но эта странная история не испугала и не удивила; она, напротив, сильно обрадовалась и сказала, что в земле зарыто не дитя, и не кошка, и не сокровище, а старый дедушкин меч, которым он у ста бедных грешников отрубил головы. У палачей, как она объяснила, вошло в обычай не держать при себе меча, которым совершена была смертная казнь сто раз, а тем менее пользоваться им долее, потому что такой меч не похож на другие, но приобретает с течением времени тайное самосознание, и, как человек, нуждается, наконец, в могильном покое. Притом, по мнению многих, такие мечи становятся, наконец, от усиленного кровопролития, жестокими и жаждут крови, и около полуночи ясно можно расслышать иногда, как они возятся и тревожно стучат в шкапу, где их повесили; некоторые делают даже злыми и коварными, совершенно как наш

брат человек, и до такой степени отуманивают несчастного, который держит такой меч в руках, что он наносит раны своему лучшему другу. Даже в семье самой гохенки один брат заколол таким мечом другого.

Гохенка призналась, однако, что с помощью меча, кавнившего сто человек, можно совершать величайшие волшебства, и в ту же ночь поспешила вырыть похороненный за деревом меч, который и хранила потом в своей кладовой вместе с разными другими колдовскими принадлежностями.

Раз, когда ее не было дома, я попросил Зефхен показать мне эту достопримечательность. Она не заставила себя упрашивать, пошла в кладовую и тотчас вернулась оттуда с громадным мечом, которым, несмотря на худобу своих рук, принялась махать очень сильно, напевая при этом лукаво и угрожающе:

„Хочешь ты светлый меч целовать,
На нем—Господня благодать?“

Я ответил на тот же мотив: «Не хочу целовать светлый меч—хочу целовать рыжую Зефхен», и так как она, из боязни ранить меня роковою сталью, не могла сопротивляться, то допустила крепко обхватить ее тонкий стан и поцеловать строптивые губы. Да, несмотря на меч палача, которым была обезглавлена уже сотня горемык, и вопреки бесчестию, которому подвергает всякого прикосновение к членам позорного рода палачей, я поцеловал прекрасную дочь палача.

Я поцеловал ее не только по нежному влечению, но и для вызова старому обществу и всем его мрачным пред-
рассудкам, и в эту минуту загорелось во мне первое пламя тех двух страстей, которым была посвящена вся моя дальнейшая жизнь; любовь к красивым женщинам и любовь к французской революции, к тому *furore francese* нового времени, которым был охвачен и я в борьбе со средневековыми ландскнехтами.

Не стану описывать подробнее мою любовь к Иозефе. Сознаюсь, однако, что она была только прелюдией, предшествовавшей великим трагедиям более зрелого периода

моей жизни. Так, Ромео, прежде чем встретить свою Юлию, влюблен в Розалинду.

В любви тоже существует, как в римско-католической религии, временное чистилище, где, прежде чем войти в действительный вечный ад, надо приучить себя к поджариванию.

Ад? Позволительно ли упоминать о любви рядом с этим безобразием? Ну, если хотите, я сравню ее и с небом. К сожалению, в любви никогда не разберешь, где начинается ее ближайшее сходство с раем и адом, точно так же, как не знаешь, с кем ты там или тут встретился—с чортом, который замаскировался ангелом, или с ангелом, который замаскировался чортом.

Говоря откровенно, какая страшная болезнь—любовь к женщине! Тут, к сожалению, как мы видели, не помогает никакая прививка *).

Очень сведущие и опытные врачи советуют в этом случае перемену места и думают, что с удалением от чаровницы разрушаются и чары. Принцип гомеопатии, по которому от женщины излечивает нас женщина, может быть, самый достоверный.

Во всяком случае, дорогой читатель, ты заметил, что прививка любви, которую моя мать попыталась сделать в детстве, не увенчалась успехом. Было predetermined, что великим недугом—оспою сердца, я буду страдать сильнее, чем все другие смертные, и в сердце моем такое множество плохо залеченных следов, что оно похоже на гипсовую маску Мирабо или на фасад Palais Mazarin после славных июльских дней, или даже на репутацию величайшей трагической актрисы **).

Но неужели нет никаких лекарств от ужасной болезни? Недавно один психолог высказал мнение, что ее можно одолеть, если при самом возникновении пустить в дело несколько надлежащих средств. Но этот рецепт напоминает один старый немецкий молитвенник, в котором напечатаны молитвы на все несчастные случаи, какие могут угрожать человеку, и между прочим, длинная,

*) Место, о котором здесь говорится, уничтожено Максимилианом Гейне, вследствие чего непонятной остается и „прививка любви“ (см. ниже).

(**) Намек на Рашель.

в несколько страниц, молитва, которую должен прочесть кровельщик, как только он ощутит головокружение и увидит себя в опасности немедленно слететь с крыши.

Точно так же смешно советовать заболевшему любовью бежать от своей красавицы и искать выздоровления в одиночестве, на груди природы. Ах, на этой зеленой пруди он найдет только скуку, и мы советовали бы ему, напротив, если в нем не потасла всякая энергия, искать на совсем иной и очень белой груди, если не спокойствия, то целительного беспокойства, ибо самое действительное противоядие против женщин—женщины; правда, это значило бы изгонять Сатану Вельзевулом, а кроме того, в таких случаях, лекарство еще пагубнее болезни. Но это всетаки шанс на выздоровление, и в печальных любовных неудачах перемена *inamorata* *) есть, конечно, лучшее, что можно посоветовать, и мой отец мог бы и здесь с полным основанием сказать: теперь надо почать новый боченок.

Да, возвратимся к моему милому отцу, которому, конечно, сострадательная бабья душа донесла о моих учащенных визитах к гохенке и моей склонности к рыжей Зефхен. Эти доносы имели лишь тот результат, что дали моему отцу повод проявить свою прелестную вежливость. Скоро после того Зефхен рассказала мне, что на прогулке встретился с нею один очень важный и напудренный господин, в сопровождении другого, и когда этот последний шепнул ему несколько слов, тот ласково посмотрел на нее и, проходя мимо, снял шляпу и поклонился.

Когда она подробнее описала поклонившегося господина, я узнал в нем моего милого, доброго отца.

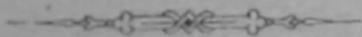
Не столь снисходительно отнесся он ко мне, когда ему сообщили о некоторых моих насмешках над религиею. Меня обвинили в отрицании Бога, и по этому случаю отец обратился ко мне с речью, конечно, самую длинную, какую он когда-либо произносил; она гласила: «Любимый сын! Твоя мать посылает тебя к ректору Шальмейеру слушать лекции философии. Это ее дело. Я, со своей стороны, не люблю философии, ибо она не что иное, как сует-

*) Возлюбленной.

верие, а я купец, и моя голова нужна мне для моих дел. Ты можешь быть философом, сколько тебе угодно, но, пожалуйста, не высказывай своих мыслей публично, ибо ты повредишь моим делам, если мои клиенты узнают, что у меня есть сын, который не верит в Бога; особенно евреи перестанут покупать у меня вельветин, а они честные люди, платят исправно и тоже имеют основание держаться своей религии. Я твой отец, значит, я старше тебя, а следовательно, и опытнее; поэтому ты можешь мне верить на слово, когда я позволяю себе сказать тебе, что атеизм—большой грех».

Перевод с немецкого

П. Вейнберга.



БИБЛИОГРАФИЯ.

Путевые картины.

Русские переводы:

А. П. (А. Н. Плещеев). Отрывок из „Путешествия Гейне“ (sic) — в „Московском Вестнике“ 1830 г. №№ 14—16 (стр. 121—151. Глава о Гарце).

М. Л. Михайлов. 1) Гарц. — „Русский Вестник“ 1859 г., март, кн. II. — 2) Италия (От Мюнхена до Генуи: Луккские воды). — „Современник“ 1859 г., № 10. — 3) Идеи. Книга Ле Гран. — „Русское Слово“ 1860 г. № 6.

Петр Вейнберг. 1) Путешествие на Гарц. — „Библиотека для Чтения“, 1859 г., № 4. — 2) Идеи. Книга Ле Гран. Там же, № 9. Вошли в „Сочинения“ Гейне в переводе П. Вейнберга (Спб., 1860).

И. Майнов. Идеи. Из книги Le Grand. Спб. 1863. (Из журнала „Зритель“ 1863 г. №№ 8—11).

„Путевые картины“ — в „Сочинениях“ Гейне, под редакцией П. Вейнберга, т. I. Спб. 1864. — Изд. 2-е под ред. П. Вейнберга и В. Чуйко. Спб. 1874. (Сюда вошли: „Путешествие на Гарц“, перевод М. Михайлова. „Нордерней“, его же. Идеи. Книга Ле Гран, перевод П. Вейнберга). — То же, т. II. Спб. 1864. — Изд. 2-е. Спб. 1874. (Сюда вошла „Италия“, перевод М. Михайлова и П. Вейнберга). — То же, т. X. Спб. 1868. (Сюда вошли: „Письма из Берлина“, перевод Л. Пальмина. „О Польше“, перевод А. Н. Майкова. — То же, т. XV. Спб. 1882. (Вошло предисловие Гейне к последнему французскому изданию „Путевых картин“, перевод П. Вейнберга).

„Путевые картины“ — в „Собрании сочинений“ Гейне под редакцией П. Вейнберга, т. I. Спб. 1898. („Путешествие на Гарц“, „Нордерней“, „Идеи“ — перевод П. Вейнберга. „Италия“ — перевод его же). — То же, т. V. Спб. 1898. („Письма из Берлина“, перевод Н. А. Брянского. „О Польше“, перевод А. Майкова).

„Путевые картины“, — в „Полном собрании сочинений“ Гейне, под редакцией П. В. Быкова. т. V. Спб. 1900. („Путешествие на Гарц“, „Нордерней“, „Идеи“, перевод М. Михайлова: „Письма из Берлина“ перевод Б. Бурдеса. „О Польше“, перевод С. Вальберга). — То же, т. VI. Спб. 1900. („Италия“, перевод М. Михайлова и А. Линдегрена).

„Гимн жизни“. — „Народное благо“ 1902 г. № 41. (Отрывок из „Идей“).

„Путевые картины“, — в „Полном собрании сочинений Гейне“ под редакцией К. Л. Оленина, т. I. Одесса. 1903. („Путешествие на Гарц“ и „Нордерней“, перевод М. Оренбаха. „Идей“, перевод К. Л. Оленина).

„Путевые картины“, — в „Полном собрании сочинений“ под редакцией П. Вейнберга. Изд. А. Ф. Маркса, т. I. Спб. 1904. — Изд. 2-е, Спб. 1914. — Те же переводы, что в издании 1898 г.).

Стихотворное переложение Ф. Кочерова отрывка из „Путевых картин“. („Все сердце мое трепетало“) — в приложении № 108 к № 6086 „Нового Времени“ за 1893 г.

„Мѐм уа ры“.

Русские переводы:

- 1) Н. Из мемуаров. — „Восход“ 1884 г., №№ 2—5.
- 2) П. Вейнберг. „Мемуары“. — „Изящная Литература“ 1884 г., №№ 2—4. Перепечатано в „Собрании сочинений Гейне“ (Спб. 1899, т. VI, и Спб. 1904, т. IV).
- 3) А. Герцык. „Мемуары“. — „Полное собрание сочинений Гейне“ (Спб. 1900, т. XII).



ОГЛАВЛЕНИЕ.

ПУТЕВЫЕ КАРТИНЫ.

Часть первая	7— 87
Предисловие А. Блока	7— 23
Путешествие в Гарц (1824), перев. В. Зорген- фрея	25— 87
Часть вторая	91—198
Предисловие А. Блока	91—102
Северное море, III (1826), перев. В. Зоргенфрея .	103—133
Идеи. Книга Le Grand (1826), перев. В. Зор- генфрея	135—198

МЕМУАРЫ.

Предисловие А. Блока	201—205
Мемуары (1854—1855), перев. П. Вейнберга . . .	207—262
Библиография	263—264



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

Состоящее при Государственном Издательстве изд-во „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ ставит своей задачей дать в переводе на русский язык все наиболее выдающиеся произведения мировой художественной литературы, начиная с конца XVIII века и до наших дней.

С этой целью издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ выпускает в свет две серии книг: основную и народную библиотеку.

Основная библиотека включает в себе собрание сочинений европейских, американских и колониальных писателей, избранных с таким расчетом, чтобы книги этой серии по окончании издания составили систематически подобранную библиотеку, могущую служить не только материалом для чтения, но также пособием к изучению истории мировой литературы во всем разнообразии ее национальных оттенков, литературных школ, течений и художественных форм изложения.

Составляя неразрывные части единого целого, книги основной библиотеки будут по техническим условиям выходить вне порядка, указанного в каталоге, а в зависимости от времени их напечатания.

Общее количество книг основной библиотеки — около 1500 томов. Средний размер тома — около 20 печатных листов (320 стр.).

Народная библиотека состоит из небольших по объему книг, доступных пониманию и восприятию самых широких масс русской демократии.

Пользуясь художественной литературой, как могучим средством культурного воздействия и международного единения, народная библиотека имеет целью познакомить читателя с наиболее интересными особенностями исторических судеб, культуры, быта и психики европейских наций, а главное — с теми сокровищами веками накопленных знаний и культурных навыков, которые, являясь достоянием всего человечества, служат надежным залогом братства всех людей — залогом грядущего Интернационала.

Количество книг народной библиотеки — около 2500 томов. Размер отдельного тома — около 4 печ. листов (128 стр.).

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

Книги обеих библиотек снабжены необходимыми пояснениями и вступительными статьями как историко-литературного, так и общеобразовательного содержания.

В первую очередь выйдут в свет переводы с французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, португальского, шведского, норвежского, датского и голландского языков. Вторую очередь составляет литература западных славян, мадьяр, а также отдельная обширная серия литератур и словесности Востока.

Заведующие Издательством: М. ГОРЬКИЙ, З. И. ГРЖЕБИН, И. П. ЛАДЫЖНИКОВ, А. Н. ТИХОНОВ.

Редакционная Коллегия экспертов: А. А. БЛОК, Ф. А. БРАУН, А. Л. ВОЛЫНСКИЙ, М. ГОРЬКИЙ, Н. ГУМИЛЕВ, Е. И. ЗАМЯТИН, А. Я. ЛЕВИНСОН, Г. Л. ЛОЗИНСКИЙ, Б. П. СИЛЬВЕРСВАН, А. Н. ТИХОНОВ, К. ЧУКОВСКИЙ.

В редакционной работе принимают участие: Е. А. АДАМОВ, В. А. АЗОВ, Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД, А. В. АМФИТЕАТРОВ, А. М. АНИЧКОВА, Ю. К. БАЛТРУШАЙТИС, К. Д. БАЛЬМОНТ, А. Н. БЕНУА, Е. М. БРАУДО, В. А. БРИМ, А. А. БРОК, В. Я. БРЮСОВ, З. А. ВЕНГЕРОВА, А. В. ГАНЗЕН, М. О. ГЕРШЕНЗОН, А. А. ГИЗЕТТИ, З. Н. ГИППИУС, П. П. ГНЕДИЧ, А. Г. ГОРНФЕЛЬД, И. М. ГРЕВС, Р. Г. ГРИГОРЬЕВ, Б. А. ГРИФЦОВ, П. К. ГУБЕР, А. Ф. ДАМАНСКАЯ, Ю. Н. ДАНЗАС, О. А. ДОБИАШ, М. А. ЖИРМУНСКИЙ, Б. Я. ЖУХОВЕЦКИЙ, С. М. ЗАРУДНЫЙ, Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ, ВЯЧ. ИВАНОВ, В. П. ИЗМАЛКОВА, ВЛ. КАРЕНИН, Л. П. КАРСАВИН, П. С. КОГАН, А. Ф. КОНИ, М. А. КУЗМИН, А. И. КУПРИН, М. Е. ЛЕВБЕРГ, Н. О. ЛЕРНЕР, Е. П. ЛЕТКОВА, М. Л. ЛОЗИНСКИЙ, А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ, Е. Г. ЛУНДБЕРГ, Т. И. МАНУХИНА, П. П. МУРАТОВ, С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ, П. П. ПЕРЦОВ, С. А. ПОЛЯКОВ, И. Н. ПОТАПЕНКО, С. Э. РАДЛОВ, Э. Л. РАДЛОВ, А. М. РЕМИЗОВ, А. Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, А. Н. СЕРЕБРОВ, Ф. СОЛОГУБ, В. В. СТРУВЕ, П. ТУГЕНДХОЛЬД, Г. П. ФЕДОТОВ, В. Ф. ХОДАСЕВИЧ, М. ЦВЕТАЕВА, А. Н. ЧЕБОТАРЕВСКАЯ, В. А. ЧУДОВСКИЙ, С. В. ШТЕЙН, С. И. ШТЕЙН, С. Я. ШТРАЙХ, Б. М. ЭЙХЕНБАУМ и др.

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПРОДАЮТСЯ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

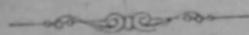
ГОНКУР	— Братья Земганно.
Г. ДЕ-МОПАСАН	— Милый друг.
”	— Сильна как смерть.
А. ФРАНС	— Остров Пингвинов.
”	— Восстание ангелов.
ЛИЛИ БРАУН	— Письма маркизы.
Г. ФЛОБЕР	— Воспитание чувства.
”	— Саламбо.
Ч. ДИККЕНС	— Повесть о двух городах.
Б. ИБАНЬЕС	— Проклятый хутор.
Г. УЭЛЛС	— Война в воздухе.
ШАРЛЬ ДЕ-КОСТЕР	— Легенда об Уленшпигеле.
Г. ГЕЙНЕ	— Путевые картины.

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

№№

1. О. МИРБО	— Деревенские рассказы.
2. МУЛЬТАТУЛИ	— Рассказы.
3. МАРК ТВЭН	— Приключения Тома.
4. Г. ДАННУНЦИО	— Пескарские рассказы.
5. А. ШАМИССО	— Петер Шлемиль.
6. А. ФРАНС	— Дело уличного торговца.
7. Г. АВГЕЙЕРСТАМ	— Любовь и др. рассказы.
8. БАЛЛАДЫ О РОБИН ГУДЕ.	
9. Г. ДЕЛЕДДА	— Сардинские рассказы.
10. О. УАЙЛЬД	— Сказки.
11. ” ”	— Гранатовый дом.
12. ” ”	— Рассказы.
13. Д. ЛОНДОН	— Сын волка.
14. Г. УЭЛЛС	— Спящий пробуждается.
15. ВАЛЬТЕР СКОТТ	— Черный карлик.
16. ВОЛЬТЕР	— Кандид.
17. ” ”	— Повести.
18. БЕРАНЖЕ	— Песни.

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 19. С. Т. КОЛЬРИДЖ | — Поэма о старом морряке. |
| 20. Г. Р. ХАГГАРД | — Копи царя Соломона. |
| 21. ШИЛЛЕР | — Разбойники. |
| 22. Д. ЛОНДОН | — Закон белого человека. |
| 23. ВОЛЬТЕР | — Белый бык. |
| 24. Б. ИБАНЬЕС | — Валенсианские рассказы. |
| 25. И. ИЕНСЕН | — Гиммерландские рассказы. |
| 26. А. ФРАНС | — Чудо св. Николая. |
| 27. В. ГЮГО | — Последний день осужденного. |
| 28. К. МЕЙЕР | — Святой. |
| 29. А. ДОДЭ | — Письма с моей мельнице. |
| 30. М. СЬЕРРА | — Благословенная весна. |
| 31. Л. НОРДСТРЕМ | — Обыватели. |
| 32. Г. ДЕ-МОПАСАН | — В деревне и др. рассказ. |
| 33. Г. ФЕДЕРЕР. | — Прометей и др. рассказы. |
| 34. Ю. ЮРГЕНСЕН | — Африканские рассказы. |
| 35. ВОЛЬТЕР | — Принцесса Вавилонская. |
| 36. Г. УЭЛЛС | — Машина времени. |
| 37. ВОЛЬТЕР | — Задиг. |
| 38. Г. БАНГ | — Четыре дьявола. |
| 39. А. ФРАНС | — Сказка о сорочке. |
| 40. Г. УЭЛЛС | — Борьба миров. |
| 41. " | — Невидимка. |
| 42. Ш. ДЕ-КОСТЕР | — Тиль Уленшпигель. |
| 43. Д. ЛОНДОН | — Путь морозных солнц. |
| 44. Ж. МИШЛЕ | — Кордельеры и Дантон. |
| 45. " | — Жанна Д'Арк. |



ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|----------------|---|
| А. ЛЕСАЖ | — Хромой бес. Тюркаре. |
| Ч. ДИККЕНС | — Жиль Блаз. |
| ” ” | — Большие ожидания. |
| ” ” | — Наш общий друг. |
| ” ” | — Домби и сын. |
| ” ” | — Жизнь и приключения Николы Никкльби. |
| ” ” | — Жизнь и приключения Мартина Чеззльвита. |
| ВАЛЬТЕР СКОТТ | — Уэверли. |
| О. ДЕ-БАЛЬЗАК | — Роб Рой. |
| БЛАСКО ИБАНЬЕС | — Старик Горио. |
| ВОЛЬТЕР | — Крестьяне. |
| Г. ПОНТОПИДАН | — Власть мертвых. |
| Р. ВАГНЕР | — Романы и сказки. |
| Г. ДЕ-МОПАССАН | — Обетованная земля. |
| К. ГОЛЬДОНИ | — Кольцо нибелунга. |
| Б. ИБАНЬЕС | — Рассказы. |
| | — Комедии. |
| | — Майский цветок. |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| МАРК ТВЭН | — Принц и нищий. |
| ДЖ. М. БАРРИ | — Белая птичка. |
| Г. ГЕЙЕРМАНС | — Город брильянтов. |
| Д. ЛОНДОН | — Любовь к жизни. |
| Р. САУТИ. | — Баллады. |
| ЭРКМАН-ШАТРИАН | — Лесной домик. |
| А. ИРКУЛАНО | — Исторические повести. |
| И. ИЕНСЕН | — Ледник. |

~~4/28/23~~

Waver

~~40912 Ry~~

~~19566 Van~~

~~6297 Ry~~

~~5712 Ry~~

~~9477 Ry~~

~~81709~~

4